Т 13

А. ТАГИРОВ

СОЛДАТЫ

ГОСЛИТИЗДАТ

А. ТАГИРОВ.

А. ТАГИРОВ

СОЛДАТЫ

ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД
С БАШКИРСКОГО
ГАЗИЗОВА и ГАЛИЕВА
АВТОРИЗОВАННАЯ
РЕДАКЦИЯ
В. ТАРСИСА

издание 2-ое
исправленное

ГОСЛИТИЗДАТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА—1936

Редактор В. Тарепс
Техреды: Е. Лукашевич, М. Черемисов
Корректоры: Л. Каплан и т. Бессмертная

Переплет художника А. П. Радищева

Тип. им. Мяги, г. Куйбышев
Отв. за печать Н. Савров, А. Канавин
Отв. за переплет Н. Одерусов, Н. Егоров

Уполномоченный Главлита Б — 21109
Зак. изд. № 187. Х—60. Тираж 10000
Формат бумаги 82×110 в $^{1}/_{32}$ д.
$4^{1}/_{8}$ бум. листа по 131200 зн.
Сд. в набор 25/IV 1936 г.
Подписано к печати
3 июня 1936 г.
Заказ 872
Печат.
$18^{1}/_{2}$
л

Цена 3 р. 50 к.
Перепл. 1 р. 25 к.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

I

Художественная литература Башкирии — ровесница Башкирской автономной советской республики, а вернее — еще моложе. Возраст ее только перевалил за первое десятилетие.

До Октябрьской революции не существовало даже самостоятельной башкирской письменности, и немногочисленные башкирские писатели-националисты, появившиеся после революции 1905 года,— Хакимов Уммати, Сулейманов,— писали на татарском языке. В угнетенной царскими сатрапами стране, под пятой самодержавия нечего было и думать о создании своей культуры и литературы.

Но уже в этот дооктябрьский период появляются зачинатели пролетарской башкирской литературы — Афзал Тагиров и Даут Юлтый. В своих ранних произведениях они критикуют капиталистическое общество, вскрывают его лицемерную сущность, призывают к борьбе против него объединенные силы трудящихся.

Для А. Тагирова в этот период особенно характерна и показательна повесть «Зимогоры».

В эти годы нового подъема революционной волны А. Тагиров вступает в ряды большевиков (1913).

Долгие годы после Октября он, вместе со своими соратниками по перу и оружию, борется за Советскую Башкирию с контрреволюционной националистической буржуазией, которую возглавляло правительство Валидова.

И только 18 февраля 1919 года, очистив свою территорию от белых, Советская Башкирия начинает свои славные дни.

Но на литературном фронте острая борьба с классовыми врагами еще продолжается.

В 1925 году разоблачена контрреволюционная литературная организация, выпускавшая рукописный журнал «Кзыл калем» («Красное перо»). Организация эта могла быть разгромлена только

потому, что к этому времени в башкирской литературе начали консолидироваться новые силы из рабочих и крестьянских масс: С. Кулибаев, Давлетшин и другие. Активное участие в литературном движении принимает и А. Тагиров. Выдвигается ряд интересных писателей: Юлтый, Давлетшин, Марат Муслимов, Ихсан, Ишемгулов и др.

2

Афзал Тагиров бесспорно наиболее колоритная фигура на фоне литературной Башкирии. Большой литературный путь его связан со значительной, полной тревог, борьбы, волнений, успехов и побед, жизнью революционера-большевика.

Неутомимый труженик и борец, А. Тагиров уже в течение ряда лет ведет ответственнейшую советскую и партийную работу, является председателем ЦИК Башкирской республики и членом бюро обкома ВКП(б).

Наряду с большой и разнообразной работой он также является основным организатором и руководителем литературного движения в Башкирии — председателем Союза советских писателей республики.

Большой жизненный и литературный опыт позволяет ему проявить себя в разнообразных литературных жанрах — в качестве романиста, очеркиста, драматурга, а также определяет тематическое богатство и разнообразие его творческой продукции.

Старая армия, империалистическая и гражданская войны, комсомол, колхозы, коммуны, расслоение интеллигенции и борьба за нефть — вот широкий тематический диапазон книг Тагирова. До настоящего времени им опубликовано около двухсот печатных листов. Ряд произведений, как, например, «Фабрика зерна», «Солдаты», «Красногвардейцы», «Кровь машин», пьеса «Урняк», переведены на русский язык, вышли и печатаются в разных издательствах.

Особенностью произведений Тагирова прежде всего является их боевая актуальность. Все основные, волнующие вопросы сегодняшнего дня находят отражение в его книгах. «Фабрика зерна» показывает нам рост зернового совхоза и является откликом на одну из самых волнующих проблем тех лет — зерновую проблему.

Повесть «Комсомол» отражает работу и быт комсомольцев в деревне переходной поры и некоторые болезни роста.

Роман «Кровь машин» развертывает перед нами широкую картину борьбы башкирского пролетариата за нефть.

«Красногвардейцы» — исторический роман о борьбе с контрреволюционной валидовщиной за Советскую Башкирию.

Наряду со значительными достижениями в показе нашей действительности, в создании ряда живых, запоминающихся образов рабочих, комсомольцев, колхозников, у Тагирова все же встречается порой некоторая схематичность в изображении героев и событий.

Эта неполная художественная завершенность особенно очевидна в изображении молодежи («Комсомол»).

Не меньшей популярностью чем художественная проза Тагирова пользуется и его драматургия. Пьесы его не сходят со сцены башкирского театра, составляя его основной репертуар. Отметим наиболее известные из них: «Уриик» — показывает жизнь колхоза и дает ряд интересных характеров партийцев и крестьян; «Ала-Тау» — в ряде интересно разработанных драматических положений показывает классовую борьбу и расслоение башкирской и татарской интеллигенции в годы гражданской войны; «Сибиряк Гильман» — изображает колхозное строительство последнего периода; «Завод» — борьбу за медь.

Всего Тагировым написано свыше двадцати пьес.

3

Наиболее значительным произведением Тагирова является его художественная хроника в трех частях: «Солдаты».

«Солдаты» — это большая эпопея о многострадальном русском солдате времен царизма, о его хождении по мукам в царской казарме и в окопах во время империалистической войны, вплоть до победы Октября.

В первой части Тагиров живо и убедительно рисует «прелести» николаевской казармы, куда молодой новобранец попадает, словно в ад кромешный, где его стараются муштрой, побоями, обезличиванием превратить в настоящее пушечное мясо — то, что единственно необходимо империалистическим хищникам в солдате.

Методы насаждения квасного патриотизма, разжигание национальной розни широко практикуются бездарным и бессмысленно озверелым офицерским составом.

Но классовое самосознание все же пробуждается у солдат и крепнет с каждым месяцем кровопролитной бойни. Все громче и громче раздаются голоса о ненужности войны для солдат — рабочих и крестьян, об ее истинных целях и задачах. Нарастает революционное

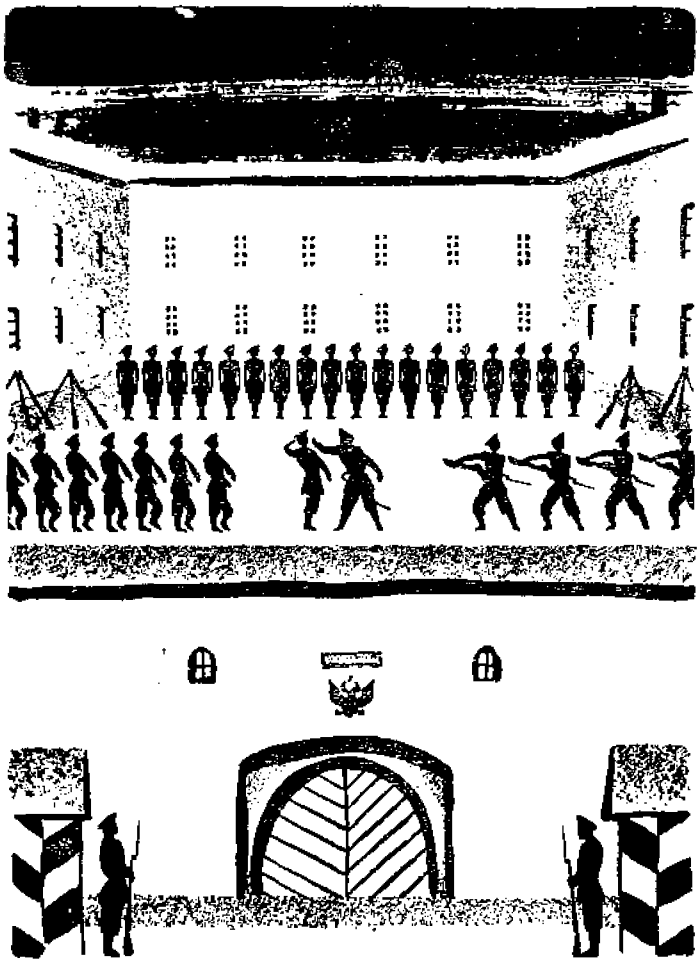
движение в армии, раскрываются глаза у обманутых солдат, резче вырисовывается классовая диференцпация на фронте и в тылу, у подавляющего большинства проходит патриотический угар.

Скупо, но точно и выразительно развертывает перед нами Тагиров страницу за страницей кровавой летописи, но она не пугает нас, ибо мы видим воочию в книге, как растет сила, которая ликвидирует эту бойню и в дальнейшем уничтожит классы, войны и эксплоатацию человека человеком.

Разоблачая трусость, предательство, воровство, взяточничество и разврат офицерства, Тагиров срывает с него маску героизма и ореол величия, надетые на него услужливыми рептильными писаками.

Но главная заслуга Тагирова состоит в том, что он показал революционизирование армии с подлинно интернационалистической позиции. Башкиры, русские, татары, евреи, мещеряки — каждый своим путем подходит к революции.

Интересные образы Сурова, Фатхетдинова, Гринберга надолго запоминаются. Книга не изобилует потрясающими и цветистыми батальными картинами, но зато она насыщена суровой большевистской правдой о кровавой империалистической бойне.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРИЕМ

В деревню я прибыл ночью. Конвоир разыскал старосту Вахита Абдрахитова и сдал ему «казенного» человека. Вахит скосил глаза и сказал мне по-башкирски:

— Лучше было бы, чтобы этот ушел поскорее. Нехорошо, если народ узнает, что тебя пригнали по этапу... Как же это случилось с тобой?— продолжал староста после ухода стражника.— Ничего плохого о тебе не было слышно. Говорили, что учишься, работаешь...

Я рассказал Абдрахитову, что должен был призываться в прошлом году, но не явился, и вот теперь меня поймали. С сыном старосты Каюмом я был давно знаком,— в детстве мы вместе удили рыбу, стерегли огурцы на бахчах.

Вахит пригласил меня к себе домой...

Утром мне предстояло отправиться в деревню Азнакаево, где принимали призывников в армию. Надо было проехать верст восемьдесят-девяносто.

Меня и еще одного призывника, Мутыгуллу, повез мой брат Закий.

Стоял конец октября. Ночью шел сильный дождь, и к утру дорога превратилась в черное озеро. Лошадка скоро выбилась из сил. Бока ее покрылись белой пеной, она тяжело дышала. Нам приходилось часто слезать с телеги, особенно когда дорога шла в гору.

Нас стали догонять телеги с призывниками из соседних деревень — Тай-Суган, Биш-Мунча, Кудаш. Парни ехали на призывной пункт, как на праздник: шапки у них были набекрень, пестрели красные и желтые ситцевые кушаки, далеко по степи разливались звонкие песни.

Призывники ехали в тарантасах, запряженных парами, и обгоняли нас, с гиком и свистом пролетая мимо. Закий рассказал, как он когда-то ехал на призыв на паре,— правда, не его, а Миргалага,— какой обильный урожай был в том году — не то что теперь, и закончил примирительно:

— Ничего, пусть спешат! Тише едешь — дальше будешь. И мы приедем к сроку. Ведь жребий вам тянуть только завтра...

Уже вечерело, когда мы приехали в Азнакаево. В деревне пиликала гармоника, во всех дворах ржали лошади и мычали коровы. Избы были битком набиты призывниками, приехавшими сюда из пяти волостей.

Мы заехали во двор к знакомому моего брата, распрягли лошадей, поужинали. Брат лег спать, а я пошел прогуляться.

По улице бродили группами и в одиночку призывники. Многие были моими земляками, и я разговорился с некоторыми.

Ко мне подошел длинноногий Бахман, сын бутака[1] Карима. Когда-то мы работали вместе у помещика Елатича. Высокий, худой, он казался значительно старше меня. Бахман призывался уже третий раз. Ему повезло, и он дважды получил отсрочку: он пил перед медицинским осмотром черемуховое масло, и врачи его освобождали.

Дальше лениво плелись широкоплечий толстый Минапа и мои старые приятели — батраки Шакир и Минахмет.

Мы, естественно, говорили о завтрашнем дне, о предстоящей церемонии в воинском присутствии, делились слухами.

За ужином староста Абдрихитов упрашивал нас не буянить завтра и рассказал нам, как новобранцы села Тайсуган перепились, затеяли драку, проломили кому-то череп, и трое угодили в каталажку.

Затем словоохотливый старик рассказал нам о своих солдатских годах, — он пробыл на «царской службе» двенадцать лет.

[1] Бутак — дословно по-башкирски — желудок, в переносном смысле — кустарь.

— Эх, хоть и говорят, что весенняя жизнь солдатская, но пусть аллах избавит даже моих врагов от «даровогo царского хлеба»... Когда нас провожали на военную службу, на прощание говорили: «Дай бог тебе терпения, вернись живым и здоровым». Пожелать это легко, а вот запастись терпением трудно — ох, как трудно!

После ужина молодежь затеяла игры.

Мой брат Закий, молча наблюдавший нашу возню, подошел к широкоплечему Шакиру и хлопнул его по спине:

— Эх, Шакир, тебя завтра наверняка забреют... Пожалуй, направят в артиллерию. Постарайся попасть в номерные, а не в ездовые.

Закий, человек бывалый, «военная косточка», вспомнил о японской войне и о том, сколько бедствий и лишений испытывал он во время отступления.

Утром мы гурьбой направились к волостному правлению. Оно возвышалось на пригорке на окраине деревни. Здесь заседала приемная комиссия.

У волостного правления уже толпился народ. Рекруты каждой деревни стояли отдельными группами, курили, болтали, вспоминали своих зазнобушек, громко смеялись. Призывники все прибывали, и на площади стало шумно.

Чтобы развлечься, начали бороться, бегать взапуски.

Конные стражники, стоявшие в стороне, вмешались, стремясь восстановить «порядок», и разогнали играющих. Они действовали очень ретиво, и один, маленький горбун, был даже сшиблен с ног. Паренек, впрочем, быстро поднялся с земли и стал вытирать полой своего чекменя испачканное лицо и руки. На стражника посыпался град упреков:

— Зачем таптай [1], чучка [2]?

— Дай муклашка дунгызга [3]!

— Он явился на прием, а ты его обижаешь...

Расталкивая толпу, на место происшествия явился старший стражник, высокий татарин.

— Джигатляр [4], такова наша обязанность: мы должны следить за порядком.

---

[1] Таптай — давить, топтать.

[2] Чучка — свинья.

[3] Муклашка дунгызга — удар свинье.

[4] Джигатляр — ребята.

— А мы разве воры? Зачем караулить нас? Еще и на службу не успели взять, а уже стерегут, как арестантов...

В это время кто-то крикнул:

— Идут!

По улице двигалась приемная комиссия в полном составе: военный врач, какой-то полковник и представитель «общественности», — член государственной думы от нашего уезда — помещик Мингаж. Стражники вытянулись в ожидании приближающегося начальства.

Толпа внимательно всматривалась в лица членов комиссии. Какой-то рыжий паренек, худощавый и большеголовый, стоявший возле меня, шепнул на ухо соседу:

— Смотри-ка, Асылгирей, как торчат усы у того офицера! А затылок у него, как у откормленного бугая... Да и наш татарский богач Мингаж не уступит ему.

К нам подошел староста.

— Ребята, не расходитесь! Старайтесь попасть в первую очередь. Вытащите жребий, затем можете свободно гулять.

Мы приближаемся к заветным дверям, за которыми сейчас решится наша судьба. Вахман учил нас, как вынуть номер с самого низа,— там якобы лежат номера, до которых никогда не доходит очередь.

Призывников начали впускать через три двери в комнату, где надо было тянуть жребий.

Мы стоим терпеливо в очереди. Впереди меня Бахман. Дверь открылась — он шагнул вперед, потом повернул голову ко мне и подмигнул, как бы напоминая о том, что номер нужно доставать с самого дна ящика.

Мшинахмет, стоявший рядом со мной, шепчет:

— Если выну тысячный номер, то дам щедрую милостыню, как только вернусь домой... старухе Шайде...

— Чорта с два поможет твой обет, если тебе под руку попадется несчастливый номер! — сердито ворчит Шакир, стоящий позади нас. Лицо Шакира побледнело, он волнуется.

Еще вчера он мне говорил:

— Ты много ездил по белу свету, да и человек ты грамотный,— научи, как избавиться от казармы. Уж больно не хочется итти на военную службу!

Старший брат Шакира был на японской войне и хлебнул там немало горя. Зять Шакира ударил взводного командира, угодил за это в дисциплинарный батальон и промучился там четыре года.

Эти воспоминания волнуют Шакира. Ему хочется избавиться от военной службы, но прибегнуть к разным сомнительным средствам он боится.

— Лучше пусть уж забирают, чем калечить себя...

— Четырнадцатый! — крикнул стоявший тут же, у ящика, писарь.

Мы все вынули «несчастливые» номера: Шакир — четырехсотый, я — сто двенадцатый, Мшинахмет — девятый.

У выхода нас ждал староста. Мы ему рассказали о наших злоключениях.

— Что же поделаешь, ребята! — успокаивал нас староста. — Видно, верно говорит пословица: «Нищему ветер всегда в лицо».

В невеселом настроении направились мы домой. У самого дома мимо нас прошел какой-то мужчина в черной каракулевой шапке, с поднятым воротником. Лицо этого человека показалось мне знакомым, и я окликнул его.

— Бакир?— удивленно спросил он.

Это был Рахманов, с которым я познакомился несколько лет тому назад на пароходе. Он окончил учительскую школу, года два учительствовал, затем сменил профессию, поступил в банк — и теперь приехал призываться.

— Зайди вечерком,— пригласил он меня.

Вечером мы пошли втроем — я, Бахман и Шакир — к Рахманову на квартиру. Народу оказалось там немало: пять шакирдов [1], какой-то учитель и сам хозяин.

Один из шакирдов, в черной бархатной тюбетейке, дружески хлопнул Шакира по спине и сказал:

— Ну что, собираешься стать слугой царя-батюшки?

За Шакира ответил Бахман:

— Мулла-агай [2], мы-то не особенно этого желаем, да...

---

[1] Шакирд — ученик богословской школы.

[2] Мулла-агай — почтительное обращение к грамотному.

— Чем плесневеть в деревне,— вмешался в разговор один из шакирдов,— уж лучше стать солдатом, на людей посмотреть и вернуться домой образованным человеком.

— Ну, от царя-батюшки ждать образования!..— иронически вставил Рахманов, усиленно затягиваясь папиросой.

Бахман рассердился на шакирдов и, косо взглянув на них, зло добавил:

— Как же, жди добра от царской службы... держи карман шире!

Разгоравшийся спор прервала хозяйка. Она подала на стол молочный рисовый суп.

После ужина беседа плохо клеилась. Шакир начал потягиваться и зевать.

Скоро мы разошлись по домам.

Утром предстояло медицинское освидетельствование. Мы встали рано. Густой туман низко навис над деревней.

У дверей волостного правления собрались все рекруты. Один за другим, в порядке вынутых «жребиев» — номеров, они входили в комнату, где сидели члены приемной комиссии.

Третий и пятый номера имели «льготу»,— их сразу освободили. Четвертому и шестому зато столь же быстро забрили лоб. С седьмым номером пришлось немного повозиться. У него правая нога была зашиблена еще в детстве, и он прихрамывал. Однако члены комиссии этому не верили, заставили его бегать по комнате, затем уложили на скамейку, дергали больную ногу и наконец вынесли решение: отправить в госпиталь на испытание.

Обладателем восьмого номера был рослый широкоплечий парень в шубе на выдровом меху и черной каракулевой шапке. Когда он снял одежду, ее услужливо подхватил волостной старшина.

Дожидавшиеся очереди призывники обменивались вполголоса своими впечатлениями о толстом, упитанном парне, стоящем перед комиссией:

— Вот раздобрел... что твой самарский бугай.

— Нагулял жиру.

— Маменькин сынок...

Кто-то вздохнул и добавил:

— И ты бы раздобрел, если б имел, как он, мельницу да сотню десятин чернозема...

Парня осматривали долго. Старшина вился вьюном. Доктор долго выслушивал его и затем что-то долго писал. Комиссия пошепталась и решила — предоставить парню отсрочку на один год. Старшина подбежал к нему с одеждой и подобострастно сказал по-татарски: «Аллах не лишил тебя еще счастья есть хлеб в своем родном доме».

Худощавого низкорослого Мишахмета осматривали недолго. Полковник подошел к нему с каким-то похожим на аршин инструментом, смерил объем груди и сказал, хлопнув по спине:

— Хороший, малайка [1], стрелок будешь!

Забрали и Бахмана. После обеда та же участь постигла меня, Шакира, Миннапа и еще нескольких парней из нашей деревни. Из двенадцати призывников освободили только троих.

До отправки в казарму мы провели в деревне еще недели две. Шакир купил гармонь, и мы шатались по улицам и пели. Мы стали желанными гостями на посиделках, нас все зазывали, угощали. Кое у кого завелись и зазнобы.

Две недели промчались незаметно. Вечером накануне отправки в город я зашел к Бахману и попал к обеду. За столом сидели старик-отец Бахмана и куча малышей от второго брака.

Брат Бахмана, недавно вернувшийся с военной службы, советовал нам:

— Не дай бог, если тебя направят в кавалерию или флот. Имей это в виду, когда вас будут сортировать в Бугульме. В первую очередь набирают в гвардию, затем — во флот, в кавалерию, а остальных уже шлют в пехоту. Во флоте срок службы дольше. А в кавалерии офицерство все больше из знатного дворянства и уж очень не любят нашего брата — мужика. В пехоте, правда, офицеры тоже сердитые, но все же в пехоте легче служить...

[1] Малайка — парнишка.

Старик Карим молча слушал советы сына, вытирая временами набегавшие слезы.

После обеда подали чай.

— Пусть господь-бог ниспошлет вам терпение,— сказал, громко всхлипывая, старик.

Мне было тяжело оставаться в избе. Я сказал, что должен на рассвете выехать, и, попрощавшись, ушел.

Надо было еще попрощаться с родными,— не скоро придется с ними встретиться. До призыва я жил у брата, время от времени уезжал батрачить к помещикам. Отец давно умер. Брат и сестра, проживавшие в соседней деревне, приехали проводить меня в дальний путь. Не обошлось, конечно, при этом без слез и причитаний. Брат долго тянул солдатскую лямку: сначала пять лет на обычной военной службе, затем началась японская война, и всех, уже отбывших срок, отправили в Манчжурию. Только недавно брат освободился от военной службы и начал налаживать свое хозяйство. Встать на ноги было трудно, средств не было, поэтому мой брат беспрерывно кочевал в поисках заработка и жил месяцами в людях, чаще всего на уральских лесоразработках.

Как человек бывалый, «солдатская косточка», он давал мне советы, как себя вести на службе. Они, впрочем, мало отличались от советов брата Бахмана.

— Бакир, ты человек грамотный. Если попадешь в артиллерию, старайся, чтобы тебя назначили наводчиком, но только не ездовым. В крайнем случае, иди в номерные...

На рассвете к нашему крыльцу подъехал Бахман со своим братом. У крыльца уже стояли запряженные розвальни моего брата, в которых мне предстояло отправиться на место службы.

В маленький сундучок брат уложил осьмушку чаю и полфунта сахару и отдал мне всю свою наличность: сорок четыре копейки звонкой монетой.

В уездном городке мне надо было явиться к воинскому начальнику. Там собрались рекруты со всего уезда. Целый день мы бесцельно топтались во дворе управления воинского начальника, откуда нас не выпускали до самого вечера. Лишь на третьи сутки нас распределили

по частям. Я и Бахман попали в одну дивизию: я — в Сорок седьмой Украинский полк, а Бахман — в Сорок шестой Днепровский.

Настала минута прощания с близкими и родными. Староста выдал нам «подарок от мира» — по двадцать пять копеек на человека.

— Корм весь вышел, на вокзал не поеду... Прощайте, ребята. Не обессудьте! Пусть вас хранит аллах! — сказал он, утирая слезы полой чекменя.

У вокзала толпятся провожающие. Особенно много женщин — чувашек и русских. Они стоят около саней, обнимают отъезжающих и ревмя-ревут. Пора расставаться. Почти все рекруты снимают верхнюю одежду и надевают старую, потрепанную. Мой брат оказался, как и все, предусмотрительным и запасливым.

— Брат, там все равно заставят снять свою одежду и заберут в цейхгауз... лучше переодеться вот в это,— сказал он, вынимая из мешка старый, заплатанный бешмет и потрепанные брюки.

Солдаты, которые должны были нас сопровождать к месту назначения, приступили к проверке по спискам. Проверенных усаживали в красные вагоны. Самым последним вошел солдат, на попечение которого был сдан наш вагон. Раздался звон станционного колокола. Рев и плач провожающих перешли в сплошной крик, в котором с трудом можно было разобрать отдельные фразы:

— Асылгирей, как только приедешь, пришли свой адрес...

— Сынок, веди себя хорошо, слушай начальство...

— Карим, передай привет Хадыче, пусть ждет письма от меня...

— Атай [1], смотрите за пегашкой, чтобы не измучилась к весне...

Поезд тихо трогается. За ним вдогонку по перрону спешит толпа провожающих:

— Прощай, сынок!..

— Прощайте, друзья!..

— Сын мой, ангел мой, на кого покинул нас!..

Поезд ускоряет свой ход, и крики постепенно зами-

[1] А т а й — отец, папа.

рают. Вдали еще мигают станционные огни, скоро и они исчезают. Мы мчимся полным ходом — в полк, на службу.

В вагоне тихо. Новобранцы сидят угрюмо, некоторые толпятся у окошечка, бросая прощальный взгляд на смутно сереющие в отдалении домики и избы пригорода.

Тишину нарушают молодые голоса из соседнего вагона. Они запевают хором песню, и к ним быстро присоединяются несколько человек из нашего вагона.

Ходим быстрою ногой; в роще много ягод,
На тарелку синюю те ягоды лягут.
Борщ варится в котелке чугунном, щербатом.
Не угонится вовек лебедь за солдатом...

Люди в вагоне начали устраиваться, рылись в сундуках, закусывали, другие играли в карты, несколько человек улеглись спать. Крепко захрапел сын ахуна — Шамиль. Как только мы вошли в вагон, он начал угощать своих соседей — Ислама и Мишку — водкой, а затем рассорился с ними, так как они отказались купить спирт и угостить Шамиля.

Низкорослый рябой Шигай смотрит на храпящего Шамиля и умиленно замечает:

— Как ни говори, сын святого. Видишь, даже солдатская служба его не тревожит... Спит спокойно, как невинный младенец.

Игравший рядом с Шамилем в карты новобранец сердито ворчит:

— Не беспокойся — попадет в казарму, там его живо отучат хлестать водку целыми ковшами.

— Ну, он сын ахуна! Ахун и в казарму ему всего вдоволь пришлет. Хватит и на водку.

Шамиля, горького, неисправимого пьяницу, все знают. Вокруг него, храпящего во-всю, собрался маленький кружок; кто-то нарисовал ему на лбу крест углем и вставил в полураскрытый рот свернутую из газеты трубку.

Мы трое — Кирш, Валеев и я — сидим молча и курим.

Первым заговорил Кирш:

— Нас в вагоне немало — целых сорок шесть человек. Оторвали всех от родины, от семьи на целых четыре года, и куда нас только направят — никто не знает.

— Уж если ты, городской человек,— сказал Ислам Валеев по-башкирски,— не знаешь, куда мы едем, то

где нам, темным деревенским людям, знать об этом... Давайте спросим,— указал он взглядом на нашего длинноусого провожатого.

В углу, на противоположных нарах сидел наш конвоир-солдат и деловито уплетал белый хлеб со свиным салом.

Ислам, наиболее смелый из нас троих, обратился на ломаном русском языке к солдату:

— Господин солдат, ти моя куды гоняйшь?

Солдат невозмутимо закончил еду, вытер усы, степенно покрутил их, завернул остатки своей трапезы в бумагу и лишь тогда важно сказал:

— Я тебе не солдат, а господин дядька, и везу я вас в Сорок седьмой Украинский полк, в город Каменец-Подольск. Понял, образина?

Новобранцы недоуменно переглянулись и отошли в угол.

— В какой, интересно, губернии этот город?

— Далеко ли?

— Что за народ там живет?

Кирш начал рассказывать то немногое, что он знал о Каменец-Подольске: это губернский город на Украине, и живут там, главным образом, украинцы, поляки и евреи. Я вынул из сундука маленькую карту и стал измерять по ней расстояние от Каменец-Подольска до Самарской губернии. Группа новобранцев окружила меня и Кирша, бросая любопытные взгляды то на географическую карту, то на нас. С этого дня за Валеевым, мною и Киршем утвердилась слава грамотеев, и со всеми вопросами земляки стали обращаться к нам.

Полночь. Поезд стоит на какой-то глухой станции.

Новобранцы спят. Кто-то на нижних нарах в углу всхлипывает. Железная печурка почти совсем потухла.

Мы с Киршем проснулись почти одновременно. Кирш добавил дров в печку и закурил.

Проснулся и сын ахуна, Шамиль, выпил прямо из чайника оставшуюся там воду, подсел к нам, чтобы покурить, и обратился к Киршу:

— Нет ли у тебя, земляк, полбашки? Голова трещит...

Кирш пристыдил его по-башкирски: сын святого ахуна, а пьет водку, как босяк.

— А ну вас!— отрезал Шамиль, который был, очевидно, сильно не в духе с похмелья и улегся спать.

Мы продолжали нашу беседу. Кирш, впрочем, больше спрашивал, а рассказывал я.

— Говорят, что тех солдат, которые не подчиняются дисциплине, направляют в арестантские или каторжные батальоны... Ты как, не слыхал об этом?— спросил Кирш.

— Да, так рассказывают... Лет пять тому назад один учитель из Казани рассказывал мне, что за участие в революции девятьсот пятого года многих солдат направили в каторжные батальоны.

— И с моим братом,— вставил Кирш,— случилась такая беда, попал он в каторжный батальон... Говорят, живет там до сих пор.

.

Мы проехали уже изрядную часть пути. Большинство новобранцев впервые очутилось за пределами родной губернии. Разноязычное и разноплеменное население, которое попадалось нам на станциях, вызывало искреннее удивление моих товарищей по вагону. Особенно диковинными казались им мелодичный говор украинцев и гортанная речь евреев.

Едва поезд трогался со станции, у нас в вагоне начинался оживленный обмен мнений и споры о всем виденном. Новые впечатления, лица, люди — все это давало обильную пищу для разговоров, для сравнений и сопоставлений с привычными родными образами.

Постепенно приближаемся к месту назначения. От нашего состава начали отцеплять вагоны — в Киеве, Жмеринке, Могилеве. После Могилева в составе поезда осталось уже только два вагона с новобранцами. Расставшиеся с нами в Могилеве товарищи были удручены тем, что среди них нет ни одного русского и никто даже не умеет говорить по-русски.

— Эх, видно, мы самые разнесчастные люди! — жа-

ловался оставшийся в Могилеве Мипнахмет.— Вот среди вас есть хоть двое, понимающих по-русски. А мы — как немые: не то что сговориться с кем — даже спросить ничего не сумеем...

Из Могилева нас повезли по направлению к Кишиневу и Одессе. По дороге мелькали украинские и молдаванские деревни. Редкие хаты, низенькие белые домишки, крытые соломой и обмазанные глиной, с маленькими окнами и чисто выбеленными стенами. За каждой хатой — сад с яблонями и сливами, за садами — бескрайние кукурузные поля. Старики в длинных белых холщевых рубашках долго провожали наш поезд глазами, а молодые румяные девушки в платьях без рукавов махали нам вслед. Наш поезд мчался вдоль Днестра. Железнодорожный путь здесь проложен у самого берега, высокого и каменистого, и смотреть вниз из окна вагона было страшно.

Вечером нас высадили на небольшой станции. Всех пересчитали, выстроили и повели по грязной осенней дороге. Итти пришлось долго под неприятным мелким осенним дождиком. Настроение резко снизилось. Прежнего веселья, шуток и смеха — наших постоянных спутников в вагоне — словно и не было. У всех угрюмое, сосредоточенное настроение,— царская казарма встречает нас невесело. С нами рядом шагает Шамиль. Он пропил в Киеве во время стоянки пальто и щеголяет теперь в одной тужурке.

— Вот дурак!— бросает кто-то из нашей команды. — Хорошее пальто продал за три бутылки водки, а теперь ежится, как мокрая курица, и шагает в одном пиджачке.

Ислам, идущий рядом со мной, подтрунивает над Шамилем:

— Ну что, махзум [1], жиляп [2] не узок ли? А то продай и его в деревне. Согреешься зато.

В разговор вмешиваются соседи:

— Не беспокойся, Ислам, у ахуна хватит гуширы [3] для сына.

---

[1] Махзум — сын муллы.

[2] Жиляп — халат.

[3] Гуширa — десятая часть крестьянского урожая («десятина»), которая, по религиозным законам (по шариату), предназначалась мулле.

— Да и у абстай [1], наверное, припасено немало садаки [2].

— Не беспокойся, не оставят дорогого сынка в беде,— с первым же письмом, небось, деньжат пришлют.

Шамиль перешел на русский язык и обругал всех:

— Эх, вы... отщепенцы! Погодите, попадет вам на орехи, когда приедете на место!

Асылгирей подвинулся ближе к Шамилю и, когда мы проходили мимо канавы, наполненной водой, нарочно споткнулся и толкнул Шамиля. Шамиль полетел в канаву — и сразу стал мишенью для шуток.

— Шагай, махзум, тверже!

— Смотри-ка, ловко, собака, плавает!

Шамиль, весь измазанный, мокрый, злобно чертыхается и ругает всех площадной бранью...

Через Днестр надо переправляться на пароме. Поздний час и усилившийся дождь — все говорит за то, чтобы мы заночевали на этой стороне реки,— здесь такая же деревня, как и на противоположном берегу. Однако «старшой» уперся на своем — немедленно переправляться на другую сторону. Только переплыв реку, мы узнали секрет этой спешки «старшого»,— его тянуло в кабак, который находился на противоположной стороне Днестра.

Кое-как переправились мы через Днестр, взобрались на крутой берег, в живописно раскинувшуюся деревню, и начали размещаться по избам.

Меня вместе с Киршем и Валеевым поместили в одну избу. Хозяин ее, молдаванин, только в прошлом году вернулся с военной службы. Жил он с женой и матерью-старухой. Изба была низенькая, в две комнаты, обмазана глиной, с маленькими окнами-светелками. Впрочем, внутри было довольно опрятно, а чисто вымытый деревянный пол, широкие скамьи вдоль печки и кухонная посуда на полках создавали даже видимость некоторого уюта.

Мы озябли и утомились за время нашего путешествия от станции и поэтому сразу занялись чаем и ужином. Молодица принесла охапку сена и постелила нам на полу.

[1] А б с т а й — жена муллы.

[2] С а д а к а — подаяние, пожертвование.

В это время в комнату вернулась старуха, начала что-то с недовольным видом говорить по-молдавански и наконец, плюнула. Мы сразу поняли, что это имеет какое-то отношение к нам, и попросили хозяина объяснить, в чем дело.

Оказалось, что старуха рассказывала о подвигах нашего «старшого», Шамиля и еще одного новобранца, сына кулака. Они заночевали у соседей, перепились вдребезги, стали требовать от хозяев, чтобы им сварили мясо, и в заключение начали приставать не то к самой хозяйке, не то к ее взрослой дочери.

Нам было очень неприятно. Ислам собрался пойти туда, чтобы утихомирить разбушевавшихся гуляк, но в это время распахнулась дверь нашей хаты и показался Шамиль. Он еле держался на ногах и, шатаясь, ввалился в комнату. За ним, также покачиваясь, плелся Закий. Оба стали бессвязно заплетающимся языком обвинять Кирша в том, что он, якобы, вытащил в вагоне из мешка Шамиля жареную курицу. Затем оба начали приставать к Валееву и ко мне, требуя, чтобы мы им добыли колбасы, и сопровождая свои требования бранью и угрозами.

Валеев спокойно встал со скамьи, широко расставил ноги и неожиданно, без слов, размахнулся и ударил Шамиля кулаком по плечу. Шамиль отлетел к печке и рухнул, как мешок, на табуретку. Размахнувшись, Валеев нанес такой же сокрушительный удар Закию, который заорал благим матом и пополз на четвереньках к двери. Шамиль пытался привстать с табуретки, но потерял равновесие и ничком упал на порог.

Мы втроем — помог нам, впрочем, и хозяин — вытолкали пьяниц во двор.

Они долго ползали по земле, не будучи в силах подняться на ноги. Из темноты до нас доносились свирепая ругань и угрозы:

— Вот вы как куражитесь над царскими солдатами!.. Погодите, угоним вас на каторгу!..

К утру погода прояснилась, слегка морозило. «Старшой» выстроил нас и пересчитал. Шамиля и

Закия он усадил, как «больных», на телегу, где были сложены вещи. Шамиль был закутан в чекмень — он пропил последний пиджак.

Мы бодро шагали по дороге, взобрались на пригорок и увидели в отдалении место нашего назначения — город Каменец-Подольск.

В город мы вошли со стороны базара, в самый разгар торговли. На возах сидели степенные украинцы, медленно потягивая глиняные трубки; среди палаток бродили русские, поляки, евреи, попадались и турки,— они сидели в красных фесках и торговали пышным белым хлебом и кренделями.

Каменец-Подольск — живописный город, расположенный на берегу реки. Через реку в двух местах перекинуты мосты. Один из них, старый каменный, носит название турецкого,— в память о бывших здесь когда-то жестоких боях с турками. Таких памятников в городе немало; сохранилась даже старая крепость, которая, по преданию, некогда принадлежала туркам. На стенах крепости, мосту и на стенах казарм виднеются полустертые старинные турецкие надписи.

Пройдя через весь город, мы добрались наконец до полковой канцелярии. Нас выстроили. Из канцелярии вышел рыжеусый офицер в сопровождении худощавого унтера, который начал выкликать всех по фамилиям. На груди каждого мелом писали номер, а писарь проставлял эти номера в своем списке.

Кирш, Валеев и я были занумерованы подряд — двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый.

Мы надеялись, что нам удастся попасть в одну роту, и обратились с просьбой об этом к писарю, но он в ответ только погрозил пальцем и приказал молчать.

Из канцелярии вышли несколько солдат в бескозырках с белым околышем, разделили нас на группы по четыре-пять человек и повели в помещение роты. Там нам выдали обмундирование — шинель, мундир, белье.

Никто из начальства не поинтересовался тем, что мы прошли пешком изрядное расстояние и еще ничего не ели. Зато нас сразу погнали в баню.

После бани нам велели надеть новое обмундирование. Мы с любопытством рассматривали выданную нам одежду.

Старые солдаты, «дядьки», учили новобранцев, как затягивать шинель, как правильно носить фуражку. «Дядька» потрогал мой ремень и сказал:

— Баба рязанская! Подтяни ремень!

— Я не баба и родом из Самарской губернии,— возразил я.

— Ах ты, турок! — обозлился дядька и начал так нахлобучивать на меня фуражку, несоразмерно большую, что у меня и лоб и уши полностью влезли в нее.

После этого дядька повел нас в канцелярию к фельдфебелю. Тот восседал на табуретке, коренастый, с большими, лихо закрученными черными усами, и ругал, на чем свет стоит, писаря. Писарь краснел, виновато моргал глазами и еще больше смутился, увидев нас.

Фельдфебель приветствовал нас по-военному:

— Здорово, молодцы!

Я не знал, что полагается ответить на это обращение, но мой сосед Фатхий беззаботно рявкнул:

— Здоров!

Расстроенный и без того фельдфебель пришел в бешенство. Он смерил нас презрительным взором и затем осыпал таким изощренным ругательством, что мы даже не поняли всех омерзительно липких слов, которые выплевывал из своего рта фельдфебель. Наш дядька, услышав, что в сложном «литературном построении» фельдфебеля беспрерывно фигурируют слова «татарская лопата», решил за нас заступиться:

— Господин фельдфебель, только один из них татарин, а вот это башкир,— показал он пальцем на меня.

— А если так, то ты — башкирская лопата! Снимай фуражку, когда входишь в помещение,— продолжал кипятиться фельдфебель и, сорвав с моей головы фуражку, бросил ее на пол, прошипев злобно: — У... у... турок! Записать его и того вот,— показал он на Фатхия,— в четвертый взвод.

Фельдфебель плюнул на пол и, шумно хлопнув дверью, вышел из комнаты.

Писарь и дядька, а за ними и мы все облегченно вздохнули. Бобров,— так звали дядьку,— начал свертывать цыгарку.

— Вот шкура!— бросил злобно писарь по адресу

ушедшего начальства и, присев за стол, начал нас спрашивать об имени, отчестве, фамилии, месте рождения и вероисповедании, занося все эти сведения в книгу.

Взводный унтер-офицер, маленький солдатик с реденькими усиками и широким лицом, лежал на кровати, когда мы явились в казарму. Он не обратил на нас большого внимания и, продолжая лежать на боку, начал лениво расспрашивать, откуда мы родом, чем занимались до призыва, и особенно интересовался тем, женаты ли мы.

— Хорош ваш мусульманский закон,— завистливо вздохнул он:— можно хоть пять жен иметь — и ничего.

Вялость взводного и то, что он большую часть дня, как мне сказали, проводил на постели, заставили меня сделать вывод,— поспешный, как оказалось впоследствии,— что он неплохой и сговорчивый человек. Впрочем, быстро выяснилось, что пребывание в течение круглых суток на кровати и малоподвижность нашего взводного вызывались весьма прозаическими причинами: взводный был болен венерической болезнью.

Это мне объяснил на следующий же день, когда мы ложились спать, мой сосед — поляк Ковальчук:

— Пся крев! Взводный ушел в госпиталь... Оказывается, он лечится от генеральской болезни.

В нашем взводе старых кадровых солдат немного, человек пять-шесть в каждом отделении. Они пользуются поблажками и могут пропускать занятия. Лишь когда приходит командир роты, капитан Глыба, взвод выводят на занятия в полном составе.

В четвертом отделении, куда меня зачислили, всего двенадцать человек: я, Фатхетдинов, Богомолов из Рязанской губернии, Лопатин, Акимкин из Москвы, Лазарев, Ковальчук из Вильны, Врубель, Гринберг из Киева, Аберфельт, Вашакидзе из Кутаиса и Заславский из Грозного.

Наша казарма стояла на крутом берегу реки. Высокие каменные стены отгораживали нас от внешнего мира. Лишь в те минуты, когда ворота распахивались, чтобы

пропустить телегу, мы могли увидеть кусочек «воли». Через широкую щель ворот виднелся свободный мир, вольные люди, не подчиненные дядькам, взводным и фельдфебелям, имеющие право располагать своим временем и собой. В эти минуты мы особенно остро и болезненно чувствовали подневольное, рабское казарменное положение.

Мой сосед Фатхетдинов мучительно переживает первые дни казарменного быта.

— Эх, несчастная моя голова, не видать мне больше вольного света! — и начинает рассказывать шопотом, как он работал у помещика и как напрасно жаловался в то время на тяжесть работы: — Если бы удалось вырваться отсюда и работать хотя бы за одни харчи, я и то бы ничего не сказал и не жаловался бы больше,— добавлял он, тихо всхлипывая, как ребенок, и закрывался с головой одеялом.

Нас начали обучать казарменной премудрости.

Еще задолго до рассвета дневальные будят нас. Взводный и отделенный еще спят. По наряду, данному с вечера отделенным командиром, один из старых солдат встает с молодыми. Новобранцы, зевая и зябко ежась от утреннего холода, накидывают шинели на плечи и бегут на двор казармы в уборную.

Затем начинается священнодействие уборки.

Нас посылают во двор за песком и соломой. Мы должны протереть полы, вычистить умывальники, вынести помои в яму,— она расположена, к слову сказать, почти в полуверсте от казармы.

К этому времени просыпается «господин отделенный» и отдает приказ:

— Готовиться к смотру!

Мы начинаем с удвоенной энергией чистить сапоги, шинели, мундиры и трафареты на воротнике. Медные пуговицы с изображением двуглавого орла натираются мелом до ослепительного блеска. За это же время надо успеть вычистить сапоги и мундир взводного и отделенного.

Раздается команда:

— На смотр!

Новобранцы выстраиваются. Всех осматривает сначала отделенный, затем взводный. С утра они злы, придирчивы и щедро раздают оплеухи.

Отделенному на-днях во время такого осмотра почему-то не понравился Акимкин. Мундир, шинель, сапоги — все было, как будто, в порядке, и только рукав оказался распоротым подмышкой. Отделенный засунул в дырку палец, разорвал рукав еще больше и затем, рассвирепев, ткнул Акимкина кулаком в подбородок и закатил ему пощечину.

Фатхетдинов, стоявший рядом со мной, не вытерпел и сказал мне:

— Какой кровопийца!

— Хорошо бы ему самому закатить такую оплеуху,— ответил я.

Наш разговор услышал отделенный.

— Вытри морду, собачья голова! — крикнул он Акимкину, у которого кровь шла из носу.

Затем начальство повернулось к нам:

— А вам, туркам, чего не хватает? Ругаться вздумали?

— Мы, господин командир, не ругаемся... мы между собой разговаривали,— ответил я.

— Молчать, скоты! Кто разрешил тебе разговаривать? Почему опустил голову? Подними выше!.. У-у-у, морда!— прошипел отделенный.

Я не утерпел:

— Зачем в строю ругаешь нас?

Отделенный побагровел от такой дерзости и разрешил наш спор очень быстро: мне он отвесил звонкую пощечину, а Фатхетдинова толкнул изо всей силы кулаком в живот. Впрочем, начальство, видимо, сочло этот ответ недостаточно убедительным и исчерпывающим. Отделенный подозвал новобранца Лопатина, своего любимчика, услужливо наделявшего по утрам начальство папиросами и белым хлебом:

— Приказываю тебе,— торжественно обратился к нему отделенный,— дай как следует по одному разу вот этим туркам. Языки у них уж больно расчесались.

Лопатин угодливо хихикнул, отступил на шаг назад и, размахнувшись, ударил сначала меня, а затем Фатхетдинова кулаком.

Смотр окончился. Раздалась команда:

— На молитву!..

Все четыре взвода выстроились перед иконой, висевшей в коридоре. Взводные торопливо проверяют своих людей.

Появляется фельдфебель.

— Смирррно!..

После молитвы мы идем пить чай.

Кипяток полагается брать в порядке старшинства. Поэтому новобранцам редко приходится вдоволь напиться чаю. Едва усядутся за чайник, как раздается команда:

— На занятия!

Утренний рассвет застает нас обычно за гимнастикой. От нее приходится солоно Фатхетдинову и Врубелю,— первые прыжки через барьер и кобылку они выполняют довольно чисто, но затем начинают сдавать. Отделенный стоит тут же, рядом, и каждый раз подбадривает их ремнем по спине.

Затем начинаются строевые занятия. Они проводятся на свежем воздухе, во дворе казармы. Только спустя месяц после начала занятий нас стали водить в крепость.

На занятия каждый должен брать с собой вещевой мешок, лопатку и фляжку, независимо от того, понадобятся эти предметы или нет.

Строевые занятия удручающе однообразны. Для начала нас заставляют бесконечно поворачиваться направо и налево. Угодить при этом нашему начальству совершенно невозможно.

Отделенный Чекмасов учит, что после поворота правую ногу нужно приставлять к левой с некоторой выдержкой. Взводный командир требует свести эту выдержку к минимуму, а фельдфебель Чупров настаивает на еще большей быстроте поворота.

Такое же разногласие царит у начальства в вопросах маршировки: один требует «носки ставить тверже», другой желает, чтобы солдаты «пристукивали пятками», а третий ругает нас, как бы мы ни шагали.

Повороты наконец благополучно окончены. Нас начинают гонять в строю. Каждое отделение ежедневно протаптывает широкую дорожку в снегу. По этой дорожке нас заставляют носиться бегом взад и вперед раз по двести.

Затем наступает самая важная часть занятий: обращение ружьем. Нас учат брать прицел и колоть штыком соломенное чучело. Это упражнение доводило нас до полного изнеможения. Чучело стоит на далеком расстоянии: надо добежать до него и с криком «ура» вонзить штык. Очень трудно сочетать силу крика с быстротой бега: если кричать изо всех сил, как этого требует начальство, то бег невольно замедляется, и наоборот.

Наш отделенный Чекмасов имеет бесконечное количество поводов для придирок. Он широко пользуется этим и буквально издевается, заставляя нас порой целыми часами подряд носиться по двору с выпученными глазами, с винтовкой наперевес и бессмысленно-дико кричать «ура» — до хрипоты.

Только один Лопатин, любимчик отделенного, освобожден от этих издевательств: по мнению отделенного, Лопатин все делает «примерно».

Занятия приближаются к концу, хотя остались еще разбивка на колонны и фронтальный бег. Отделенный пристально проверяет ровность шага и стройность маршировки всей колонны. Достаточно кому-нибудь из новобранцев спутать ногу, как его сразу вызывают из строя и заставляют бегать до полного изнеможения.

Попал однажды и я с Акимкиным в такую переделку. Мы шли в колонне. Сбились ли мы действительно с ноги, или это только показалось Чекмасову, но нас вызвали из строя и заставили бегать по кругу. После получасового бега у Акимкина стали подкашиваться ноги. Я мчался следом за Акимкиным; чувствую, что вещевой мешок стал необыкновенно тяжелым и оттягивает все тело назад, а ружье на плече раскачивается взад и вперед. Перед глазами поплыли черные круги. Я стараюсь взять себя в руки и продолжать бег по правилам, но вижу, что Акимкин не бежит, а попросту плетется. Невольно остановился и я, тяжело дыша.

Чекмасов этого только и ждал.

— Кто дал команду «шагом»?— заорал он изо всех сил и ударил Акимкина, а затем и меня прикладом по спине.

Вновь раздалась команда:

— Бегом мар-р-р-ш!..

Мне приказали бежать первому. Я опередил Акимкина и пошел шагом.

Чекмасов уже не кричал, а визжал и брызгал слюной:

— Бегом — тебе сказано, сво-о-о-лочь!

— Не могу, обессилел...— ответил я.

Чекмасов подошел ко мне вплотную и заскрежетал зубами.

— Почему команду не исполняешь?— крикнул он мне прямо в лицо.

— Устал, господин отделенный.

— Молчать, собака!

— Мы больше не можем... Хочешь, отдай нас под суд,— ответил за меня Акимкин.

Как раз в этот момент раздалась команда «вольно», и наши товарищи расположились на отдых. Чекмасов повел нас к взводному и доложил ему, что не слушаем команды. Взводный мрачно оглядел нас, выругался трехэтажным матом и небрежно бросил:

— Пойдут в дисциплинарный батальон.

Новобранцы молча смотрели на нашу группу. В их взглядах чувствовалась нескрываемая симпатия к нам и злоба к Чекмасову. Один только Лопатин стоял в стороне и скалил зубы. Когда нас всех начали вновь выстраивать, Лопатин не удержался от назидательного замечания:

— Знаешь, Акимкин, за неподчинение приказам начальства полагаются арестантские роты.

— Пошел к... фельдфебельский холуй!— ответил я за Акимкина.

С тех пор за Лопатиным и утвердилась кличка «холуй».

Угроза взводного на этот раз не была приведена в исполнение: нас помиловали.

К часу дня занятия кончаются, нас ведут из крепости в казарму и заставляют при этом петь залихватские песни.

Обедаем мы в темном и сыром коридоре. Перед обедом обязательно поем хором молитву.

Убирать со стола и мыть посуду должны новобранцы.

Эта неприятная миссия особенно часто выпадала мне, Акимкину, Гринбергу и Фатхетдинову,— нас с самого начала отделенный не взлюбил. После обеда старые солдаты получают на несколько часов отпуск и обычно уходят куда-нибудь. Новобранцам полагается в это время подметать пол и чистить винтовки.

В два часа вновь начинаются строевые занятия, на этот раз без винтовок. Они тянутся до пяти. Затем мы возвращаемся в казармы, снимаем шинели и принимаемся за «словесность». Это самая тягостная часть солдатской учебы. Повторение одной и той же чепухи до одурения — сплошная цепь издевательств, особенно над националами, плохо знавшими русский язык, — превращало «словесность» в настоящую пытку. К этому присоединялись грубые, оскорбительные наказания: за неудачный ответ заставляли подходить к печке и многократно кричать в отдушину: «Я дурак!», ползать на четвереньках в коридоре, всячески изощрялись в издевательских выдумках.

Уроки «словесности» были казенно-однообразны. Нас рассаживали по отделениям. Чекмасов становился к нам спиной и, обращаясь к стене, командовал:

— Четвертое отделение, встань!

Мы все срываемся с мест.

— Четвертое отделение, садись!

Мы немедленно садимся, но Чекмасов находит, что все это проделано недостаточно быстро. Поэтому нас заставляют несколько раз повторять процедуру вставания и усаживания:

— Встань!

— Садись!

— Встань!

— Садись!

Наконец мы приступаем к занятиям.

— А ну, Бакиров,— обращается начальство ко мне,— скажи, кто такой есть солдат?

Я быстро встаю с места.

— Садись... Ты что, не обедал, что ли, сегодня?

Я вновь сажусь. Начальство повторяет вопрос:

— А ну-ка, скажи...

Отделенному решительно не нравятся мои темпы; ему хотелось бы, чтобы я с молниеносной быстротой

вставал и садился; поэтому процедуру вставания Чекмасов заставляет повторить несколько десятков раз. За это время он успевает забыть свой первый вопрос и задает новый:

— Какие погоны должны быть у ротного — со звездочками или без звездочек?

— Без звездочек, с одним просветом,— четко отвечаю я.

Мой ответ, видимо, удовлетворяет Чекмасова, и он переходит к следующему. Вновь повторяется та же процедура с бесчисленными вставаниями, и наконец следует вопрос:

— Как титуловать фельдфебеля?

Вопрос о титулах фельдфебеля, ротного и царя Чекмасов неизменно задавал Фатхетдинову, видимо, с целью сбить его с толку. Фатхетдинов вначале отвечает правильно, но когда вопросы отделенного начинают сыпаться градом, Фатхетдинов путается и на вопрос о титуле царя дает совершенно несуразный ответ:

— Его императур, господин дядька...

Чекмасов злобно сплевывает на пол, подзывает Лопатина и велит ему хлопнуть по щеке Фатхетдинова. Это неизменно повторяется несколько дней подряд и, видимо, уже прискучило отделенному. Поэтому он выдумывает новое наказание: Фатхетдинова заставляют стоять перед печкой и громко, без перерыва повторять: «Фатхетдинов дурак!»

Эти занятия, ограничивавшиеся в течение всей зимы вопросами о титулах начальства и количестве звездочек у ротного, тянутся до ужина. После ужина начинается «музыкальная» часть. Новобранцев заставляют разучивать песни: «Чубарики-чубчики», «Дуня» и «Гречаники». В девять часов следует поверка, затем молитва и — для завершения дня — неизменное «Боже, царя храни».

Отделенный считает нужным показать свою власть даже в тот момент, когда мы собираемся ложиться спать. Он заходит в помещение и кричит:

— Четвертое отделение, ра-а-а-з!..

Через минуту новая команда:

— Дв-а-а-а!..

Когда раздается команда «три!» — все должны быть

раздеты, разуты и лежать на койках. Не всем удавалось проделать это с такой курьерской быстротой. Расплата следовала немедленно: замешкавшихся заставляли одеться, обуться, убрать постель — и вся история начиналась сызнова.

Некоторым приходилось повторять процедуру раздевания по нескольку раз. Чекмасов торжествовал...

РОЖДЕСТВО

К рождеству начали готовиться задолго. Всех православных гоняли каждый вечер в церковь. Неправославных оставляли в казармах и заставляли мыть полы, работать на кухне, чистить винтовки и убирать двор.

Накануне праздника Акимкин отказался итти вместе с православными в церковь и остался с нами.

В этот вечер мы чистили уборные. Когда все вернулись из церкви, роту выстроили в коридоре, и взводные начали пересчитывать людей.

Вошел фельдфебель и громко крикнул:

— Акимкин!

— Здесь, господин фельдфебель! — ответил Акимкин.

— Здесь, здесь!.. — передразнил его фельдфебель, собираясь, видимо, что-то еще сказать, но в это время к нему подбежал писарь Герман и, почтительно согнувшись, сообщил на ухо, что к казарме подъехал командир.

— Смир-р-р-но!..— раздалась команда.

Вошел командир и поздоровался с ротой. Из нескольких десятков солдатских глоток вырвался дружный крик, в котором нельзя было разобрать отдельных слов казенного приветствия. Слышно было нечто, похожее на «гау-гау-гау».

Командир медленно обошел фронт, начиная с правого фланга, пристально осматривая каждого солдата, затем вернулся на середину фронта и обратился к нам с речью.

— Вот что, молодцы, — начал он. — Наш Сорок седьмой Украинский полк имеет славное прошлое, незапятнанное боевое имя. Наш полк прославился в турецкую кампанию, он защищал православие, заслужил благодарность царя и родины...

Командир явно волнуется. Гринберг, стоящий рядом

со мной, толкает меня незаметно локтем,— мол, послушай, что собирается отмочить ротный.

— ... Но вот в нашем полку,— перешел к своей основной теме командир, — нашлись богохульники, которым на все это наплевать. В то время как весь мир готовится к великому православному празднику, солдат четвертого отделения третьего взвода Иван Акимкин нахально отказался посетить церковь и заявил: «Лучше я буду нужники чистить с неправославными, чем слушать гнусавое мычанье пьяного попа!» Что означают такие наглые слова? Это равносильно отказу от царской службы. Акимкин, один шаг вперед! — закончил грозно командир.

Акимкин выступил из рядов и вышел вперед.

Командир окинул победоносным взглядом всю роту.

— Кто назовет его православным солдатом?— продолжал командир, показывая на Акимкина.— Научился грамоте, а вот считает, что лучше чистить уборные, чем посещать церковь. Хороший пример, красавец, подаешь!.. Ну, что скажешь?— обратился он к Акимкину.

— Ваше высокоблагородие, мое православие...— начал было Акимкин, но командир не дал ему договорить и крикнул:

— Молчать!

Командир рассвирепел. Шея у него задергалась, старательно приглаженные усы ощетинились, ноздри раздулись.

— Фельдфебель!— позвал командир.

Фельдфебель молодцевато шагнул вперед и вытянулся, застыв неподвижной статуей.

— Акимкину пять суток строгого ареста, начиная с завтрашнего дня!

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — гаркнул фельдфебель.

В дни рождества занятий не было. После возвращения из церкви солдатам роздали праздничное угощение — четверть фунта колбасы и шкалик водки.

Чекмасов, узнав, что я не пью, пытался было получить и мою долю, но Акимкин уговорил меня взять причитающееся:

— Лучше вылить водку в уборную, чем поить такую собаку!

На праздники к нам в гости из соседней роты пришли Ислам, Шигай и Галямов. Мы посидели, поболтали, а затем спустились вниз, в столовую, пить чай.

Не успели мы усесться, как в столовую ввалился фельдфебель. Его ярко-красный нос, походивший на петушиный гребешок, убедительно свидетельствовал, что фельдфебель встретил православный праздник достойным образом.

Акимкина в этот день на гауптвахту еще не отправили. Фельдфебель, увидев Акимкина, сразу запнулся:

— Ты что же, москвич, тоже мухамеданином заделался?

— Захочу, так буду!— задорно ответил Акимкин.

— А ты, башкирская морда,— любезно обратил на меня внимание фельдфебель,— почему свиную колбасу жрешь?

— Потому, что не русская морда!— вспылил я.

— Видно, захотелось тебе вместе с Акимкиным сесть,— буркнул фельдфебель, но не привел своей угрозы в исполнение и вышел из помещения.

Мы продолжали прерванную беседу. Мои товарищи рассказали мне, как тяжко им приходится в казарме. Особенно не взлюбил отделенный Галямова и чуть ли не каждый день полосует его ремнем за неудачные ответы на занятиях. Шамиль-махзум состоит с ним в одном взводе, по всячески старается выслужиться перед начальством и на просьбу Галямова разъяснить что-либо непонятное — лакейски-угодливо приговаривает:

— Старайся, дружок, сам понять все без чужой помощи. Царская служба не легка. Будешь стараться — в люди выйдешь. Вот и меня скоро направят в учебную команду...

Поздно вечером в казарму начали возвращаться старые солдаты. Почти все изрядно выпили. Вернулся и Чекмасов. Вид у него был растерзанный: фуражка еле держалась на голове, шинель испачкана, на лице запекшаяся кровь. В помещение казармы он ввалился, неистово ругая кого-то отборной площадной бранью. Войдя в казарму, он плюхнулся на койку, заставляя Ковальчука снять с него сапоги и стянуть шинель,— Ковальчук

должен был все это немедленно вычистить,— и наконец громко крикнул:

— Четвертое отделение, ко мне!

Первым со всех ног кинулся к отделенному Лопатин, за ним — Врубель и Гринберг. Несколько человек остались спокойно на месте. Чекмасов с пьяных глаз не заметил этого и обратился к подошедшим:

— Команду принимает рядовой Лопатин... Все отделение пусть в две минуты принесет мне... кипятку... и чтобы через... секунду передо мной... стояла кружка с чаем... Поняли?

— Так точно, поняли! — угодливо ответил Лопатин.

Чекмасов еще долго куражился, бахвалился перед заискивающе-внимательно слушавшим его Лопатиным, но наконец свалился на койку и мертвецки захрапел.

Только на другой день мы узнали о подвигах Чекмасова: оказалось, что он в совершенно невменяемом состоянии пытался проникнуть в дом терпимости, но был там избит казаками Терского полка и выброшен на улицу.

Чекмасов, впрочем, был не одинок. Немало старых солдат и мелкого казарменного начальства нашего полка были пьяны, как стельки, в этот день.

Царская казарма торжественно встречала свой праздник.

СМОТР

Было начало февраля. Нас разбудили раньше обычного. Сначала шла привычная суматоха: неизменная уборка казармы, чистка сапог и утренняя молитва. Затем мы начали репетировать смотр роты бригадным командиром.

Фельдфебель выпятил свой весьма солидный живот и гаркнул:

— Отвечать мне, как командиру бригады!

Подделываясь под хриплый генеральский бас, он прогудел:

— Здорово, орлы!

— Здрав... желай... ваш... диство...

— Здорово, ребята!

— Здрав... желай... ваш... ство...

— Спасибо, ребята!

— Рады стараться... ваш... диство...

— Кто там отстает?.. Ну, снова, молодцы, четырнадцатая рота...

В таком духе занятие продолжалось около получаса. Затем фельдфебель, по примеру начальства, спрашивал солдат, нет ли у них жалоб и претензий.

Нас наспех напоили чаем и повели в полном снаряжении на окраину города. Небо было хмурое, беспрерывно падал мелкий снежок.

Полк выстроили на поляне, и ротные командиры начали нас внимательно осматривать, выравнивать части и наводить порядок. Внезапно послышалась команда:

— Сми-и-р-р-но!..

Полк замер. Настороженная тишина. Слышно только дыхание рядом стоящих солдат. Стоим в таком напряженном состоянии почти десять минут. Кого это ждут? Наверное, к нам жалует сам бригадный командир собственной персоной. Однако неожиданно раздается новая команда:

— Вольно!..

Люди топают озябшими ногами, потирают посиневшие руки, откашливаются... Но начальство уже вновь гремит:

— Сми-и-р-р-но!..

Мы опять замираем на несколько минут.

Такой бессмысленной муштрой нас мучат с семи часов утра до половины шестого вечера. Лица солдат давно посинели, руки и ноги едва сгибаются от холода и усталости, но начальству до всего этого мало дела.

Около шести часов вечера нам командуют:

— Равняй...сь!

И тут же:

— Смирно!..

Ротные командиры повторяют команду:

— Смирно!..

Немного спустя слышно громкое:

— Господа офицеры!..

Со стороны города приближалась группа всадников. Она подъехала к правому флангу выстроившегося полка. Командир полка подбежал к прибывшим и, приложив руку к козырьку, отрапортовал о состоянии вверенной ему части.

Батальоны построили колоннами и провели церемониальным маршем. Генерал-майор стоял в кругу офицеров и внимательно осматривал дефилировавшие перед ним войсковые части. Полковой оркестр беспрерывно играл марш.

Наша рота, во главе с командиром, также прошла торжественным шагом. Генерал зычно, несколько охрипшим голосом, кинул:

— Здорово, ребята!

Рота ответила дружным: «Хау, хау... хау...»

Командир роты, пройдя площадку, где стояло начальство, отошел в сторону и вытер лоб, словно человек, совершивший очень важное дело. Обратившись к полуротному Зеленскому, шагавшему рядом с третьим взводом, он крикнул:

— Поручик Зеленский, ведите роту домой!

Зеленский молодцевато приложил руку к козырьку, но, пройдя несколько шагов и убедившись, что ротный направился к группе начальства, производившей смотр, тихо, про себя, начал ругаться. Мы шагали близко к Зеленскому, и поэтому до нас долетали отрывки его слов:

— ...Ироды... Только зря мучают солдат... Отлупить бы вас за такие смотры...

Фельдфебель шел рядом с нами и невозмутимо повторял команду:

— Айть-два!.. Айть-два!..

Зеленский наконец оглянулся и скомандовал:

— Ребята, шагать вольно!

Мы вздохнули свободно и начали непринужденно месить ногами липкий снег, смешанный с грязью.

ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский — красивый молодой офицер. Он высокого роста, у него приветливое лицо, добрые, немного близорукие глаза. Солдаты его любят. Его присутствие на занятиях умеряет издевательства мелкого начальства, отделенных и взводных. Зеленский запрещает бить и даже ругать солдат, часто велит давать отдых и по-человечески беседует с «нижними чинами».

Зеленский не похож на остальных офицеров. Когда

он дежурит по полку, он часто заходит в караульную и запросто расспрашивает солдат о родной деревне, о хозяйстве, о семье. Зеленский явно либеральничает: застав кого-либо из солдат за книгой, он вступает в длинный разговор с солдатами об этом произведении, дает советы, что читать, где доставать книги.

В последних числах марта новобранцев приводили к присяге. Мы стали «полноправными солдатами его величества», и нас начали посылать в наряды. Однажды меня, Гринберга и еще восемь солдат из другой роты послали охранять полковую гауптвахту.

В третью смену солдату Файфуру и мне довелось дежурить в коридоре, где помещались камеры с заключенными. В общей камере гауптвахты, в маленькой комнатушке с двумя окнами, находилось тридцать девять заключенных солдат. Сидели они за разные мелкие проступки: один разбил, сметая пыль с икон, трехкопеечную лампадку, другой не исполнил приказания взводного; двое из девятой роты сидели уже более двух недель за то, что, встретив на улице ротного командира, не встали во фронт; молодой поляк из одиночного карцера, служивший денщиком у какого-то офицера, сидел за «особо тяжкое» преступление: увлекшись чтением только что полученного из дому письма, он забыл налить воды в самовар, и тот распаялся. Все остальные были такими же «закоренелыми злодеями».

Я простоял на посту положенные два часа. Было уж за полночь, когда я вернулся в караульную. Спать на дежурстве не полагается,— через четыре часа надо опять становиться на караул. От нечего делать сел читать роман Гончарова, взятый мною у кого-то из солдат.

Неожиданно в караульное помещение вошел Зеленский. Мы вскочили с мест и намеревались было вызвать караульного начальника, но Зеленский остановил нас и расписался в дежурной ведомости. Я не успел спрятать книгу, которую читал. Зеленский заметил ее, взял в руки и перелистал несколько страниц. Я замер в ожидании неминуемого наказания,— в карауле чтение книг являлось преступлением. Однако Зеленский совершенно неожиданно положил книгу на место и сказал, обращаясь ко мне:

— Если любишь читать, приходи и бери книги у меня.

Зеленский ушел из караульного помещения, и мы начали обсуждать происшествие. Поведение Зеленского было уж очень необычным. Только на-днях один из офицеров отобрал у моего приятеля Файфура «Живой труп» Толстого. Файфура на другой день вызвали в полковую канцелярию и долго допрашивали, кто дал ему эту книгу, читает ли он также другие книги, где их достает.

Зеленский явно не походил на остальных офицеров. Мы быстро прониклись доверием к нему и начали пользоваться его книгами.

ЛАЗАРЕТ

После смотра полка нас всех погнали на трехдневные маневры в Хотинский уезд, в сорока верстах от Каменец-Подольска. Валил мокрый снег, но тем не менее маневры не были отменены. Солдаты промокли до нитки. А я жестоко простудился — температура сразу поднялась до сорока градусов. Меня направили сначала в околоток, а затем — в лазарет.

Лазарет был огромных размеров; в нем лечили больных не только нашего полка или нашей дивизии, но и Терского и Кубанского казачьих полков. Имелось особое арестантское отделение, специальное отделение для венерических,— последние превышали количество всех прочих больных.

В одной палате со мной лежало человек двенадцать. Один из них, молодой, семнадцатилетний парень из музыкальной команды Терского казачьего полка, невольно привлекал к себе внимание. Сразу бросалось в глаза его юное, но какое-то мертвое, безжизненное лицо, в котором не было ни кровинки. Во всем его поведении, робком и заискивающем, чувствовались неуверенность в себе, забитость и подавленность. Страдал он недержанием мочи. Ему приходилось поэтому спать на голых досках,— каждый вечер санитар забирал у него на ночь матрац. Лечили его нелепо, какими-то порошками; кроме того, старший врач ежедневно вызывал к себе и отчаянно разносил бедного Ванюка — так все звали этого больного.

Налево от меня лежал татарин из Сорок восьмого полка, уроженец Мензелинского уезда. На вид он был здоров, но по вечерам его схватывал мучительный кашель. Татарин был угрюм, молчалив и большую часть дня спал. Проснувшись, он ни с кем не разговаривал, вынимал из-под подушки какую-то книгу на арабском языке и внимательно читал ее.

Довольно скоро мы узнали о нем все. Он оказался учеником Яхтибайского медресе [1] и был сыном муллы того же района. «Болезнь» его была довольно своеобразна: он каждый вечер выходил в уборную и нюхал какое-то лекарство, которое готовил ему санитар за двадцать пять рублей. Лекарство и вызывало кашель, который должен был освободить хитроумного сына муллы от военной службы. Именно таким способом, как оказалось, освободился от военной службы и Шамиль-махзум, который прохворал аналогичной «болезнью» пятнадцать дней и затем уехал домой.

Лазарет расположен на противоположном берегу реки Каменец и окружен густым, тенистым садом. В этом саду мы ожидаем своей очереди на прием к главному врачу. Я сижу на скамье вместе с Ванюком. Мы разговорились, и он поведал мне печальную историю своей жизни. С десяти лет он попал на военную службу, — родителей своих не помнит, жил в Краснодарском приюте, и совсем мальчиком его взял к себе на воспитание какой-то есаул, но, продержав недолго, сдал в полк.

— Отчего же есаул не захотел тебя воспитывать? — спросил я.

— Так как-то вышло...— ответил Ванюк, явно что-то не договаривая. — Обругал я его, «собакой» назвал... Да собака он и был, — добавил после минутного молчания Ванюк. — Он и сейчас жив, служит в Третьем Кубанском полку, дослужился до войскового старшины, а я вот до сих пор страдаю по его милости...

Ваня опустил низко голову и угрюмо замолчал.

— Что же, бил он тебя, что ли? — спросил я, чтобы рассеять тягостное молчание.

Ванюк продолжал сосредоточенно смотреть вниз и через минуту заговорил:

[1] Медресе — бывшая духовная школа у мусульман.

— Эх, товарищ, стыдно мне, но так и быть, расскажу тебе все, авось легче на душе станет... Ведь не знаешь ты, что со мной приключилось у есаула... Пришел он однажды пьяный из офицерского собрания. Холостой он еще тогда был, один денщик при нем находился, да я жил в комнатушке. Вот денщик раздел его, уложил в постель и сам ушел спать в переднюю. А есаул встал, подошел к моей постели и изнасильничал меня. Боялся я кому-нибудь рассказать об этом, молчал, а есаул еще несколько раз таким же манером истязал меня. Потом есаул женился, а меня сдал в полк. А в полку служил подхорунжий Кургаков, друг есаула. Вот и он меня несколько раз вызывал из музыкантской команды и таким же манером истязал. Я не выдержал, пожаловался командиру полка. Подхорунжего куда-то перевели, а я вот страдаю этой болезнью, — закончил Ванюк и заплакал.

Мы приняли горячее участие к жертве офицерской извращенности. Санитару дали на полбутылку — и добились того, что матрац стали оставлять Ванюку и на ночь. Повидимому, теплое отношение товарищей оказало на Ванюка целебное воздействие, — болезнь стала у него проявляться все реже, он взял себя в руки и довольно быстро выписался из лазарета.

...Каждую неделю лазарет навещает врачебная комиссия. Она решает судьбы солдат: кого вернуть в казарму, а кого отправить домой. Постановления комиссии на первый взгляд совершенно непонятны: здоровых солдат увольняют «в чистую», а заведомо больные оказываются вполне пригодными для продолжения царской службы. Несчастный портной Хаимов из седьмой роты, худощавый заморыш, страдал сильной одышкой: он не мог пройти быстрым темпом даже десяти шагов. Решение комиссии, однако, было неожиданным: возвратить в часть. Наоборот, другого — молодого, стройного, сильного и мускулистого еврея, моего соседа — признали неизлечимо больным и отпустили.

Причина этих капризов врачебной комиссии была очень проста. Члены комиссии, почти не стесняясь, брали взятки за освобождение от почетной царской службы. Красавец из девятой роты, сын какого-то киевского торговца, сумел дать кому нужно сто целковых и за это доброхотное дая-

ние превратился в неизлечимо больного. Бедный маленький горбун денег не имел и потому остался служить царю-батюшке.

Солдатам, у которых не было денег, приходилось в лазарете туго. Среди больных «арестантов» был один паренек с распухшими ногами. Он находился в лазарете уже более трех месяцев, но числился на положении арестованного. Обвиняли его в «членовредительстве» с целью освобождения от военной службы. В действительности паренька как-то сильно лягнула лошадь. Однако при этом никого не было, рассказу потерпевшего никто не хотел верить, да и никто, в сущности, не интересовался выяснением истории. Солдатик был гол, как сокол, и у врачебной комиссии не было никаких серьезных побуждений разбираться в деле. Паренька мучили бесчисленными осмотрами, исследованиями, нога у него была попрежнему толста, как бревно, но об освобождении незадачливого солдатика от службы никто в лазарете и не думал.

Лазарет довольно точно отражал всю систему царской казармы и резкое различие в положении богатых и бедных в этой армии.

БЛИЖНИЙ ЛАГЕРЬ

Наш полк был уже расквартирован в лагере, когда я вернулся из лазарета. В лагерях было лучше, чем в казармах: и воздух чище, и свободы больше. Вечером можно встретить товарищей из других рот и около кухни и у полковой лавки.

Я прибыл из лазарета к вечеру. Товарищи успели мне сразу выложить все несложные новости, происшедшие за время моего отсутствия: Акимкин вернулся с гауптвахты, где он отсидел две недели по распоряжению ротного командира; отделенный командир Чекмасов почует не с нами...

Нашу беседу прервала команда: «К ужину!» Затем нас выстроили перед палатками и обучали все тем же набившим оскомину солдатским песням — «Гречаники», «Чубарики» и «Дуня». К девяти часам наши хоровые упражнения были прекращены.

— Сми-и-и-р-р-р-но!..— раздалась оглушительная команда.

Трели десятка барабанщиков возвестили начало молитвы и неизменно следующего за этим «Боже, царя храни».

— А ну-ка, Бакиров, — сказал, обращаясь ко мне, Чекмасов по окончании всей этой «торжественной части», — постой-ка сегодня дневальным на передней линии. Ты довольно поспал в лазарете.

— Ладно! — недовольно буркнул я.

— Что это за «ладно»? — сразу рассвирепел Чекмасов. — Разве так отвечают отделенному командиру? Совсем обабился ты в лазарете! Простоишь всю ночь без смены!

— Так нельзя, — тихо, но решительно заявил какой-то незнакомый мне солдат.

Я ожидал немедленной расправы. Чекмасов действительно сорвался, как цепная собака, с места и помчался к солдату, который продолжал спокойно и непринужденно стоять на месте, выпятив широкую грудь. Должно быть, в облике солдата было что-то такое, что заставило Чекмасова ограничиться одной только ворчливой репликой: «Ты тут не вводи свои законы! Только успел явиться»...

Незнакомый мне солдат так же невозмутимо, внушительно ответил:

— Устав существует не только для нас, но и для тебя.

Чекмасов пробормотал какое-то проклятие себе под нос и грозно велел всему отделению разойтись, явно недовольный таким подрывом своего авторитета. Однако, по каким-то непонятным для меня причинам, он на сей раз не решился поддержать свой престиж обычными в таких случаях затрещинами и оплеухами.

Я, конечно, заинтересовался своим защитником.

— Зовут его Кирилл, а фамилия Суров, — сообщил мне Акимкин. — Он из крещеных татар и два года прослужил в Балтийском флоте, но затем попал в дисциплинарный батальон за то, что избил какого-то офицера. Из батальона по прошествии двух лет его перевели в Девятый уланский полк, там опять за что-то посадили

на девять месяцев, а теперь вот препроводили нам в полк. Рассказывает он, — добавил Акимкин, — что за четыре года царской службы простоял более пятисот часов под винтовкой за разные проступки. Не знаю в точности, что он за человек, но только думаю, что из красных будет, — закончил задумчиво свой рассказ Акимкин: — Товарищ во всяком случае очень хороший.

От дневальства мне сегодня, видно, не освободиться — приходится приступать к исполнению обязанностей. Рота уже улеглась спать. Я пристегиваю штык к поясу и иду проверять, есть ли вода в умывальниках второго и четвертого взводов. Затем пересчитываю винтовки и справляюсь, где спят солдаты, которым утром надо работать на кухне: разбудить их на заре должен дневальный.

Полк затих. Лег спать наконец и дежурный унтер-офицер нашей роты, строго наказав разбудить его в случае прихода дежурного офицера. В палатке первого взвода кто-то бредит во сне и вскрикивает. Из города доносятся отдаленные, еле слышные звуки музыки. Это, кажется, играет оркестр в Пушкинском саду. Часто, направляясь за продуктами, мы обходим этот сад. Гулять в нем и даже пересекать его нам запрещено — на воротах красуется дощечка с надписью: «Собакам и солдатам вход воспрещен».

Ночные звуки и шорохи доносятся с реки, протекающей невдалеке от нашего лагеря. Вот пастух из хутора запел грустную песню «За Дунаем», его голос звенит и дрожит в ночной тишине.

Я присел на дерн и задумался. Передо мной проносится вся моя казарменная жизнь, унылая, серая, безотрадная. Если хочешь ладить с начальством, надо стать безвольным автоматом, тупым, не рассуждающим механизмом. Мне вспоминается, как на занятиях по словесности, которые вел «сам» капитан Глыба, нам рассказывали о патриотических доблестях полка, о его «славной» истории и о том, как они боролись «за освобождение славян». Я неосторожно задал вопрос: что, если, мол, освобождение славян было помощью православным братьям, которых угнетали «нехристи», то, пожалуй, я, как неправославный и не-христианин, мог бы и не участвовать в такой войне?.. Капитан Глыба пытался

парировать мой вопрос ссылкой, что государство, мол, «охраняет» меня, мою землю, но я с деланной наивностью продолжил эту политическую дискуссию и почтительно указал его высокоблагородию на то, что земли наши отобраны помещиками Елатичем и Никулиным, а посему и «охрана» государства нам, в сущности, мало нужна. Капитан в спор со мной не вступил, но на другой день меня и солдата Богомолова,— он тоже позволил себе рассуждать на «занятиях» не по казенному трафарету,— вызвали в канцелярию полка. Там нас подвергли длительным расспросам, кто нам внушил эти крамольные мысли, почему мы такие вещи говорим при солдатах, и в заключение многообещающе посулили «принять меры», если мы будем продолжать в таком же духе разглагольствовать в казарме...

Перед моими глазами проносится ряд картин, вспоминаются родная деревня, товарищи, детство. Смертельно хочется спать. Пытаюсь бороться с дремотой, брожу между палатками. Близится рассвет. Где-то запели петухи, слышен отдаленный лай собак. Вновь присел. Перед глазами опять потянулась вереница образов: телеги с навозом, которые я когда-то возил в поле у помещика Никулина, сам помещик, волы, запряженные в сохи, казарменная гимнастика, Чекмасов, Суров...

Солнце еще не взошло, но горизонт уже алел. Дежурный унтер-офицер приказал разбудить кашеваров. Горнисты соседних казачьих полков заиграли утреннюю зорю. Заунывные, протяжные звуки горниста ширятся, льются по реке, и звучное эхо доносится от густой стены соснового бора, расположенного вблизи лагерей.

Утренняя сутолока солдатской жизни в полном разгаре. Смотр, гимнастика, чай. Затем мы все вновь облачаемся в постылую амуницию, вскидываем винтовки на плечи и шагаем на занятия.

— На-пра-а-а-во!..

— На-ле-е-е-во!..

— Учебным шагом — шагом ма-а-а-рш!

— Бегом ма-а-а-р-рш!

Чекмасов злобствует попрежнему:

— Фатхетдинов, рязанская баба, маши руками!

— Эй ты, Гринберг, жидовская морда, подними голову!

Затем обед. После обеда полагается отдых. Но сегодня привычный порядок нарушен. Вместо отдыха фельдфебель посылает нас чистить сад ротного командира.

Фатхетдинов и Богомолов на работе отводят душу в разговорах и проклятиях по адресу нашего тирана, Чекмасова: «Эх, если бы нам сказали, что на три дня освободят нас от Чекмасова, то, кажется, в одни сутки мы очистили бы сад».

— Ну и боитесь же вы этого Чекмасова!— небрежно сказал Суров, стоявший в сторонке.

— Ты недавно, Суров, прибыл. Поживешь с нами, так иное запоешь...

— Пусть только тронет меня! Так щелкну его по марсу [1], что закачается, как шлюпка на океанской волне,— буркнул Суров.

Из дому вышла нянька командира. На руках она держала двух краснощеких близнецов — ребят командира, вверенных ее попечению.

— Бог в помощь, землячки!— приветствовала она нас.

— И тебе в помощь, чтобы таскать на руках вот этих поросят,— пошутил Суров.— Скажи барыне, чтобы вышла помогать нам. Передай ей от моего имени: господин Суров, мол, велели...

Зубоскальство Сурова и его явное нежелание проявлять усердие при очистке командирского сада, видимо, сердят ефрейтора Воеводина. Он приставлен к нам в качестве «старшого» для наблюдения за работой.

— Будет, Суров, лясы точить... Давай дружней, ребята. К четырем часам надо закончить все.

Суров не смолчал:

— А ты что больно стараешься? Еще лычку на погоны заработать хочешь? Думаешь, командир тебе уделит часть урожая с этого сада? Не надейся: у него все бесплатно работают. Вон, кроме нас, еще три денщика служат у него, и никто ни шиша не получает.

— Так-то оно так...— задумчиво процедил Воеводин и повернулся лицом к командирскому дому: не следят ли оттуда за нами.

---

[1] Марс — на современных военных кораблях площадка на верху мачты; в данном случае — лицо.

— Бабушка,— неожиданно обратился Суров к старухе,— скоро ли поспеют вишни и слива?

— Вишня-то, сынок, уже поспела,— затараторила словоохотливая няня, показывая рукой в глубину сада,— а вот сливы и яблоки что-то...

Близнецы в это время запищали. Старуха поневоле принуждена была прервать свои объяснения. Мы вновь взялись за работу, но уже без Сурова. Он куда-то таинственно исчез. Воеводин несколько раз окликал его, но Суров словно в воду канул.

Когда мы, закончив работу, уже возвращались в лагеря, по дороге у моста увидели Сурова, сидевшего в канаве. Перед ним на коленях лежала фуражка, наполненная вишнями, которые Суров уплетал без зазрения совести. Он честно поделился с нами трофеями, добытыми в командирском саду, но сопроводил свое угощение коротеньким пояснением:

— Все равно командир ничего не даст за работу, так я вот решил за него вам уплатить из урожая...

ПОЛКОВОЙ ПРАЗДНИК

К полковому празднику начали готовиться заблаговременно. В течение трех дней от каждой роты отряжали по десять «нижних чинов», которые чистили площадь, приводили ее в порядок, ставили столбы и барьеры. На площади были построены большие палатки для гостей и офицеров.

В самый день праздника был большой парад. Нас пропустили церемониальным маршем перед начальством, и в заключение священник окропил всех «святой» водой.

Не забыли и о бедных солдатиках. Начальство расщедрилось и выдало каждому солдату шкалик водки, пятикопеечную булку и четверть фунта колбасы.

У Сурова, однако, целое богатство: по крайней мере двадцать булок, около десяти фунтов колбасы и с десяток шкаликов.

— Я ведь знаю,— объясняет Суров неожиданное появление у него столь внушительного количества «подарков»,— что на таких праздниках вдоволь нагревают себе руки и фельдфебель, и каптенармус, и ротный. Вот по-

этому, когда каптенармус вызывал охотников отправиться в город за продуктами к празднику, я сам напросился на это дело. Приходим к нашему подрядчику, старому плуту Шнейдеру. Вижу, он подмигивает одним глазом нашему каптеру. Я уловил момент и заглянул в ордер: на сколько, мол, человек выписывает продуктов. Смотрю — на сто тридцать пять. Давай-ка, думаю, погляжу, сколько нам, интересно, продуктов отпустят. Доходит очередь до нас. Подрядчик кричит нашему каптеру: «Тебе, Иванов, кажется, на девяносто одного человека?..» — «Да, совершенно верно,— отвечает каптер,— на девяносто одного человека». Я молчу. Продукты отвесили, каптер рассчитался чин-чином, а я к ним и подхожу: «Ордер-то,— говорю я,— выписан ведь на сто тридцать пять человек...» — «Не шуми»,— говорит каптер, а сам, вижу, волнуется, испугался. «Нет, так дело не пройдет,— говорю я: — Ежели мне не дадите на десять человек, то сегодня же растрезвоню по всему полку о ваших махинациях». Каптер мой тут совсем сдрейфил, начал о чем-то шептаться с подрядчиком. Пошептались—и сразу отвесили мне на десять человек. Вот как я добыл эти припасы,— закончил свой рассказ Суров и раздал нам продукты.

После обеда начались игры и состязания. Загремел оркестр, и гости из города — чиновники со своими дамами — вместе с полковыми офицерами направились в палатки, где уже стояли накрытые столы. Свободных от нарядов солдат отпустили. Холодовский пригласил меня погулять на берег. Нас отправилось человек пять. Пока мы находились еще невдалеке от лагеря, Ислам, бывший в нашей компании, изображал, по совету Холодовского, (для конспирации) безнадежно пьяного, приплясывал и пел «Последний нонешний денечек». Только отойдя на приличное расстояние, Ислам перестал валять дурака, и мы направились к деревне Косогорке. Вел нас Холодовский, который в деревне разыскал своего знакомого, учителя Гайдана. Нас, оказалось, уже ждали. Сам Гайдан — высокий, с громадной шевелюрой и симпатичным, ясным лицом, а также и его жена Фаня, миловидная молодая женщина, повели нас в дом и стали подробно расспрашивать о житье-бытье, о деревне, о прошлом. Затем Холодовский взял с нас обещание молчать обо

всем, что мы здесь услышим. После этого учитель достал из потайного места под кроватью какие-то брошюры и начал нам рассказывать о тогдашних событиях.

Коротенький доклад Гайдана был посвящен прогремевшим тогда ленским событиям, рабочим забастовкам в Питере, Ростове-на-Дону и других местах.

Это был доклад на заседании подпольного кружка. Разговор шел главным образом о том, как вести агитацию среди солдат и на какие именно темы. Зашла речь также о Сурове и возможности использовать его для нашей подпольной работы. Однако по моему настоянию, — ко мне присоединились Холодовский и другие,— решено было Сурова в кружок не вводить, но использовать его смелые, порой бунтарские по духу, выступления в подходящих для нашего дела случаях.

Солнце садилось, когда мы вернулись в лагеря. Уже по дороге нам попадались пьяные солдаты,— они, по-видимому, ухитрились выпить не только казенный пикалик, подаренный в честь праздника. В самом лагере было шумно и весело. Оркестр гремел беспрерывно в палатках мелькали женские фигуры, слышался звонкий смех и оживленные разговоры. «Господа офицеры» праздновали во-всю.

Для нас полковой праздник тоже остался памятной датой участия в конспиративном совещании.

УТРОМ

На другой день после праздника занятий в полку не было.

Только одну нашу роту нарядили в караул.

К одиннадцати часам нам надо было пойти на развод к полковой канцелярии.

Мы позавтракали и выстроились в ожидании начальства — Чекмасова, который был назначен караульным начальником. Однако Чекмасов почему-то не приходил. На поиски отправился сам фельдфебель, но Чекмасов словно в воду канул.

В прошлую ночь с вечера дежурил Суров. Фельдфебель, естественно, обратился к нему.

— Нет, не видел. Когда я начал дневалить, Чекма-

сова в роте не было, а отсутствующих людей дежурный не обязан караулить,— съехидничал Суров.

Пришлось отправиться без Чекмасова, место которого занял Воеводин.

Мы захватили продукты и направились на караул. Нас, оказывается, назначили охранять ближнее стрельбище. Летом стрельба не производилась, но все же там хранилось кое-какое мелкое имущество: с десяток мишеней, четыре лопатки и четыре соломенных цыновки. Вот эти «ценности» мы и должны были охранять.

Когда мы проходили вдоль кукурузных полей, Суров неожиданно расхохотался:

— Ну, и ошпарил я его!

— Кого это?— полюбопытствовали мы.

— Да вот Чекмасова... когда мы с ним вчера гуляли... — продолжал хохотать Суров.

Таинственные недомолвки Сурова заинтересовали всех, и мы заставили его рассказать нам о происшествии подробно.

— Дело было так,— начал Суров:— Вы ушли, а Чекмасов, проходя мимо, взглянул на мои шкалики с вином и облизнулся. Ну, у него, ясное дело, слюнки потекли. Стал приставать ко мне: где, мол, раздобыл вино? Я ему и давай баки наколачивать: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Подрядчик, дескать, оказался моим прежним корешком, вместе когда-то работали в Риге...» Растарабарываю я все это Чекмасову, а сам подношу ему один шкалик за другим. Влил он в себя шкалика четыре, и совсем развезло парня. Тут я ему говорю, что ждут меня в городе и надо поспеть туда к часу. Он ко мне и причалился. «Давай,— говорит,— вместе плыть».— «Что ж, давай!» Пошли вместе. Зашли сначала в пивную, около наших казарм. Раздавили там полбанки,— больше, конечно, пил Чекмасов. Вижу, мой Чекмасов словно в качку попал — из стороны в сторону его несет. Начал звать меня к своим знакомым. Мне-то что! Я человек бывалый, и не в такие переплеты, случалось, попадал. Пошел с ним. Привел он меня к своим знакомым, а там оказались девицы из заведения. Оказались там и другие гости — несколько саперов и казаки Терского полка. Как свой человек расселся Чекмасов, потребовал пива —

и давай заигрывать с одной из девиц, которая сидела с казачьим урядником,— видимо, охота ему ее отбить. Говорю: «Брось, браток. Видишь — она занята». А Чекмасов все свое тянет. «Я,— говорит,— тоже унтер-офицер». Ну, казак, натурально, начинает в раж приходить. Чувствую, шквал налетает. Казак на меня смотрит злыми глазами. Я Чекмасова успокаиваю, а уряднику подмигиваю: «Делай, мол, как хочешь, я тебе не помеха». Урядник, значит, не выдержал, встал спокойно с места — и бац кулаком Чекмасова по медальону. Наш отделенный так и грохнулся на пол. Однако встал кое-как — и опять к уряднику. А тот ему добавил еще пару лещей и двинул по спине так, что Чекмасов наш кубарем вылетел на улицу. Поднял я Чекмасова и успокаиваю: «Разыщем, мол, мы еще этого казачишку и отдубасим по седьмое число». Чекмасов качается, еле ноги ставит и все поливает урядника из души в душу. Вывел я нарочно Чекмасова на главную улицу. Навстречу нам два каких-то казака-терцы, а на другой стороне — полковник нашего полка: уже позже я узнал, что это был командир второго батальона. Чекмасов как увидел этих казаков, так и давай к ним с пьяных глаз привязываться. Чекмасов шпарит это на всю улицу, а казаки обалдели, — стоят, ничего не понимают. Вижу, полковник переходит на нашу сторону. Я быстро сошел с тротуара, приосанился и, не доходя за пять шагов до полковника, стукнул каблуками и встал во фронт. «Молодец!» — говорит полковник.— «Рад стараться, ваше высокоблагородие! Разрешите доложить!»— говорю я. «В чем дело?»— спрашивает полковник. «Так что отделенный командир четвертого отделения третьего взвода четырнадцатой роты Чекмасов напился пьяный, привязывается ко всем встречным, и никак его невозможно доставить домой».— «Ага!»— пробурчал полковник и повернулся к Чекмасову. Казаки — в струнку, отдают честь, а Чекмасов уже лыка не вяжет и все матюкает всех. «Ребята,— распорядился полковник:— отведите этого пропойцу на полковую гауптвахту и сдайте караульному начальнику. Да скажите ему, что велел доставить арестованного батальонный командир Лопатьев». Ну, казаки, конечно, поволокли Чекмасова. Пусть-ка посидит денек-другой, прочухается, а потом и

ротный командир от себя добавит ему несколько недель,— закончил свой рассказ Суров.

Суров, как оказалось впоследствии, ничуть не преувеличил. Через сутки, когда мы вернулись с караула, фельдфебель прочел в приказе по полку:

— «...Младшего унтер-офицера четырнадцатой роты Павла Чекмасова за драку на улице в пьяном виде подвергнуть строгому аресту на пять недель. Предлагаю командиру роты, капитану Глыбе, добиться строгой дисциплины среди нижних чинов. Командир полка полковник Соколовский».

Солдаты выслушали этот приказ с большим удовольствием, а Акимкин даже выучил его наизусть.

Слушая рассказ Сурова, мы незаметно дошли до стрельбища и приняли там по списку пресловутое «имущество», подлежавшее нашей охране. Затем вскипятили чай и уселись чаевничать. Душой беседы был, конечно, Суров.

—Да,— крякнул он, допив последнюю кружку чая и свертывая козью ножку,— в таком карауле еще ничего, терпеть можно. А вот иной раз попадешь в караул, так хоть волком вой.

Чувствуя себя в центре внимания, Суров начал оживленно рассказывать о своем пребывании во флоте:

— Был я вахтенным в кочегарке. Вахта окончилась. Я умылся, отдохнул немного в кубрике [1] и вышел на палубу. Прохожу мимо рубки, вижу — стоит молодой матросик в карауле у денежного ящика. Лица на нем нет, весь посерел, а губы даже посинели. «Что это ты, браток,— спрашиваю я,— крен дал?»— «Терпежу,— говорит,— больше нет, лихорадка забирает, трепет». Ну, думаю, что же, не пропадать совсем парню. Пошел к боцману: так, мол, и так, надо бы дежурного сменить. А он, шкура, рычит: «Из какого государства такой адвокат выискался?» Я ему и бацнул: «Сволочь ты, а не человек!» За это меня и отправили опять в кочегарку. А в кочегарке летом — сущий ад. Кочегаров у нас так поморскому «духами» и зовут. Вентиляторы работают плохо, угольная пыль стоит столбом, забивает нос, глаза, горло.

[1] К у б р и к — жилая нижняя палуба для матросов; р у б к а — надстройка на верхней палубе.

Раскроешь топку — в тебя словно тысячи раскаленных иголок впились. Я только что в этой преисподней отдежурил целую вахту, а тут меня на вторую без передышки упрятали. Думал не выдержу — однако кое-как вытерпел. Вылез на палубу отдышаться, узнал, что парня того так и не сменили, пока он не упал. Встречается мне боцман и так ехидно, гад, улыбается: «Наверно, после этого случая адвокатничать не будешь больше!» Я смолчал. Подожди, думаю, до подходящего случая! Дней через пятнадцать пристали мы к берегу. А на берегу, известно, матросу — приволье. Вот встретил я в кабаке,— мы компанией целой были, — этого боцмана. Поговорили мы с ним по душам,— фундаментальный был разговор! Пришлось боцману после этого разговора целую неделю в лазарете на якоре постоять. Но зато милым человеком стал, прямо шелковым... Вот так, товарищи,— назидательно добавил Суров,— всегда надо поступать с начальством, иначе оседлают тебя и будут верхом ездить...

Вечером ходили смотреть в деревню игры и пляски молдаванских парней и девушек. Пришли туда и гармонист с цимбалистом. На широкой поляне молодежь закружилась в хороводе. Суров в это время куда-то скрылся. Я потоптался немного на полянке и затем решил вернуться в караул, тем более, что почти не понимал молодежи, говорившей между собой по-молдавански.

На стрельбище я застал одного только Ковальчука. Сурова и здесь не было. Ковальчук высказал предположение, что Суров попросту сбежал.

— Парень он бывалый и матросом плавал. Возьмет, пожалуй, и скроется...

— Нет, товарищ, он так не сбежит. Уж если надумает это сделать, то нам скажет,— возразил я.

— Да бог его знает!— упорствовал Ковальчук.

— Он, братец, всех твоих богов ни в грош не ставит.

Ковальчук несколько мгновений молчал.

— Бакиров, а ты веришь в бога?— неожиданно спросил он меня.

— Бога я пока не видел, да и разговаривать с ним как-то ни разу не пришлось,— пытался я отшутиться.

— Почему ты шутишь? И у вас ведь, наверное, есть что-нибудь вроде евангелья...

— Есть коран. В нем, говорят, записаны послания самого господа-бога.

— Ну, вот видишь.

— Однако в коране, как и в вашем евангелии, собран азиный вздор и хлам.

— Почему вздор? В нашем евангелии много правды.

— А ты знаешь, что такое правда?

— Как же, знаю.

— Вот ты католик, я мусульманин. А ротный нам долбит в голову, что солдаты должны быть готовы сложить свои головы за веру, царя и отечество. Зачем же наши головы класть за чужую веру? Разве в этом правда?

— Не знаю... Наш ксендз, когда провожал нас на службу, говорил, что все это правильно.

— Да, ксендз, конечно, должен был так говорить. Наш мулла то же самое и нам говорил. Да только оба брехали.

— Как так?

— Да так. Служим мы вот царю, а землю-то кто получает? Не солдаты, не крестьяне, а помещики. Защищать мы должны веру, а в России много десятков разных народов, и у каждого своя вера.

— Да, не поймешь всего этого,— согласился после некоторого молчания простодушный Ковальчук:— Все в мире перепутано. Нам, темным людям, не разобраться...

Суров неожиданно вынырнул из темноты и, как ни в чем не бывало, уселся рядом с нами.

— Ничего не вышло, ребята,— сказал он.

— А что?

— Да вот обошел было вокруг дома, хотел узнать, как обстоят у них дела на кухне...

— Попросить чего хотел?— наивно спросил Ковальчук.

— А разве тебя спрашивают, когда хотят у тебя что-нибудь украсть?— насмешливо спросил Суров.

— То есть кто же это, к примеру?

— Кто, кто! Да любое начальство. Взять хотя бы, к примеру, помещиков. Их возле Варшавы немало. Много они у тебя спрашивали, когда отбирали ваши земли?— продолжал наседать Суров.

— Да что ж... Видно, законы такие.

— Законы, законы! — передразнил его Суров. — Плюнь ты на законы ихние, вот и будешь, Ковальчук, тогда молодцом,— поучал он совершенно растерявшегося от неожиданного наскока Ковальчука.

Небо без единого облачка, мириады звезд сверкают во тьме весенней ночи. Где-то на севере метнулась звезда и плавно скрылась за горизонтом, оставив за собой яркий след. Кругом все спит, и тишина располагает к разговорам и воспоминаниям. Ковальчук быстро захрапел, а Суров лег на спину и начал перебирать разные эпизоды своей морской службы:

— Немало у нас на кораблях было поначалу таких вот дубин, как Ковальчук. Он ведь все с молитвенником не расстается да богу молится. Ну, ничего, на море эта дурь быстро из головы вылетает. Там больше на себя да на хороших товарищей надейся. Да, браток, морская служба бока-то пообломает и уму-разуму научит... Попадешь в лапы какой-нибудь шкуре-кровопийце, он тебе покажет, почем сотня гребешков... Натерпелся я, браток,— продолжал Суров, обращаясь уже непосредственно ко мне,— ругани, матерщины и арестов на службе — сыт по горло. Думаешь, думаешь иной раз: неужто вечно так?

— Я, Суров, думаю,— решил я использовать благоприятный случай для агитации,— что от одних дум да бормотаний про себя ничего не выйдет.

— А что же прикажешь делать?

— Как что? Вот мы, солдаты, в большинстве из крестьян и рабочих. А рабочие в пятом году немало боролись против царя и против помещиков. Вот и теперь рабочие Ленских приисков требовали улучшения своего положения, а царь и генералы их расстреливали. Мало того,— нас же, солдат, заставляют стрелять в них... Вот солдат и должен быть на-страже, знать, на кого он поднимает оружие.

Я не успел договорить. Суров поднялся и протянул мне обе руки:

— Каргала [1]. Полностью подписываюсь под этим!

Мы еще долго сидели под звездным небом и делились воспоминаниями...

[1] Каргала — точка, кончено.

КОРПУСНЫЙ ЛАГЕРЬ

Приказ по полку гласил:

«Утром... июня выстроить полк на площади. Походные кухни должны построить свою работу с расчетом на отпуск обедов в пути. Нижним чинам быть в полной боевой амуниции. Всех арестованных по полку доставить с гауптвахты и под усиленной охраной отправить вслед за полком. Колонну будет замыкать хозяйственная команда. Выступление полка в полном боевом порядке назначаю на 8 ч. 30 м.».

Приказ был нам объявлен еще за два дня до выступления. Целый день мы потратили на разборку ближнего лагеря и перетаскивание ротного имущества.

Накануне выступления начали укладываться. Каждому солдату надо уложить в вещевую сумку две пары белья, щетку, пятки, четыре фунта сухарей, две банки консервов, фунт сахару и двести патронов. Помимо этого — туго набитый патронташ, скатанная шинель, а на узелке, которым шинель перевязывается, два клина от палатки и палка.

Весь этот громоздкий багаж надо было навьючить на себя, на плечо взять винтовку, а справа подвесить топор и кирку, которые при ходьбе своим звоном напоминали громыханье нагруженного верблюда в караване.

В день выступления весь полк выстроили на площади. Неизменный поп прогнусавил полагающиеся молитвы, окропил нас «святой» водицей и помахал вдоль солдатских рядов кадилом.

Полковой оркестр заиграл «Боже, царя храни», и по всей площади разнеслась команда:

— По-о-о-лк... в походном порядке на Проску-у-уров ма-а-а-р-рш!..

Батальонные, ротные и взводные повторили эту команду, уже адресуясь к своим:

— Второй батальон, шагом марш!..

— Четвертая рота, шагом марш!..

Отделенные и ефрейторы пояснили команду на привычном жаргоне:

— Голову выше!

— Маши руками!

— Иванов, куда, чушка, прешь вперед!

— Петров, подтяни живот, баба рязанская!

Звуки оркестра доносились до нас, находившихся сзади, только урывками. Начальство где-то далеко, впереди видна только серая шеренга марширующих солдат.

Жара. Ни малейшего ветерка. Не успели мы пройти двух-трех километров как со всех начали струиться потоки пота. Пыль, усердно взбиваемая сотнями ног, ложится толстым слоем на потные лица, закрывает их сплошной маской. Только белые зубы сверкают на грязных, пыльных лицах. Измученные жарой солдаты пытаются расстегивать вороты гимнастерок, перекладывают винтовку с левого плеча на правое, но начальство бдит: отделенные начинают ругаться и грозят на привале поставить вне очереди на караул.

За ротой верхом едет ротный командир. Он тоже следит за порядком и замахивается нагайкой на тех, кто отстает или пытается глотнуть воды из фляжки.

Мы шагаем мимо зеленеющих деревень. За околицу выбегают крестьяне, выносят воду и протягивают нам в ковшах прозрачную студеную влагу. Для нас, усталых, измученных походом и жарой, наглотавшихся пыли, от которой хрустит на зубах, холодная вода — исключительное лакомство. Безумно хочется припасть устами к запотевшему ведру. Но солдату в походе останавливаться не полагается. Проклиная все на свете, ругая мысленно всех командиров, мы все же продолжаем шагать, как бессловесные автоматы, не смея ослушаться приказа, отказываемся от глотка воды.

Отчего так властен гипноз дисциплины, почему мы чертыхаемся в душе, но все, как один, беспрекословно подчиняемся этой дикой, нелепой муштре? Отчего, в самом деле?

Располагаемся на ночлег в местечке. Жалкие ветхие домишки, покосившиеся стены, малюсенькие окошечки-щелки, поросшие зеленью крыши. Здесь живет еврейская беднота, мелкие несчастные ремесленники, еще более несчастные владельцы «универмагов», все содержимое которых едва ли стоит более двух десятков рублей.

Наш взвод разместили во дворе еврея-портного.

В домике портного лишь две комнаты, но живет в

них немало народу: у хозяина девять душ детей, жена и слепой брат. Тем не менее наш фельдфебель и заводный бесцеремонно влезают в дом и требуют, чтобы им очистили место для ночлега. Нам, нижним чинам, предлагается спать во дворе.

Фельдфебель со своим верным лизоблюдом Лопатиным о чем-то шепчутся. Лопатин исчезает. Проходит несколько минут — и во двор с громкими воплями вбегает хозяйка. За ней, цепляясь за подол платья, бегут несколько измазанных ребят, которые захлебываются от плача. Хозяйка что-то кричит по-еврейски, она сильно взволнована, размахивает руками. Мы не знаем ни еврейского, ни польского языков, на которых говорит местное население, и поэтому не в состоянии понять беды, которая стряслась с хозяйкой. Выручает нас Суров,— он понимает по-еврейски и по-польски. Оказывается, что Лопатин, по просьбе фельдфебеля, поймал на огороде двух кур,— единственных, которыми обладал несчастный портной,— и свернул им шеи. Хозяйка случайно увидела наглое похищение и гибель своих любимиц и подняла вой.

Суров, обладавший довольно большой физической силой, подбежал к Лопатину и, схватив его за ворот рубашки, начал трясти, ругая самыми страшными ругательствами. Затянувшийся монолог Сурова был неожиданно прерван появлением на дворе фельдфебеля, немедленно заступившегося за своего любимчика Лопатина. Фельдфебель зашипел:

— Ты что же это, Суров, фулиганить вздумал? За жидов заступаешься? Или опять в арестантские роты захотел?

На шум обратил внимание проходивший мимо поручик Зеленский.

— В чем дело? Почему галдеж? — спросил он.

Фельдфебель вытянулся.

— Ваше благородие, дозвольте доложить, так что жиды царя тут ругали. А нижний чин Суров за них заступается...

Гнусная попытка фельдфебеля оклеветать Сурова вызывает всеобщее возмущение. Все забыли о сковывающей уста дисциплине и закричали, перебивая друг друга:

— Врет он, ваше благородие!

— Заставил Лопатина украсть двух кур себе на ужин!

Всех перекрывает негодующий крик Сурова:

— Врешь, собака!

Фельдфебель зеленеет от страха, гнева, бессильной злобы. Перед лицом многочисленных свидетелей он вынужден молчать, и это молчание уличает его больше всего.

— Жулик! Мундир позоришь, сукин сын!..— кричит Зеленский.— Немедленно уплати два рубля!

Фельдфебель понимает, что над его головой собирается грозная туча, и дрожащими руками вытаскивает из кармана деньги.

Зеленский вырывает из потной руки фельдфебеля бумажки и передает их хозяйке.

— Марш из этого дома! Чтобы твоего духа здесь больше не было! — злобно бросает Зеленский.

— Слушаюсь, ваше...— заикается фельдфебель, с которого слетели и обычная важность и наглая самоуверенность. У него вид побитой собаки. Съежившись под ироническими взорами всего взвода, он уходит со двора, втянув голову в плечи.

Суров шлет ему вдогонку:

— Вот сволочь! Нашел у кого воровать!

Только на третий день мы наконец добрались до лагерей. На берегу полноводной реки расположено местечко Меджибуж, а напротив — деревня Требухатка. К северу от местечка, там, где река образует изгиб, у невысокой горы раскинулась старинная крепость. Сейчас крепость потеряла какое бы то ни было значение и больше походит на замок. В нем разместился штаб Ахтырского гусарского полка, зимовавшего в Меджибуже. Лагеря нашего корпуса находились на противоположном берегу и начинались от самой деревни Требухатки.

Берег реки покрыт реденьким леском, в нем раскинулись полковые конюшни, хозяйственные постройки и кухни. За ними сразу тянутся деревянные дома для офицеров, а на большой площадке перед лесом — па-

латки для солдат. Построек и разных служб в лагере немало, они рассчитаны на размещение целого корпуса.

Каждый год перед маневрами здесь бывают самые разнообразные части — и артиллерийские, и пехотные, и кавалерийские. На площади, величиною почти с десяток квадратных верст, их обучают солдатским «играм». Таким безобидным словом именовались военные занятия — «игры», от которых солдаты лили немало слез.

Началась опять та же однообразная солдатская жизнь. Утром молитва, затем чистка сапог отделенным и взводным, беспрерывная ругань начальства, издевательства отделенных и взводных.

... Мы на занятиях. Фельдфебель сегодня злобствует больше, чем обычно. Он вызывает из строя замешкавшихся, отставших, записывает их фамилии. Возмездие следует немедленно: их заставляют облачиться в полное походное обмундирование, в вещевой мешок «для веса» добавляют два-три кирпича и ставят под винтовку на четыре часа. Все это — на палящем зное.

Невыносимо жжет солнце. Винтовка давит плечо, кирпичи в вещевом мешке дают себя знать, а стоять надо навытяжку, неподвижно. Даже ногу нельзя переставить. Левая рука, придерживающая винтовку, как бы окаменела, уже не чувствует ничего, колени дрожат, с лица пот льется ручьем...

Через каждые три дня командир полка делает смотр войскам. Нас выстраивают на самом солнцепеке, держат по нескольку часов, затем заставляют шагать нелепым церемониальным шагом, и командир полка лихо кричит опостылевшее всем:

— Здорово, молодцы!

К этому сводится вся премудрость военного обучения.

ПЕРВЫЙ КАРАУЛ

Из полковой канцелярии к нам в лагерь перевели Калиновского. Он привез с собой целый ворох новостей. В дивизии были многочисленные аресты. Андрея Шалина из Сорок пятого Азовского полка в марте увезли куда-то ночью, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Четырех солдат Сорок шестого Днепровского полка арестовали

и направили на два года в дисциплинарный батальон за то, что они возбуждали солдат против командного состава. Молодого корнета Двенадцатого уланского полка разжаловали и отдали под суд за то, что он рассказывал солдатам о революции 1905 года. Особенно неприятен был арест фейерверкера третьей батареи двенадцатой бригады — Батурина. У него нашли при обыске значительное количество нелегальной литературы. Этот арест мог повлечь за собой провал организации, — вот почему Агеев из Киева писал, что Батурина надо спасти во что бы то ни стало.

— О том, что его надо вытащить, знает и поручик вашей роты Зеленский,— сообщил мне конспиративно Калиновский.— Возможности для этого есть. Вашему батальону скоро наступит очередь отправиться в караул. Так вот надо добиться, чтобы ваша четырнадцатая рота была назначена для охраны гауптвахты. А там уж как-нибудь устроим...

В караулы нас назначали, действительно, довольно часто. Порой для этой цели направляли целый батальон. Объектов охраны было немало: караулы полагались и при офицерском собрании, и при полковом знамени, и для денежного ящика, и для гауптвахты, и для многочисленных складов корпуса.

Как, однако, устроить, чтобы нас назначили именно к гауптвахте?

Я осторожно поделился полученными известиями с Суровым, Акимкиным и Гринбергом. Суров вызвался все устроить.

Как раз на другой день наша рота должна была выделить сорок одного рядового, четырех ефрейторов и двух унтер-офицеров для несения караульной службы. Столько же человек предлагалось командировать и соседним ротам — тринадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой. Самый отбор солдат для караулов и распределение их по отдельным пунктам возлагался на фельдфебеля. Нас выстроили перед батальоном. Немного спустя показался фельдфебель, медленно шагавший к шеренге солдат, ковыряя при этом в носу с чрезвычайно глубокомысленным видом.

Еще до его прихода Суров принял меры и успел об-

работать нашего унтер-офицера, довольно робкого, а главное, чрезвычайно доверчивого человека. Уже когда мы собрались на площади, Суров «подъехал» к нему довольно искусно.

— Господин взводный,— бросил как бы вскользь Суров,— хорошо бы нам попасть на караул к гауптвахте. Там хоть по крайней мере в тени стоишь, да и пост спокойный. А в другом месте — так и хлопот не оберешься...

Слова Сурова, как мы сразу убедились, упали на благодарную почву.

Фельдфебель подошел к фронту и вынул из кармана засаленную записную книжку.

— Корпусная гауптвахта,—начал он медленно перечислять:— начальник караула — унтер-офицер, два разводящих, двое выводных, рядовых на семь постов двадцать один человек, всего караула двадцать шесть человек... Какая рота пойдет?

Фельдфебель не успел еще закончить своей фразы, как наш унтер уже поспешил крикнуть:

— Четырнадцатая рота, господин фельдфебель!

— Ладно, записал,— процедил фельдфебель безразличным голосом и отметил кривыми, ужасающими каракулями, куда мы командированы.— Затем продуктовый магазин... Унтер-офицер один... Всего двадцать один человек. Какая рота идет?

— Тринадцатая рота, господин фельдфебель!— раздался голос другого унтера.

Таким образом нас довольно быстро разбили по караулам, и затея Сурова удалась полностью. Наш унтер, Сазонов, выделил меня и Сурова выводными, а остальных распределил по отдельным постам внутри гауптвахты и снаружи. Все это распределение Сазонов старательно записал в свою тетрадь. Затем пошли на развод. Каждый унтер должен был рапортовать дежурному офицеру по полку, куда именно он направляется в караул и сколько человек у него в команде. Низкорослый рыжеусый капитан, хмурый и мрачный после вчерашней выпивки, молча выслушал рапорты унтеров, не отрывая своего взгляда от земли, затем сообщил пароль и дал знак барабанщику и горнисту играть сигнал к разводу.

Караулы, отбивая четкий шаг, направились к месту назначения. Когда мы двинулись в путь, Суров толкнул меня локтем и шепнул:

— Полундра, гауптвахта!

Корпусная гауптвахта расположена невдалеке от деревни Требухатки. Это мрачное, старое, видавшее виды здание было окружено высокими каменными стенами. В гауптвахте помещалось свыше трехсот арестованных солдат.

Мы пришли как раз в тот момент, когда должна была начаться прогулка арестованных, быстро приняли гауптвахту от старого караула и стали выводить заключенных. На мою долю пришлось трое арестованных солдат. Когда я привел их обратно в камеру, то увидел в ней мужчину среднего роста в гимнастерке, совершенно босого. Суров, успевший какими-то непонятными путями все разузнать, шепнул мне, еще когда я подымался по лестнице с арестованными, что в этой камере сидит Батурин.

Сомнений не могло быть: этот босой солдат и есть Батурин.

— Не желаешь ли ты, земляк, прогуляться?— спросил я его.

— Нет, мне еще рановато,— улыбаясь, ответил он, видимо, опасаясь разговоров с незнакомым ему караульным, и отошел к группе играющих в шашки.

Уже к вечеру, когда мы вывели вторично на прогулку группу арестованных, в том числе и Батурина, нам удалось с ним сговориться. Сделал все это вездесущий Суров. Он познакомил Батурина, как «земляка», с Сазоновым. Батурин, получивший надлежащую информацию от Сурова, во время прогулки вертелся возле Сазонова, и наш, не хвативший звезд с неба, унтер совсем расчувствовался, когда Батурин начал расспрашивать его о земляках, называя их фамилии и деревенские клички. Батурин ловко ввернул в разговор, что он попал на гауптвахту совсем случайно,—за то, что якобы случайно разбил икону.

Дело приближалось к ужину. Сазонов обходил все камеры, внимательно осматривал и проверял, все ли на месте. У дверей коридора на посту стоял Гринберг. Общая камера была открыта: раз сам начальник караула здесь налицо, двери можно не закрывать.

Перед заходом солнца принесли ужин и нам. Героем нашей трапезы был Суров. Прекрасный рассказчик, он в этот вечер превзошел самого себя. Запас анекдотов у него был неистощим, и наш унтер покатывался от хохота, слушая круто посоленные рассказы Сурова. Наш ужин затянулся, арестованные в это время были в камере.

Наступила пора сменить караулы. Гринберг, стоявший около выхода, доложил:

— Господин караульный начальник, прикажете закрывать двери?

Сазонов, недовольный тем, что прервали веселый, занимательный анекдот Сурова как раз на самом интересном месте, нехотя поднялся, запер двери общей камеры и начал через окошечко проверять число арестованных.

Вдруг он быстро отпрянул от окошечка и спросил в упор Гринберга: «Батурин где?»

— Не знаю,— невозмутимо-спокойно ответил Гринберг.— Я без выводного никого не выпускал.

Сазонов испуганно посмотрел на Гринберга и начал вновь пересчитывать в окошечко всех арестованных.

— Нет его!— крикнул он сдавленным голосом, подбегая к нам.— Погибли, ребята!

— Перед ужином я выводил его на прогулку. Помнишь, ты еще сидел возле дверей, когда я вернулся с арестованным,— объявил Суров, обращаясь к унтеру.— Я спросил тебя, можно ли мне уйти, ты разрешил, и Батурин остался возле тебя. Видно, тогда он и улизнул...

Сазонов окончательно растерялся от неожиданного происшествия, а быстротой соображения он никогда не отличался. В перспективе он уже видел военный суд и суровое наказание, которое полагалось караульному начальнику за побег арестованного.

Скрывать, однако, этот побег было невозможно,— ежеминутно могла притти проверка. Сазонов, видимо, решился.

— Беги, Воеводин, и кличь сюда дежурного офицера,— сказал он.— Доложи, что, мол, беда у нас...

Суров опять вмешался:

— Постой, взводный, не спеши! В Сибирь всегда успеешь. Давай обмозгуем дело. Да, кстати, сначала

обыщем двор и постройки,— может, он еще не успел бежать, только спрятался.

Двое караульных по приказанию Сазонова бросились во двор, обыскали постройки, обошли весь огород, обшарили даже уборные. В одной из них дверь была настежь открыта, и рядом валялась доска, перекинутая на крышу. Сомнений быть не могло: Батурин при помощи этой доски взобрался на крышу, а оттуда уже махнул через забор гауптвахты.

Сазонов растерялся окончательно. На него было жалко смотреть. Он топтался на месте, хватался за шнур от свистка, висевший у него на груди, и не знал, что делать.

Никогда не теряющийся Суров и здесь нашел выход:

— Сейчас нужно несколько раз ударить из винтовки,— убеждал он Сазонова,— затем побежим в огород и там тоже дадим несколько выстрелов. Начальство прибежит, я и доложу, что когда, мол, выводили арестованного на прогулку, он брызнул мне в глаза какой-то жидкостью и, воспользовавшись растерянностью часового, успел скрыться.

Сазонову ничего не оставалось, как только согласиться на предложение Сурова. Он махнул безнадежно рукой: валяй, крой,— все равно, мол, хуже не будет.

Мы разыграли сцену, как следует быть. С громкими криками: «Лови, лови! Держи!» мы выбежали во двор, дали несколько выстрелов в воздух, затем, продолжая так же добросовестно кричать, забежали на огород, постреляли и здесь в небо и кинулись шарить. Особенное усердие проявил Сазонов, видимо надеясь и в самом деле найти Батурина на огороде.

У дверей гауптвахты мы встретили Сурова. Глаза у него покраснели, из них обильно струились слезы,— видимо, он их натер чем-то.

Вскоре прибежал, запыхавшись, дежурный офицер. Взволнованный Сазонов, весь дрожа, отрапортовал о случившемся. Офицер сразу посмотрел на глаза Сурова и крепко выругался.

— Бараны вы, а не солдаты!— брызгал слюной офицер и потребовал караульную ведомость.

Записав в нее о происшествии, он занес на отдельную бумажку наши имена и фамилии и распорядился:

— Всех свободных от постов сейчас же направить в местечко. Пусть обыщут кабаки, — приказал он Сазонову.

— Слушаюсь, ваше благородие! — испуганно вытянулся Сазонов и направил нас по два человека в разные стороны.

Мы с Суровым направились на центральную улицу местечка, зашли в какую-то парикмахерскую, посидели, послушали, как два парня играли на мандолине, а затем заглянули к шинкарю Хаиму.

Там сидели два казака и их товарищ сапер,— все уже были изрядно навеселе. Мы и здесь побыли немного, а затем вернулись в роту.

Ночь прошла в тревожных разговорах. Рано утром к нам прибыл адъютант полка, опросил всех свидетелей и набросился с ругательствами на Сазонова.

Сазонова вскоре увели. Нас многократно вызывали на допросы к военному следователю. Сурова вызвали к военному врачу, и тот, сверх ожидания, дал заключение, что Сурову действительно плеснули в глаза «какой-то ядовитой жидкостью».

Недели через три после всех этих происшествий Агаев сообщил нам, что Батурин благополучно скрылся за границу.

Сазонова предали суду. На его счастье одним из судей оказался Зеленский. Суд, «по указу его императорского величества», признал, что побег арестованного не был вызван неосторожностью Сазонова, и на этом основании оправдал его.

ВТОРОЙ КАРАУЛ

Когда до нас вторично дошла очередь отправляться в караул, фельдфебель не стал опрашивать унтеров, а сам назначил всех по соответствующим пунктам. Наша рота приобрела нелестную репутацию в прошлый раз, поэтому нас назначили в караул к... публичным домам.

— Смотрите, чтобы и там у вас кто-нибудь не сбежал,— ехидно добавил фельдфебель, провожая нас.

В сложной системе царской армии публичные дома были узаконенным и таким же важным элементом «куль-

турного» воздействия, как церковь, водка и назидательные поучения «батюшки». Вот почему в совершенно официальном порядке, приказом по полку, назначались солдатские караулы к этим «культурно-просветительным учреждениям» армии.

Публичные дома, в которых нам предстояло охранять порядок и тишину, находились ниже местечка, на берегу реки. Два дома, расположенные рядом, были соединены стеклянной галлереей. В комнате, около самых дверей, сидели жалкие музыканты: скрипач, флейтист и барабанщик; они беспрерывно наигрывали какое-то дикое попури. Окна второго дома были наглухо закрыты: там помещались «кабинеты».

Мы пришли в самый разгар «веселья». Скрипка визгливо надрывалась, в зале топали танцующие, было шумно и душно.

Наш караульный принял от прежнего караула «почетный пост». Обязанности наши, впрочем, были весьма несложны.

Мы должны были следить за тем, чтобы не было буйства и «особенных беспорядков» среди солдат разных полков.

Караульный начальник начал информировать нас о наших обязанностях.

— А ну-ка, ну-ка расскажи нам! Ты, видать, дока по этой части,— подзадоривал Суров караульного.

— Тут дело вовсе не в том, дока или нет,— обидчиво ответил Чернов,— а солдат должен сполнять свою службу. Куда тебя поставят, там ты и должен стоять на часах... хоть бы и навоз караулить.

Наш караул разбили по постам. Часовые должны были стоять и в общей зале, где сидели в ожидании гостей «девицы»,— тут чаще всего бывали драки пьяных гостей с солдатами; двух солдат с винтовками отрядили охранять тишину и покой отдельного домика с «кабинетами», и двух, наконец, поставили на часах во дворе.

— После девяти,— добавил Чернов, заканчивая свои пояснения,— сюда впускать можно только тех, у кого будут увольнительные записки на руках. Кто заявится сюда без увольнительной,— задерживать и сдавать немедленно патрулю на руки.

О тяжелых, бесстыдно-безобразных, пьяных и гнусных сценах, свидетелями которых нам пришлось быть «по долгу присяги и царской службы», не хочется вспоминать и рассказывать. Гости — осовелые, с помутневшими взорами; убого-крикливая роскошь нарядов злосчастных «жриц любви»; сиплый голос хозяйки почтенного заведения, требовавшей веселья от своих рабынь; наконец, безнадежно пустые, бесконечно усталые глаза самих рабынь,— все это кружилось в каком-то диком хороводе...

Со двора послышались шум и крики:

— Дай ему по макушке!

— По морде его!..

Кого-то дубасили кулаками. Мы выглянули в окошко. Группа саперов и кавалеристов затеяла драку, и несколько человек уже валялось в пыли. Из караульной выбежал Чернов в сопровождении четырех постовых. Пришлось дать несколько выстрелов в воздух, чтобы призвать на помощь конный патруль. Часть дерущихся успела скрыться, но четырнадцать человек были все же задержаны и направлены па гауптвахту.

— Вот мы и сегодня защищали отечество!— обронил Суров, когда мы возвращались на рассвете, окончив нашу миссию.

Я шел, как оплеванный, не будучи в силах освободиться от того чувства физического отвращения, которое вызвало во мне суточное дежурство в публичном доме, находившемся под покровительством его императорского величества.

Поручик Зеленский через писаря Германа пригласил меня к себе на квартиру. Вечером, часов около пяти, я направился к Зеленскому. Он жил в офицерском бараке и занимал отдельную комнату. В передней я застал денщика, который усердно мыл стаканы. Попросил доложить. Денщик удивленно взглянул на меня:

— По какому делу?

— Его благородие знают, по какому делу,— ответил я.

Денщик недоуменно пожал плечами и пошел докладывать.

В комнате, куда меня провел денщик, хозяин сидел не один. У него в гостях находился корнет Двенадцатого

гусарского полка Агалеймов. Изящный гусарский мундир плотно обтягивал его стройную фигуру. Молодой, красивый, всегда нарядно одетый, он пользовался успехом у полковых дам. Солдаты, однако, его не любили за злое, а порой даже жестокое обращение. Дня три тому назад у меня самого была с ним неприятность. Я проходил мимо площадки второго эскадрона, на которой происходили конные занятия и засмотрелся на лошадей, совершенно упустив из виду, что здесь же должен был находиться офицер. Вдруг над самым моим ухом раздался грозный окрик:

— Эй ты, баран, почему честь не отдаешь?

Это был корнет Агалеймов.

Сейчас он сидел, развалившись в глубоком кресле, и сразу, едва я переступил порог, узнал меня.

— Ты, оказывается, из четырнадцатой роты,— улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы, Агалеймов.

— Так точно, ваше благородие, я рядовой Бакиров из четырнадцатой роты.

— Ты брось меня величать «благородием». Это там на улице хорошо, или в строю, а здесь мы по-товарищески за чаем сидим...

— Вы ведь корнет Агалеймов...— притворно-наивно пробормотал я.

Корнет удивленно раскрыл глаза. Зеленский улыбнулся:

— Вот видите, корнет, вы всего год с небольшим в полку, а вас уже знают даже солдаты чужого полка... Впрочем,— лукаво добавил Зеленский,— о причинах такой популярности корнета может быть расскажет Бакиров?

Ободренный присутствием Зеленского, я откровенно рассказал, как относятся солдаты к Агалеймову.

— Солдаты передают втихомолку, что корнет проломил голову одному гусару. Его отправили в лазарет, он промучился там недели три и скончался, а на родину его близким написали, что причиной смерти был удар копытом лошади.

Корнет покраснел и, не обращаясь прямо ко мне, начал плести теорию о том, что на службе «нельзя миндальничать», ибо-де условия военного дела таковы, и так далее.

В разговор вмешался Зеленский. Резко напав на Агалеймова, он заговорил о бессмысленности солдатской службы.

Агалеймов энергично возражал Зеленскому.

— Я сам демократ,— настаивал он,— но если не держать в ежовых рукавицах наш темный народ, то хорошего ждать нечего. Народ наш упрям, малокультурен...

— А можно ли просвещать этот темный народ домами терпимости, которые организованы в каждом полку?— энергично вмешался я.

Лицо Зеленского засияло.

— Совершенно верно! Только в организации б... и выражаются заботы о «нижнем чине».

Агалеймову, видимо, наскучили эти споры. Он перевел разговор на скачки, которые на другой день устраивали кавалерийские офицеры, и затем довольно быстро улетучился.

Уже после его ухода Зеленский рассказал мне о нем подробнее. Агалеймов — малоразвитый человек, сын татарского крещеного князя, попал в компанию кавалерийских офицеров, которым он стремится во всем подражать. Отсюда его лихость и мордобойные наклонности.

— Впрочем, я тебя звал не за этим,— добавил Зеленский.— Я хотел тебя спросить, знаешь ли ты, что в наш полк прибыл новый офицер — подпоручик Бабанов?

— Нет, не знаю...— несколько растерялся я.

— Так вот, имей в виду... Он служил раньше в Питере. Был замешан в каком-то политическом кружке, за это его перевели сюда. Подозрительный. Все якшается с писарями, очень либеральные разговоры ведет.

— Стало быть, провокатор?— спросил я напрямик.

— Ну, этого я в точности не знаю, но, во всяком случае, надо быть осторожным. Тем более, что обычно офицеров, замешанных в политику, не переводят просто в другой город, а расправляются с ними гораздо круче.

Я распрощался с Зеленским и побрел к себе в роту.

Через несколько дней ко мне пришел Калиновский. Я его позвал погулять за территорию лагерей и там поделился полученными мною сведениями о подпоручике

Бабанове. Мое предупреждение оказалось как нельзя более кстати,— Бабанов вел явно провокаторскую работу в роте, подстрекал ко всяким вольным разговорам, которые сам затевал, и несомненно успел бы подвести немало людей.

Калиновский обещал разъяснить товарищам роль Бабанова.

КОМАНДИРОВКА

Приближалось время маневров. Вечером перед проверкой ко мне явился Калиновский.

— Ну, брат, едешь. Окончательно решено.

— Куда?— растерянно спросил я.

— В Киев, в командировку.

— Какая командировка?— продолжал я недоумевать.

— В гимнастическую школу, на три месяца,— рассказывал словоохотливый Калиновский.— Из нашего полка направляют двоих — Мезенцева из седьмой роты и тебя. Жаловаться тебе нечего. И от маневров избавишься, и Киев посмотришь... Это Зеленский настоял, чтобы тебя командировали. Все доказывал, что ты лучше всех знаешь гимнастику. Адъютант наш пробовал возражать, но Зеленского поддержал командир третьей роты.

На следующий день утром фельдфебель приказал мне выдать новую гимнастерку и шинель. После обеда я и Мезенцев получили документы, навесили на себя патронташи, вещевые мешки и, перекинув через плечо винтовки, отправились на станцию.

Жизнь в гимнастической школе оказалась более легкой и привольной, чем в роте. Нас освободили от работы на кухне,— для этой цели были прикомандированы солдаты нестроевой команды штаба корпуса. Занятия также не были особенно трудны. Нас обучали упражнениям на приборах, так называемой машинной гимнастике, затем различным гимнастическим приемам, требовавшим изрядной ловкости и силы: на кольцах, лестнице и параллельных брусьях.

По утрам после чая происходили уроки фехтования — сначала на палках, а затем на винтовках. После трех часов мы были совершенно свободны и могли итти куда

угодно. Нам не нужно было просить для этой цели увольнительных записок. Достаточно было иметь на руках маленькую круглую жестянку — жетон, который каждому из нас вручили при поступлении в школу, и не зевать на улице при встречах с офицерами — отдавать честь по всем правилам.

На четвертый день после своего прибытия в школу я отнес письмо Холодовского Сайкелю в штаб корпуса. Сайкель оказался молоденьким солдатом с большими глазами и взъерошенными усами. Он прочел письмо, осмотрел меня с ног до головы и сказал:

— Пока всего хорошего. Завтра я сам разыщу тебя.

Действительно, назавтра, едва мы успели пообедать, к нам явился Сайкель и повел меня в городской сад. Гуляя со мной, он осторожно расспрашивал о жизни нашей роты и лагерей. Сайкель был хорошо информирован о всех наших делах, и вопросы носили, повидимому, только проверочный характер.

Уже стало смеркаться, когда Сайкель заявил мне:

— Ну, теперь можно итти.

Меня повели по каким-то закоулкам на окраину города. У нищенской, полуразвалившейся хибарки сидел неизвестный мне мужчина. Сайкель буркнул ему что-то односложное по-еврейски и получил такой же односложный ответ. Мы прошли еще домика три и затем вошли в калитку и оттуда — во флигель. На пороге нас уже ждал тот же мужчина. Как он сюда попал раньше нас — мне было непонятно, так как мы оставили его сидящим на улице на скамейке. Нас троих впустила полная девушка низкого роста и провела в комнату. Там сидело несколько человек, которые встретили меня довольно приветливо,— очевидно, Сайкель успел всех предупредить обо мне. Сайкель прочел вслух письмо Холодовского. Мужчина с окладистой бородой, внимательно смотревший на меня все время, хлопнул меня по плечу и сказал поощрительно:

— Ну, дело с Батуриным вы молодецки выполнили!

Мужчина оказался членом комитета Агаевым. Видимо, учитывая мое присутствие, он в своем докладе говорил подробно о работе среди солдат, о лозунгах, наиболее понятных этой массе, и методах агитации...

В этом домике мне приходилось еще не раз бывать. Он оказался для меня настоящей школой, более значительной и важной, чем гимнастическая, куда я был официально командирован.

В ГОДОВОМ КАРАУЛЕ

В декабре я вернулся в полк. За время моего отсутствия там произошло немало перемен. Чернова и Чекмасова я уже не застал,— они отслужили свой срок и уехали домой. Полк был пополнен новым набором. Я сам уже был маленьким начальством — кандидатом на чин ефрейтора. На меня возложили обязанность обучать молодых солдат гимнастике. Начальство — и фельдфебель, и ротный, и взводный — мною не совсем довольны: находят, что я слишком снисходителен к солдатам.

Продолжать мою полезную педагогическую деятельность мне, впрочем, долго не пришлось. Как-то во время гимнастических упражнений на брусьях я неудачно упал и отшиб себе пятки. Целую ночь нога невыносимо ныла, а к утру распухла. Меня отправили в околоток, оттуда — в полковой лазарет, где я пролежал целый месяц. Опухоль спала, все же нога как следует не поправилась,— быстро ходить было трудно. Однако главный врач выписал меня из лазарета, заявив:

— Ничего. С течением времени все пройдет.

Тем не менее я продолжал все хворать, и вести обучение гимнастике было невозможно. Выручил меня Зеленский. Из Меджибужа было как раз получено сообщение, что четверо солдат, оставленных там для окарауливания полкового лагеря, передрались в пьяном виде и поэтому арестованы. Надо было спешно послать туда смену. Зеленский и откомандировал меня вместе с тремя другими солдатами в Меджибуж.

Служба там была совсем не сложная. Лагеря были пусты, и мы устроились в бывшей кухне офицерского собрания, изредка обходили территорию лагеря, берегли казенное добро, на которое, впрочем, никто не покушался. Товарищи мои исправно резались по целым дням в карты, я уныло слонялся по местечку, в котором жизнь почти замерла, почитывал книжки, которые с трудом добывал

в довольно скудной библиотеке местечка, и скучал. Некоторое оживление в мою жизнь внесло только сообщение, полученное мною «с оказией» от Агаева. Меня уведомляли о явках бундовцев в местечке, предлагали связаться с ними.

Однако выполнить все это не удалось. Совершенно неожиданно в первых числах апреля меня вызвали в штаб полка. Писарь прочел мне выписку из приказа:

«Согласно приказу штаба дивизии за № 136 рядовой 14-й роты 47-го Украинского полка Шакир Бакиров переводится во второй эскадрон 12-го Ахтырского полка».

Кто это так «заботится» обо мне? Кто так старается? Вопросы задавать бесполезно. Надо подчиняться,— приходится неожиданно перекочевывать в кавалерийскую часть.

Нашим командиром в эскадроне был ротмистр Панаев. Он целыми днями торчит на службе, не спуская глаз с солдат. Угрюмый, молчаливый, он даже не ругается, но зато предоставляет в этом отношении полную свободу своим вахмистрам и подчиненным.

А мучили нас в эскадроне основательно. В пехоте нас одолевали «направо», «налево». Здесь заставляют до одури делать круги верхом на лошади.

— Повод подтяни!

— Пятку ниже!

— Стремя прямо!

А затем — однообразное до бесконечности:

— Повод вправо ма-а-арш!..

В кавалерии еще одна лишняя забота. В пехоте солдаты после занятий были совершенно свободны. Надо было вычистить винтовку, а затем занимайся чем хочешь до вечера. В эскадроне, окончив обычные занятия, надо было заботиться о лошади — получить для нее корм, напоить ее, вывести на прогулку, вычистить. Помимо этого надо было вычистить не только винтовку, но и специальное кавалерийское снаряжение: шашку, пику, седло.

На все это уходил целый день, и для себя не оставалось буквально ни одной минуты.

Одно только утешение и было — это привязанность лошади. Бывало, зайдешь в конюшню, лошадь сразу тебя узнает, заржет, ноздри вздрагивают, обнюхивает руки. Ее большие умные глаза, казалось, говорят:

«И меня, брат, забрали, заперли в эту нелепую казарму, заставляют бессмысленно кружиться направо, налево. Кому это нужно?..»

... В последних числах мая по эскадрону распространились слухи, что нас отправляют куда-то на смотр. Действительно, спустя несколько дней выяснилось, что нас отправят на «царский смотр» в Царское Село. В эскадроне закипела подготовительная работа, стали отбирать, кого взять. Из нашего второго эскадрона меня, двух евреев и одного поляка — как недостойных предстать перед царскими очами — оставили здесь и причислили к сборной нестроевой команде.

После отбытия эскадрона в Царское Село нестроевая команда фактически осталась единственной частью в наших казармах, а ее командир — хозяином положения.

Как-то меня позвал к себе его денщик Галимов. Оказалось, что «их высокоблагородие» пригласили к себе гостей. Галимов просил помочь ему закупить вина, закусок и остаться на вечер. В сумерки прибыли из полка оставшиеся там четыре гусарских офицера и какие-то четыре неизвестные мне женщины. Были приглашены и музыканты из числа не попавших на смотр.

Я стал невольным свидетелем офицерского пира. Офицеры сразу напились. Мы не успевали бегать на кухню. Подаем какое-нибудь блюдо, нас гонят прочь, ругаются, что это «гадость», которую «нельзя в рот взять». Отправляемся на кухню, перекладываем кушанье на другое блюдо и торжественно вносим вновь. Гости расхваливают наше умение и лопают все.

Веселье постепенно нарастало и принимало явно угрожающий характер.

Неожиданно хозяин вскочил с места и заорал истошным голосом:

— Убр-а-ать! Танцы!..

Мы, как ветер, примчались в гостиную, наскоро убрали стол, стулья вынесли все в соседнюю комнату. Начались танцы. Музыканты уже хватили порядочно, тянут кто во что горазд. Офицеры танцуют, но еле держатся на ногах, бесцеремонно хватают своих дам. Дамы визжат, пьяно хохочут. Веселье в полном разгаре...

Мы можем отдохнуть от наших хлопот и беготни.

На кухне Галимов соорудил угощение из предусмотрительно забронированных запасов — целое пиршество. На столе красуется бутылка вина и прекрасные закуски. Нам никто не помешает, мы можем спокойно подкрепиться, — начальство увлечено своими дамами и танцами.

Галимов толкает меня, приглашает заглянуть в зал, где господа веселятся. Я стараюсь ступать тихонько и бросаю взгляд через плечо моего товарища. Взглянуть есть на что. Офицерские дамы, полуобнаженные, кружатся в объятиях нашего начальства. Кое-кто — парочками — разлегся на гостеприимно расставленные диваны и чувствует себя так, как будто никого в комнате нет. Доблестное офицерство его величества не стеснялось...

Мы ушли обратно на кухню и легли отдохнуть.

На рассвете я разбудил Галимова, чтобы уйти домой. Перед уходом вновь заглянул в зал. И офицеры, и женщины, и музыканты — все спали мертвецким сном в самых живописных позах. Почти все были раздеты, дамы красовались в самом натуральном виде. Все это сплелось в один сложный клубок, из которого высовывались неизвестно кому принадлежавшие руки и ноги. На полу и коврах виднелись вещественные последствия неумеренно выпитого и съеденного гостями, что, однако, никого не смущало, ибо рядом мирно храпела совершенно голая женщина в объятиях эскадронного командира.

Первые скупые лучи восходящего солнца освещали эту омерзительную картину...

Вскоре меня откомандировали обратно в лагеря. За меня хлопотали перед командиром ремонтной команды, и он после некоторых колебаний согласился. В лагере — ничего нового.

15 июля в лагеря прибыл Сорок шестой полк. В полку мой земляк и приятель Бахман.

Однако на другой же день он ко мне пришел прощаться.

— Уходим. А куда — неизвестно, — тревожно объяснил он.

Что бы это, в самом деле, значило? Полк только что прибыл, не успел еще расположиться, как его уже перемещают. Странно, и очень!

16-го утром я вышел осмотреть лагерь. Прохожу мимо дома, куда всего неделю тому назад приехал наш бригадный генерал, и вижу, к своему удивлению, что двери и окна в доме настежь открыты. Подошел ближе: в доме — ни живой души, на полу набросано, как при поспешном отъезде. Рассказал об этом своим товарищам. Они мне в свою очередь сообщают, что и в квартире подполковника Журомского такая же картина: в доме пусто, на полу обрывки бумаги, солома, ненужные тряпки.

Что бы это все могло значить?

Направляемся на берег, где размещена ремонтная команда.

Едва подошли, как слышим звуки команды:

— Справа по четыре, шагом марш!

Ремонтная команда направлялась к большой дороге.

Все встревожены, мечутся, волнуются, но никто еще толком не знает, в чем дело.

18-го числа мы пошли в канцелярию Ахтырского полка, откуда получали довольствие. Нас огорошили неожиданным приказом:

— Возвращайтесь в свой полк. Через два часа мы выступаем отсюда. Наш полк из Царского Села не вернется сюда, а направляется прямо в Староконстантиновск.

— Почему?

— Война.

— ??

— С Германией.

Местечко бурлит и разливается, как бушующее море. Солдаты носятся по улицам, распродают свое барахлишко, — все равно на войне пропадать. Торговцы учуяли наживу и, как по команде, снизили цены: за гусарские сапоги, стоившие еще вчера рублей десять, дают два цел-

овых, а за солдатскую гимнастерку и вовсе предлагают шесть-семь копеек...

Отправились на железнодорожную станцию, чтобы поехать в полк. Повсюду чувствуется дыхание войны: везде масса военных, на станции и у телеграфа караулы. По направлению к границе отбывают один за другим эшелоны. Шум, крик, слезы, плач. Ревут женщины, провожая своих кормильцев, плачут беспомощными, горькими детскими слезами ребятишки... Офицеры куражатся, бахвалятся, пытаются придать себе геройский вид. На вокзале суматоха. Дамы, цветы, вино. Провожающие кричат «ура», жиденький оркестр выплевывает из медных труб «Боже, царя храни». Сохранит ли?..

Нам нужен поезд, идущий на Жмеринку. В этом направлении поезда почти пусты. Поэтому легко уселись и поехали.

В Жмеринке — та же картина. Эшелоны, эшелоны, эшелоны, крики, плач, слезы... Поезда ползут один за другим — все туда, на юго-запад, везут обильную дань ненасытному чудовищу войны.

Мы прибыли в Каменец-Подольск, когда наш полк уже готовился к выступлению. Наша рота неузнаваема. Вместо ста, ста пятидесяти человек в ней двести шестьдесят солдат; на всех новенькое, с иголочки, обмундирование.

Вечером в день нашего возвращения нас всех вывели на окраину города, на площадь.

— Стройся!..

Курносый поп долго гнусавил молитву, кропил «святой» водой, шамкал какую-то нудную проповедь, в которой призывал «православных воинов» постоять за веру, царя и отечество.

В семь часов вечера мы выступили по направлению к Днестру. Настроение солдат нашей роты было смутным и тревожным.

— Австрия начала войну против православных.

— Нет, наш царь первым объявил войну.

— Мне вот на-днях домой уж возвращаться, а они — войну!!.

— А хозяйство теперь как же? Кому сеять, пахать?

Акимкин шагает рядом со мной. Он подавлен, разбит.

— С кем воевать мы идем? И за что? — полувопросительно обращается он ко мне.

Солдаты внимательно вслушиваются в вопросы Акимкина. Ответить никто не решается: фельдфебель приблизился к нам и шагает рядом.

Поздно ночью мы переправились через Днестр на паромах. Устали смертельно. Тело ноет. Хочется спать, спать во что бы то ни стало. Однако нас никто об этом не спрашивает. Нашими желаниями мало интересуются. Уже светает, а мы шагаем все дальше и дальше, без отдыха и остановки.

Великая бойня началась.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРИ ДНЯ В ДЕРЕВНЕ

На заре к батальонам присоединилась музыкальная команда, и под звуки полкового оркестра мы двинулись вперед по горной дороге вдоль левого берега Днестра.

Командиры и фельдфебели подстегивали руганью и пинками замученных ночным походом солдат.

Пока третий батальон шел по узкому горному проходу, нас заставили маршировать на месте:

— Айть-два! Айть-два!

Наконец, двинулись и мы.

Капитан Глыба, ехавший на серой большеголовой лошади, скомандовал по-кавалерийски:

— Ма-а-р-р-р-ш!..

Солдаты с трудом передвигали ноги.

Конь, услышав музыку, встал на дыбы, затем бросился в сторону. Капитан заплясал на лошади, и вид его вызвал веселые усмешки солдат.

— Смотри, что выделывает наше благородие!

— Схватился бы за гриву, иначе слетит.

— Как мешок, привязанный к седлу...

От музыки усталость казалась меньше, и итти было легче.

Вскоре показалась деревня, расположенная на склоне горы.

— Слушай, мы и в бой, наверное, с музыкой пойдем?— спросил меня Фатхетдинов.

— Ну, если на войне будут возиться с музыкой, то всех нас перебьют, даже папиросу выкурить не успеем,— вмешался Акимкин.

Разговор прервался.

Мы вошли в деревню и разбрелись по крестьянским избам.

С крестьянами завязались разговоры о войне.

— Долго ли продолжится?

— Победит ли царь?

Наш взводный хвастливо ответил:

— Нет на свете такого войска, которое бы нас победило. Самое большее — будем воевать неделю, а потом мировую попросят.

— И чего ради они воюют? Хлеб еще не убран, а рабочий народ угнали... — начал наш хозяин.

Его перебил ефрейтор Воеводин.

— Эх, старик, старик, дожил до седой бороды, а не понимаешь! Немцы обижают наших православных, вот мы их и проучим.

Старик что-то пробормотал по-молдавански и замолк.

В разговор вмешался Суров, все время хранивший упорное молчание:

— Много ты знаешь, господин ефрейтор, — обратился он к Воеводину. — Пора тебя унтером сделать.

— А что, разве не правда? — спросил Воеводин.

— Подожди, начнется война, тогда увидишь, — сказал Суров.

К говорившим подошли три солдата, только что вернувшиеся из соседней деревни. Они достали водку, и бутылки торчали из растопыренных карманов.

У солдат разгорелись глаза, и вскоре они гурьбой потянулись в соседнюю деревню.

К вечеру пьянство было уже в разгаре, и со всех дворов доносились пьяные голоса и пение:

Последний по-нещий дене-е-чек...

Суров вообще пил, но на этот раз даже не прикоснулся к вину.

— Почему же ты не пьешь?

— Не хочу. Я схожу в полковую лавку, куплю чего-нибудь поесть, потом потолкуем, — сказал он мне.

Мы закусили и затем, воспользовавшись всеобщей пьянкой, пошли разыскивать Холодовского.

Холодовский повел нас на кукурузные поля. У него говорить было опасно, — рядом компания офицеров играла в карты.

Мы расспрашивали его о дальнейших планах, но он нам не мог сказать ничего определенного. Директивы от организации еще не были получены. Пока он рекомендовал заняться антивоенной пропагандой среди солдат.

Решили на следующий день разыскать оружейного мастера Аршкина и потолковать с ним.

Когда мы вернулись, деревня уже затихла.

Проснулся я на заре. День был ясный. К востоку от деревни тянулись кукурузные поля, а дальше — реденький лесок.

По улицам женщины гнали скот.

В соседнем дворе расположился обоз. Оттуда доносилась солдатская ругань и ржанье лошадей.

Вскоре начали появляться солдаты. Дежурный унтер-офицер Соловьев сам ходил по избам и будил их.

Войдя в нашу избу, он крикнул, обращаясь ко мне:

— Эй, буди взводного!

— Я не дневальный, — ответил я.

— Видать, голова у тебя болит от вчерашней пьянки, собачья морда!

— Нет. Я не научился пить.

Ответ мой, видно, не понравился ему.

— Хамское отродье! — выругался он и пошел искать дневального.

Солдаты встали. Вскоре опять начались пьянство и картежная игра, которые продолжались и весь следующий день.

К вечеру фельдфебель выстроил роту, приказал развязать вещевые мешки и отойти на два шага назад.

Появился капитан Глыба.

— Смир-р-р-но!

— За мое дежурство никаких происшествий не было,— отрапортовал унтер.

— А только рота три дня пьянствовала, — тихо сказал Суров, стоявший недалеко от меня.

Взводный бросил на него угрожающий взгляд.

В нашем взводе у Врубеля не оказалось в мешке сухарей, а у Пушкарева не хватало одной банки консервов.

Фельдфебель ударил Врубеля и Пушкарева кулаком. Лица у них залились кровью.

Затем он приказал им выйти на два шага вперед и доложил об их «преступлении» капитану, беседовавшему с поручиком Зеленским и высоким вольноопределяющимся. Последний прибыл к нам незадолго до начала похода.

Капитан, раскачивая свое грузное тело, медленно направился к провинившимся.

— Где сухари? Сожрал, свинья?

— Так точно, съел, ваше высокоблагородие, — ответил Врубель.

Глыба ударил его по щеке и в грудь.

Крепкий Врубель даже не пошевельнулся, хотя кровь заливала лицо.

Затем Глыба повернулся к Пушкареву и, не говоря ни слова, ударил его кулаком. Пушкарев пошатнулся, но в этот миг капитан ударил его вновь.

Пушкарев закричал и упал на землю. Глыба набросился на него и стал избивать его ногами. Удары сыпались в лицо и в грудь валявшегося на земле солдата.

Поручик Зеленский подбежал и схватил за руку капитана.

— Господин капитан! — крикнул он вне себя.

— Поручик! Знайте свое место!

Холодная испарина покрыла мое тело.

— Еще до сражения нас так...— начал Акимкин, но взводный заставил его замолчать.

— Фельдфебель! Выведи роту! — скомандовал капитан оробевшему фельдфебелю, который вертелся тут же, прикладывая ежеминутно руку к козырьку и вытягиваясь во фронт.

Начали поспешно строиться.

Капитан и вольноопределяющийся ушли. Зеленский молча быстро ходил взад и вперед, но с солдатами не заговаривал.

— Если и впредь так будет, нужно крепче держать винтовку, — гневно сказал вполголоса Суров. — А что думает Зеленский?

Врубель уже стоял в строю, вытирая окровавленное лицо.

Пушкарев плакал.

Фельдфебель выстроил роту и скомандовал:

— Справа, по отделениям, шагом ма-рш!

В конце деревни к нам присоединились другие роты, и мы двинулись в путь.

До наступления темноты весь полк шел вместе. Итти в полной амуниции было трудно. Мучила жажда, а в баклажках не осталось ни капли воды.

Проходя мимо колодцев и речушек, солдаты, несмотря на запрещение и ругань командиров, с жадностью набрасывались на воду. Но командиры подъезжали к колодцам и били солдат нагайками куда попало.

Издевательства офицеров, избиение Пушкарева и Врубеля озлобили солдат. Они начали внимательно прислушиваться к нашим словам.

Во время остановки для отдыха ко мне неожиданно подошел полуротный Зеленский и сказал:

— Офицеры издеваются. Пока надо терпеть. Я раньше был сторонником войны, но теперь — нет... Меня направляют в пулеметную команду. Не будем терять связи.

Послышалась команда.

— Строй-ся!..

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ

В нашей роте их было четверо.

В первом взводе — Абрам Исакович Морозов, высокий, с черными усами. В строю он почти не показывался и постоянно бывал с Глыбой, жил с ним на одной квартире. С солдатами не разговаривал.

Второй — Саранский, коренастый, с рябым лицом, человек простой и словоохотливый, жил обычной солдатской жизнью и был тесно связан с нами.

В нашем взводе служил Баров, молчаливый человек низкого роста, с широким лбом и большими глазами. Он быстро уставал, во время стоянки искал уединения и о чем-то напряженно думал, устремив глаза в даль. Иногда делал заметки в записной книжке.

Четвертый — Альтшуллер — не был похож на вольноопределяющегося. Над ним, так же как над солдатами, издевались командиры и унтеры, но он не унывал, шутил и часто пел украинские песни.

На третий день после выступления из деревни Звеноки батальоны нашего полка разошлись в разные стороны.

От ординарцев штаба полка мы узнали, что фронт находится около Львова.

Седьмого августа наш батальон остановился на ночлег в деревне Кабенка, утопавшей в садах.

Наш взвод расположился в амбаре у бедного крестьянина. Солдаты кипятили чай в котелках. Альтшуллер и Саранский к ним присоединились.

Завязалась беседа.

— До границы еще далеко, — начал Воеводин.

— Ничего подобного, — возразил Альтшуллер: — не больше двадцати верст. Эх ты, начальство! Не сегодня-завтра придется солдат в бой вести, а ты даже карты не имеешь.

— Русскому солдату карта не нужна, он и с завязанными глазами дорогу найдет, — не поддавался Воеводин.

— Да, война...— неожиданно вставил Саранский. — А у нас скотину, которую гонят на убой, и то так не бьют, как солдат... Вчера солдата из четырнадцатой роты розгами угостили. А Пушкарев...

— На то у нас и капитаны, — сказал Суров.

— Ну, ну, не разводить здесь! — начальническим тоном вставил Воеводин, а потом обратился к Саранскому:

— После двух сражений сам офицером станешь.

— Ну, нет! Носить погоны? Довольно того, что выпустили идиотом из реалки.

Суров поднялся.

— Пойдем, поищем карту.

Пошли к учителю, — его не оказалось дома. Тогда направились к попу.

Поп, осведомившись о цели нашего прихода, пошел искать карту в соседнюю комнату. В это время вошла молодая женщина в белой кофточке, но, увидев нас, смутилась и хотела удалиться.

— Здравствуй, Лиза! — обратился к ней Суров.

Женщина еще больше смутилась, но поздоровалась с нами.

Тут только я узнал в ней одну из обитательниц дома терпимости в Меджибуже. Она оказалась дочерью попа.

Поп вернулся с картой в руках и передал ее нам. Мы еще несколько минут посидели, потом попрощались и ушли.

Альтшуллер тихо напевал «За Дунаем». Громко петь не разрешалось.

Потом Саранский декламировал:

— И скучно, и грустно, и некому руку пожать...

Неожиданно к нему обратился Суров:

— А ты не знаешь, что за человек вольноопределяющийся Морозов и откуда он прибыл к нам?

— Зачем ты меня спрашиваешь? Вот через недельку произведут его в прапорщики, тогда покажет, кто он такой.

Тогда неожиданно Баров поднял голову и медленно процедил:

— Он... он окончил университет, затем принял православие и служил в киевской охранке.

Все замолчали.

ФРОНТ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Разбудили нас на рассвете и выстроили с такой поспешностью, что солдаты даже не успели как следует одеться.

— Взвод, по отделениям! Левое плечо вперед, шагом ма-рш! — скомандовал Воеводин.

Остальные взводы тоже были в сборе. На церковной площади суетились фельдфебели, несколько раз перестраивали взводы.

— Вольно! Смирно! — раздавались их окрики.

Взошло солнце. Крестьяне выгоняли скот на пастбище, направлялись на работу.

Начали собираться ротные командиры. Переваливаясь, как жирная утка, к группе офицеров подошел командир батальона. Они долго беседовали, разглядывая карты. Вид у них был взволнованный.

Из штаба полка прискакал ординарец и передал пакет батальонному командиру.

— Видно, командиры наши сбились с пути, — заговорили солдаты.

— Не напрасно ординарец пакет привез.

— Эх, чайку бы разрешили выпить, чем стоять здесь без толку.

— Когда война кончится, напьешься чаю.

— Чорта с два кончится!

Внезапно раздались выстрелы. Стреляли дозорные.

Командиры соскочили с коней. Капитан Глыба грозно скомандовал:

— Рота, смирно!

Голос его был дребезжащим и сиплым.

— Интервал десять шагов, разомкнись! — снова скомандовал Глыба необычно писклявым голосом.

Солдаты разбрелись по кукурузным полям и огородам, но никто не знал, как их надо построить.

Капитан кипятился, ругал офицеров и унтеров. Выстрелы повторились.

— Ложись!

Солдаты бросились на землю.

— Ладно, легли. А дальше что? — сказал лежавший рядом со мной Суров.

— Это, видать, и есть начало, — прошептал Фатхетдинов. — Надо держаться вместе.

— Взвод, по кавалерии пли! — послышалось с правого фланга, где стояла тринадцатая рота.

Раздались выстрелы.

— Рота, вста-а-а-ть!

На опушке леса показались два всадника и вскоре скрылись в лесной чаще.

Мы продолжали двигаться вперед, то ложась, то вновь вставая. В нескольких местах нас заставили рыть окопы в полях, где созревал хлеб.

Около двух часов дня снова прискакал ординарец и привез сообщение: неприятельская разведка насчитывала около ста кавалеристов; огонь нашей пехоты заставил их скрыться.

Но Гриберг, солдат нашей роты, бывший в дозоре, уверял, что неприятельская разведка состояла всего из двух гусаров. Они же всполошили наш и стоявший слева третий батальон.

Наконец мы остановились отдохнуть. Снова заставили рыть окопы. Солдаты, ничего не евшие со вчерашнего вечера, измученные, мечтали об отдыхе. Скорее бы лечь, поесть чего-нибудь, сделать два-три глотка из стаканчика...

Вдруг стало темнеть, черные пятна скрыли половину солнечного диска. Началось солнечное затмение.

Баров, держа в одной руке фуражку, а в другой — фляжку, объяснял солдатам причины затмения.

Заметив это, Воеводин накинулся на него:

— Ну-ка, брось чепуху молоть! Аль за дураков считаешь солдат, жидовская морда?

— Сам ты гнилая картошка и других такими же считаешь! — крикнул ему вслед Акимкин.

— Что?! — гаркнул Воеводин.

— Ладно, брось, пустяки. Все равно здесь наряда не сможешь дать, — сказал Суров.

Воеводин сделал вид, что не слышал слов Сурова, толкнул ногой Врубеля, лежавшего в неглубоком окопе, и крикнул:

— Ты чего уши развесил? Копай!

Солнце снова засияло. Затмение прошло, стало еще жарче.

Неподалеку журчал ручей, но нас туда не пускали. Дозорные приносили нам воду в фляжке, но ее не хватало, чтобы утолить мучившую всех жажду. Свыше двух суток мы не видели чаю и горячей пищи. Отдыха тоже не было. Не успели мы вырыть окопы, как нас заставили готовить блиндажи для офицеров, хотя еще не решили, будет ли здесь позиция.

Работой руководил сам Глыба; в руках у него был электрический фонарь; он ходил взад и вперед, ежеминутно заглядывая в книжку с инструкцией по устройству полевых укреплений, и командовал:

— Глубина — четыре аршина. Крыша из четырех рядов семивершковых бревен. Пол устлать досками...

Солдаты вспотели, устали. Кто-кто свернул цыгарку и закурил. Но Глыба сейчас же налетел на него, огрел нагайкой и закричал:

— Ты что, не знаешь, что на позиции курить нельзя?!

— Вот дурак! Курить нельзя, а сам фонарь ежеминутно зажигает, — прошептал кто-то.

— Неприятеля не видит, а уж хоромы себе строит...

Ночью прибыла кухня. Сварили похлебку, мяса было достаточно. Солдаты жадно набросились на еду.

— Эх, и сладок же обед после боя! — усмехнулся Суров, наевшись.

— Австрияков-то, поди, много.

— Капитан наш двух увидел — и сразу сдрейфил.

— А коль третьего увидит — улепетнет, аж пятки засверкают.

Солдаты смеялись, особенно постарше, запасные.

Молодые, из учебных команд, были скромнее. Они старались вести себя «как полагается» и перещеголять даже унтеров. На стоянках рассказывали истории о небывалых подвигах русских солдат.

Во время перехода, 15 августа, один из этих молодцов, Мартынов, заметив, что Суров закурил, сказал ему:

— Ты отчего в строю куришь? Не полагается.

— Не бойся, дым моей махорки не закоптит твою лычку, которую ты скоро получишь, — ответил Суров.

— Сопляк, а уж корчит из себя начальника! — поддержали Сурова старые солдаты.

— Успеешь еще вместо лычки получить медного жучка в лоб.

— У него и папаша начальник — старшина, — сказал односельчанин Мартынова.

После обеда нас опять загнали в окопы. Перед окопами поставили сторожевую охрану, секретный караул, дозор, — все как на войне. Но кругом было тихо, из деревни еле доносились лай собак и пение петухов.

Ежечасно сменялись дозоры, будили уставших солдат пинками и руганью, проверяли патроны — покоя не было.

Утром приезжали ординарцы. Снова — переходы. Поля, где золотились созревшие хлеба, истоптали, изрыли...

Глыба собрал взводных и о чем-то с ними беседовал.

Через несколько минут взводные вернулись к нам и сообщили:

— Австрийцы укрепились на берегу реки у деревни Галанской, в пятнадцати верстах отсюда. Разведка их в самой деревне.

Солдаты выслушали сообщение хмуро, сосредоточенно. Некоторые закурили. Мы с Суровым решили, что встреча с неприятелем произойдет вечером.

— Второе отделение третьего взвода, на пять шагов вперед!

Наш взвод выделили для связи между ротами и командиром батальона.

Мы шли вдоль леса.

— Итти по лесу! — внезапно раздалась команда.

Мы свернули и зашагали по траве среди высоких сосен.

Когда вновь показалось поле, приказали лечь. Деревня была недалеко. Ее решили обойти, и мы то ползком, то вперебежку двигались вперед. Слева от нас шел Азовский полк, справа — Днепровский. Впереди расположились две батареи легкой артиллерии.

Около пяти часов дня послышались залпы со стороны деревни, находившейся на другом склоне горы. Заговорили пулеметы:

- Та-та-та-та...

Наша рота, бывшая в резерве, залегла в кукурузе. Впереди отчетливо виднелись австрийские колонны за деревней Галанской. В деревне шел бой.

— Бух.

— Бух... Бух...

Одна из наших батарей открыла огонь. Снаряды рвались над деревней в облаках разноцветного дыма.

— Заройся глубже, — предупредил меня Суров.

Пуля прожужжала совсем близко. Я вздрогнул.

— Пусть рота зароется поглубже. — передали команду сзади.

Отдельные беспорядочные выстрелы перешли в канонаду. Ухали орудия, стрекотали пулеметы, послышались крики «ура». Казалось, гудела земля.

Над деревней показались языки пламени и густые клубы черного дыма. Начался пожар.

Два эскадрона уланского полка с шашками наголо и с пиками наперевес понеслись вперед, но вскоре вынуждены были вернуться в лес.

Австрийцы начали наступать на деревню. Канонада усилилась. Вдали показались первые раненые, которые могли сами передвигаться.

Солдат Азовского полка, раненый в плечо, упал около нас. Кровь, стекавшая с левого плеча, запачкала гимнастерку. Он дрожал, с трудом дышал:

— Сволочи!.. Санитаров нет, раненых не перевязывают.

Мы с Суровым сделали ему перевязку, напоили.

Наши батареи замолчали.

Вдруг Днепровский, Азовский и Могилевский полки, сражавшиеся в деревне, начали отступать.

— Давай пустим утку, — предложил Суров.

— Надо уносить ноги, — согласился я.

Суров пополз к роте.

— Командир приказал отступать...

Не успел Суров закончить фразу, как солдаты вскочили и пустились бежать.

Весть об отступлении быстро облетела соседние батальоны, и началось паническое бегство.

Не обращали внимания на слетавшие фуражки, котелки, лопатки, мешки.

Офицеры бежали, обгоняя солдат.

Наступили сумерки, а отступление все еще продолжалось. Перемешались полки и роты. Под ногами валялись винтовки, вещевые мешки, шинели, — никому до них не было дела.

Суров, Фатхетдинов, вольноопределяющийся Баров и я шли вместе. Офицеры и солдаты нашей роты оставили нас далеко позади.

По пути попалась деревушка, мы решили отдохнуть и зашли в избу. Через окно мы увидели, как вскоре через деревню пронеслась, не останавливаясь, наша батарея.

Мы закусили, покурили и двинулись дальше. В пути к нам присоединились отставшие днепровцы, и нас уже было человек двадцать.

Все устали до изнеможения. Утренний холод заставлял ежиться, глаза смыкались. На перекрестке встретили нескольких человек.

Они присоединились тоже к нам, и мы узнали среди них капитана Глыбу. Он потерял фуражку и саблю, вид у него был жалкий. Называл нас «братцы», «родные»; от былой строгости не осталось и следа.

На заре, проходя через новую деревню, мы встретили группу солдат и среди них подполковника Муромского из нашего батальона. Капитан Глыба подошел к нему, вытянул руки по швам и доложил, что он отступил в качестве «арьергарда», а раньше заставил отступить австрийскую разведку. Он бросал взгляды на нас, как бы прося подтвердить правильность его слов.

Когда мы пришли в деревню Звеноки, где так недавно стоял наш полк, нас уже было шестьдесят два человека.

На второй и третий день продолжали возвращаться отставшие солдаты. Полк наш опять укомплектовали, но в нем не досчитывалось четырехсот человек. Среди нас оказался отставший от своих австрийский фельдшер. Его окружили солдаты и крестьянки. Он робел, улыбался и заговорил с нами по-украински.

— Какой я враг? Работал у помещика. Из запаса...

— Почему воюете с нами?

— Что делать! Взяли.

Вскоре его отправили в тыл.

На четвертый день явился Холодовский и принес газеты. Мы узнали, что около Львова было сражение и русские войска «с незначительными потерями» заняли Львов, а в Буковине наша дивизия «упорно» сражалась с противником. В бою с четырьмя дивизиями противника она захватила значительное количество пленных и для занятия более удобных позиций отступила в полном боевом порядке на три-четыре версты.

— Ишь ты, три-четыре версты! Врут, черти...

Холодовский, Акимкин и я использовали газетные сообщения для агитации.

Через несколько дней командиры снова начали водворять порядок.

Смотры, наряды, рытье окопов, устройство блиндажей — посыпались на нас, как из рога изобилия.

Сменили командира нашего полка, Соколовского. Вместо него назначили полковника Калиновского.

Солдат Калиновский из нашей роты шутил:

— Ведь он — мой брат. Мы с ним уговорились, что до самого мира он роту на позиции не поведет... Наши мамаши холст сушили под одним солнцем. Только у него борода черная, а кости белые, а наши кости черные, потому на картошке выросли, и уважения к нам поэтому мало.

Солдаты смеялись.

21 августа мы снова двинулись вперед. Два дня шли по местам, где недавно происходило отступление, и только на третий день показалась деревня Галанская.

— Вот откуда наша дивизия «отступила» на три-четыре версты.

— Еле-еле в два с половиной дня прошли, стало быть, четыре версты.

— Смазали пятки и в одну ночь отмахали.

— Погодите, братцы, еще не так бежать будем! Нашито командиры только и умеют ругаться.

— Если бы не ругались, кто б их слушался?

— Порядочный человек не захочет офицером быть...

Когда приблизились к месту недавнего боя, солдаты стали тревожно оглядываться.

«Откуда начнут стрелять?» — думали они.

Перешли границу у маленького ручья. На берегах тянулись казармы и конюшни пограничников. Стекла в казармах были выбиты, двери раскрыты, всюду рассыпаны бумаги и мусор.

По дороге валялись консервные банки, окровавленные фуражки и гимнастерки. Вправо от дороги были зарыты убитые. Свежая глина еще не успела засохнуть. На могилах торчали кресты, сплетенные из прутьев.

Некоторые солдаты сняли фуражки. Шли молча.

Когда могилы остались позади, Акимкин обратился ко мне:

— Вот видишь, какой почет нашим братьям...

— Почему они наши братья? Это, наверное, австрийцы, — перебил его Лопатин.

— Все равно, они такие же, как мы, — ответил я.

— Верно!

— Что им делать, раз царь ихний приказал воевать?

— А знаешь, зачем они приказывают, цари?

— Наверное, ради помещиков.

— Земля им нужна.

— Ну-ну, довольно болтать! — начальническим тоном перебил Лопатин. — Неужели вы согласились бы, чтоб немцы и мадьяры захватили нашу землю?

— Российская земля вон где осталась, — сказал Суров, махнув рукой в сторону границы, — а сейчас мы на австрийской земле.

Командиры сообщили, что сейчас мы займем город Черновицы, оставленный австрийцами. В городе нельзя выходить из строя и разговаривать с встречными. Виновные будут строго наказаны.

Вскоре в лощине показался город. На окраине, около

пустовавших заводов, оборванные мальчишки собирали щепки. Они подбегали к нам и просили хлеба.

В городе царили тишина и безлюдье. Большие дома и магазины пустовали. Лишь у низеньких хибарок изредка показывались худые сморщенные старухи, с недоумением смотревшие на нас.

Мы прошли город, не останавливаясь. Только на четвертый день мы сделали привал в местечке на пути к Станиславу.

Над городком клубился дым, большинство домов сгорело. На улицах зияли воронки от разорвавшихся снарядов. Жителей почти не было.

Мы с Суровым с трудом разыскали одного старика-еврея, ни слова не знавшего по-русски. Он качал головой и говорил только:

— Нейн, нейн...

Когда Суров обратился к нему по-еврейски, он доверчиво улыбнулся и заговорил с нами.

Мы узнали, что неделю тому назад здесь было сражение, длившееся три дня. Убитых и раненых было очень много, их возили круглые сутки; кроме того, было убито несколько сот мирных жителей, — бедняков, не успевших покинуть город...

Вечером, когда мы с Суровым возвращались на квартиру, до нас долетел смех и разговор из низенькой хибарки, с окнами почти у самой земли.

Мы вошли в дом. Там было темно, и Суров зажег спичку.

В комнате стояли скамейка и деревянная кровать.

На кровати лежала восьмидесятилетняя старуха. Увидев нас, она зашевелила костлявыми руками и пробормотала что-то невнятно.

— Оставьте ее, она не годится, войдите сюда, — услышали мы.

Суров опять зажег спичку, и мы повернулись в сторону говорившего.

У низенькой двери стоял солдат, в маленькой клетушке их было еще семеро, а восьмой возился на кровати.

Когда мы вошли, он вскочил, и мы узнали унтера из нашего полка.

На кровати лежала худенькая девушка лет семна-

дцати, в разорванном платье, почти совсем обнаженная. Лицо ее пожелтело, изо рта выступала пена, она дышала с трудом.

— Подлецы! Как вам не стыдно! — крикнул я.

Унтер и солдаты захохотали.

— А по-твоему что — жалеть их? Они только и ждут, когда нас укокошат. Ведь она жидовка, — сказал унтер и опять направился к кровати.

Суров позвал меня:

— Пойдем!

Мы побежали к себе, рассказали о случившемся и, захватив с собой Барова, Акимкина и Врубеля, вернулись.

Солдаты все еще продолжали насиловать девушку. Началась рукопашная, но дрались недолго. Сначала побежал унтер, его примеру последовали остальные.

Баров привел ротного фельдшера. Тот долго возился, но не мог привести девушку в сознание. Старуха рассказала, что девушка и раньше была очень болезненной и недавно перенесла тиф.

Мы вернулись домой поздно. Я был так взволнован, что, несмотря на сильную усталость, не мог уснуть.

Перед глазами проходили картины недавнего прошлого: бой, ограбленные и сожженные города и деревни, избиения, насилия... Что делать? Холодовского не видно было. Герман и Сайкель из штаба дивизии тоже не показывались.

— Не спится? — спросил Баров, лежавший рядом со мной.

Мы начали тихо беседовать. Он рассказал мне, как во время Французской революции офицер и солдаты начали насиловать одну деревенскую девушку, но девушка задушила офицера... Я не дослушал его рассказа и спросил:

— А что нам дальше делать?

Баров долго молчал, а потом тихо сказал:

— Ночь ясная, утром будет роса.

Ночь была тихая, небо безоблачное, звездное.

У стоявшей неподалеку кухни разговаривали солдаты.

— Вымой глаза холодной водой, тогда сон пройдет, потом затопи кухню и ложись, — сказал один.

Другой выругался и начал колоть дрова.

Нас разбудили еще до восхода солнца. Солдаты схватили котелки и побежали к кухне за кипятком.

Кашевар кипятил воду в котле, в котором вчера варил суп, и в воде плавали гречневая крупа, куски картошки и моркови. Промыть как следует котел он и не подумал.

Когда дошла очередь до Сурова, он сказал кашевару:

— Зачерпни осторожней, пусть картошка и крупа останутся на обед.

Стоявшие кругом солдаты засмеялись.

— Ты бы офицерам такой чаек дал, — добавил Суров.

Подпрапорщик Гречков, евший около кухни вареную картошку, крикнул Сурову:

— Ты что тут разоряешься, свинья? Розог захотел?

— Еще успеете нас бить розгами! — огрызнулся Суров.

Гречков притворился, что не слышал его слов, и направился к каптенармусу.

Солдаты принялись за чаепитие. Вдруг подбежали ребятишки, лохматые, истощенные, с испитыми лицами. В руках у каждого был мешок или ведро.

— Дайте хлеба...

— Дайте сухарик... — жалобно просили они, бросая голодные взгляды на хлеб, который ели солдаты.

Две девочки лет семи подошли к Лопатину.

— Дайте кусок хлеба... Папу убило снарядом, а мама лежит больная, — обратились они к нему.

Лопатин посмотрел на них с усмешкой и сказал:

— Я, что ли, виноват в том, что убили вашего отца? Жаль, что молоды, а то бы я вам дал... хе-хе-хе!

Он захохотал, озираясь по сторонам и ища поддержки у окружающих, но никто даже не улыбнулся.

Суров сжал кулаки от нахлынувшей злобы, бросил ненавидящий взгляд на Лопатина и направился к детям.

— Нате вам, голубки...

Он отдал им половину запаса сухарей и пять кусков сахару.

Ребятишки гурьбой бросились к нему, но в это время послышалась команда:

— Строиться!

Мы вышли из местечка, где еще догорали дома и клубился дым над пожарищем.

— На полях, что ли, места не хватает воевать? Какие хорошие дома разрушили...

— Что говорить про хорошие дома! А людей хороших сколько гибнет! — ответил я.

Мы проходили мимо большой братской могилы.

— Вот, видишь, вся награда павшим за царя — деревянный крест, которого не хватит даже, чтобы сварить котелок картошки, — добавил я.

Суров и Акимкин тоже вели с солдатами подобные разговоры. Вольноопределяющийся Шаруда, переведенный в нашу роту после сражения, то-и-дело подталкивал меня локтем и опасливо глядел по сторонам, боясь, что мои слова услышат офицеры. Мы прошли еще несколько деревень и всюду встречали одно и то же: разрушенные и ограбленные дома, мебель, перины и подушки на улицах, толпы оборванных ребятишек, просящих хлеба.

— Это австрийцы сами все разграбили, чтобы нам не досталось.

— Все грабят: и австрийцы, и немцы, и русские, — сказал Суров.

— Скажи лучше — заставляют грабить.

Наконец мы пришли в Станислав. Нас поразили беспечная жизнь города, многолюдье, оживление, бойко торгующие магазины, обилие извозчиков на перекрестках.

Несмотря на приближавшуюся ночь, мы пошли дальше и остановились только в пяти верстах от города. Скомандовали раскинуть палатки. Фатхетдинов, снимая сапоги, обратился ко мне:

— А ведь, парень, верно ты говорил.

— Что?

— Да вот через город прошли мы. Ну что же, народ живет такой же, как наш, торгуют, работают. Предлагали нашим солдатам хлеба и папирос. Даже девушки подмигивали. Какие же они враги?

— Вот именно!

— Думаю я, что вражду эту цари выдумали с богачами.

В разговор вмешался Усманов, мещеряк из Пензенской губернии.

До военной службы он работал на шахте «Янкай» в Донбассе.

— Какая же может быть вражда между австрийскими и русскими крестьянами? Все, брат, от царя-батюшки исходит.

Разговор прекратился. Усталость взяла свое, и вскоре из палаток послышался дружный храп.

ЛЬВОВ

Дорога к Львову была запружена толпами людей и вереницами груженых автомобилей и повозок.

— Зачем остановились? Фронт близко? — спрашивали наши солдаты.

— Да ничего неизвестно... Какой-то хромой чиновник, начальник парка, остановил нас, а сам куда-то пропал. Вот уж третий день, как ждем его...

По дороге гнали стадо рогатого скота. Измученные животные тянулись к придорожной траве, сбивались с пути. Надсмотрщики били их палками.

— Видишь, и скотина имеет начальство, тоже заставляют ее шагать по команде, как нас, — сказал Суров.

— А нам и не лучше, чем этой скотине, — отозвался Датский, бывший денщик Зеленского.

Мимо прошла партия пленных австрийцев. Их было человек триста, одинаковых на вид, одного возраста. Видимо, все были взяты на войну из регулярной армии. Они шли мрачные, с понурыми головами, бросая на нас хмурые взгляды.

Начались линии окопов. Возле дороги валялись патронные ящики, гильзы от снарядов, разбитые телеги.

Когда остановились на отдых, фельдфебель приказал взводным выделить квартирьеров. Назначили и меня. Мы зашагали быстрее и, опередив полк, направились к городу. Артиллерийских парков и обозов стало еще больше. Среди них было трудно пробраться.

— Ишь, ты, махина какая! — сказал низенький солдат. — Обозов одних сколько! Разве могут нас победить? А в России им, поди, счету нет.

Маркович, солдат пятой роты, с длинной черной бородой, высморкался и спросил:

— А тебе еще из дому не писали, что последнюю лошадь отбирают?

— Слава богу, у нас в деревне каждый имеет не одну, а четыре-пять лошадей, да и сеем не помалу. Семья кормится не одной селедкой на десять человек, как у вас, — ответил низенький.

— То-то ты рвешься вперед, — заметил я. — Небось, ждешь, что после победы царь еще тебе земли прибавит?

— А почему бы и нет? — горячился низенький. — Двух месяцев не прошло, а мы вот сколько земли у австрияков отняли!

Солдаты смотрели на него недружелюбно.

— Заткнешься ты или нет? А то прикладом стукну! — пригрозил ему запасный из Самарской губернии.

Низенький пробормотал что-то невнятно и замолк.

Вот и Львов.

По городу мы шли недолго. Вскоре завернули во двор казармы, огороженной высоким забором. Во дворе было несколько длинных двухэтажных корпусов. До нашего прихода здесь уже разместилась девятнадцатая дивизия.

Мы решили осмотреть город.

На улицах царило оживление, толпы людей, преимущественно военных, сновали взад и вперед. Не успели мы пройти два квартала, как нас окружили ребятишки и, наперебой что-то быстро говоря по-польски, тянули нас за рукава.

Наконец мы поняли, что они звали нас к «девкам», обещая, что возьмут за услуги недорого.

Когда мы миновали еще два квартала, нас позвал к себе парикмахер и тоже предложил нам достать женщин и венгерское вино. Маркович, житель Варшавы, обратился к нему по-польски:

— А не достанете ли вы нам лучше хлеба и папирос?

Парикмахер с разочарованным видом ушел.

Когда мы вернулись в казармы, полк уже прибыл. Солдаты раскидывали палатки.

Фельдфебель набросился на Марковича:

— Где шлялся, жидовская морда?

Фельдфебель размахивал кулаком перед самым носом

Марковича, и тот, как старый солдат, знающий, что при разговоре с начальством лучше стоять подальше, быстро отступил на два шага назад и ответил:

— Мы не виноваты, господин фельдфебель, нас послал господин поручик.

Солдаты располагались на отдых. Мы тоже собирались спать; только Суров, попросив у меня и Акимкина денег, куда-то скрылся.

В пятнадцатой роте ругался пьяный солдат.

— Дневальный, уложи эту пьяную свинью! — распорядился подпрапорщик.

— Сволочь, шкурник, какое ты имеешь право называть меня пьяной свиньей? — горячился пьяный солдат.— На мои деньги пили — и я же свинья?.. Не хочу спать!.. Мир когда будет?..

Пьяный оказался ефрейтором Васюткиным. Он схватил подпрапорщика за шиворот. Тот его с силой отшвырнул, и Васюткин упал возле нашей палатки. Подпрапорщик удалился.

Васюткин вскочил, побежал вслед за ним и догнал. Началась драка. Хотя шума особого не было, но дневальный нашей роты дал тревожный свисток. Его подхватили дневальные других рот. У ворот кто-то выстрелил.

И тут началась суматоха. Всполошилась вся дивизия. Никто не знает, в чем дело. Все хватаются за винтовки, шинели, вещевые мешки, спотыкаются, падают... Снова грянул выстрел.

Шум поднялся невообразимый.

— Первый взвод, стройся!

— Двенадцатая рота, расходись!

— Взвод, равня-яй-йсь!

— Батальон, вперед!

— Взводный Васильев, где твой взвод, сукин сын?

— Шагом марш!

— Стой, бараны!

— Чего остановились?

Все сразу командовали, и это еще увеличивало суматоху. Роты строились и расходились, бежали на улицу, искали винтовки. Двор был похож на развороченный муравейник.

Командир пятнадцатой роты, высокий и плотный, в ко-

ричневом кителе и без брюк, метался около своей роты и отдавал противоречивые приказания.

Денщик его с брюками и шапкой командира в руках, словно тень, следовал за ним

Появился и наш командир, Глыба. Взводный подбежал к нему и попытался объяснить причину суматохи, но капитан его не слушал, суетился, орал и ругался.

Кое-как полк выстроили и повели на улицу, где бурлило солдатское море. Во двор направили «на разведку» казачью сотню.

В это время взводному удалось рассказать командиру в чем дело, и шум начал затихать.

Вернулся Суров. Он подбежал к нам, запыхавшись.

— Давайте винтовку! В чем дело?

Когда мы рассказали ему о случившемся, он с усмешкой промолвил:

— Ну и храбрые вояки! В центре города артиллерия уже готовилась выступать.

Мы пошли в свою палатку, поели и легли спать.

На следующий день начали распространяться нелепые слухи:

— В городе убивают наших солдат.

— Парикмахер зарезал трех солдат и двух офицеров.

— Старуха-еврейка отравила пятнадцать рядовых.

— Австрийские шпионы бросили десять бомб.

— Вырезали роту десятого стрелкового полка...

Виновниками всегда оказывались евреи и поляки.

Нам было ясно, что кто-то усиленно занимается провокацией.

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

Всю ночь шел дождь. Солдаты промокли насквозь и не могли уснуть, а на рассвете их уже выстроили и повели вперед. Дорога была запружена несметным количеством обозов, санитаров, повозок, телег, грузовиков. Встречались также застрявшие в грязи автомобили. По краям дороги валялись трупы лошадей; они уже начали разлагаться, распространяя нестерпимое зловоние.

По краям дороги тянулись свежие братские могилы внушительных размеров: в каждой были зарыты десятки убитых солдат.

Война наложила свою печать на все встречавшееся по пути. Не было ни одной сохранившейся деревни. Кругом торчали обгоревшие столбы и остовы печей. В изредка уцелевших избах были выбиты окна и двери. Во дворах встречались сломанные телеги, ящики и домашняя утварь. В городах и местечках картина была та же: дома разрушены, на улицах запустение, безлюдье. Только порой на уцелевших домах развевались белые флаги с красными крестами.

Грязная дорога, вся в ухабах и рытвинах, делала поход еще более тяжелым и изнурительным. Кухни вечно запаздывали. Все это озлобляло и раздражало солдат.

Уже вечерело, когда мы остановились на отдых у маленького городка.

Все проголодались и, вытащив из мешков сухари, грызли их, с нетерпением ожидая прибытия кухни.

Первой прибыла кухня пятнадцатой роты. Начали раздавать обеды. Наши солдаты тщетно озирались по сторонам в ожидании прибытия кухни, но ее все не было, и они начали поодиночке тянуться к пятнадцатой роте.

Около кухни, на берегу небольшой речки, стояли в очереди солдаты с котелками. Влево от них Гринберг, тоже с котелком в руке, ожидал, когда его земляк Хаимов возьмет свою порцию. Суров и я стояли справа.

К нам подошел солдат пятнадцатой роты Асилгиреев, взял наш котелок и обещал нам тоже принести обед, если удастся.

Наш фельдфебель ругался, кричал, отгоняя солдат от кухни, пытался было вырвать у Гринберга котелок из рук, но Гринберг котелка не отдал.

Суров, сговорившись с группой солдат, старался оттеснить фельдфебеля к берегу. Когда Гринберг поскользнулся и полетел вниз, Суров незаметно толкнул фельдфебеля, и тот, потеряв равновесие, покатился вслед за ним в речку.

— Ребята, не напирайте! — крикнул Суров, чтобы отвлечь внимание фельдфебеля.

Гринберг первым вылез из воды, за ним начал карабкаться фельдфебель.

Солдаты встретили его на берегу дружным хохотом, и это еще больше взбесило его.

— Господин фельдфебель, поди сюда, мы тебя живо накормим! — крикнул сзади.

Фельдфебель, разъяренный, бросился разыскивать Гринберга, но тот уже скрылся.

На другое утро денщик капитана Глыбы сообщил нам, что фельдфебель пожаловался капитану, и тот распорядился собрать военно-полевой суд и наказать Гринберга розгами на ближайшей остановке.

... Дорога становилась все хуже и хуже. Рытвины, ямы, выбоины.

Начали попадаться раненые. Руки у них были перевязаны, глаза гноились, лица и одежда были грязны, запылены. Раненые шли под казачьим конвоем.

Они попадались все чаще, и солдаты заговорили о них:

— Смотрите, с каким почетом их ведут: на каждую партию конвой — пять или шесть казаков, — начал Акимкин.

— Боятся, как бы не заблудились.

— Думаешь, их в Россию отправят? Ничуть не бывало. Сдадут первому этапному коменданту, и он их упрячет в сарай.

— Ясно, раз под конвоем.

— Вот и Гринберга нашего розгами хотят наградить, перед тем как на позицию пойдет.

— За что?

— За то, что есть хотел.

— Ну, если и за это будут бить розгами, что же тогда получится!

— Пусть позаботятся сначала, чтобы роту кормили.

— Нельзя трогать солдат, не допустим! — сердито промолвил Суров.

— Не допустим, правильно! Пусть тогда всех бьют розгами, — добавил Шаруда.

В разговор вмешался Лопатин:

— Из-за пустяков горюете, братцы... Скоро позиции. Забудем распри.

— Эх ты, подметка, запел! Командиром, что ли, заделался? — сердито сказал солдат, не принимавший до того времени участия в разговоре.

Пошел крупный дождь. Солдатам разрешили надеть шинели.

Грязь липла к сапогам, одежда промокла, итти становилось все труднее и труднее.

Впереди послышались орудийные выстрелы, напоминавшие отдаленные раскаты грома.

Солдаты приуныли, шли молчаливые и встревоженные, чувствуя приближение чего-то темного и страшного. Некоторые крестились.

Фатхетдинов шел рядом со мной и глубоко вздыхал:

— Эх, браток, много суждено нам увидеть...

— Чего там тебе покажут? В огонь ведут, и все, — ответил я.

— Что же делать, если судьба?

— Тут, браток, не в судьбе дело, а в нашем рабском положении, — ответил я.

Остановились мы в маленьком селении, насчитывавшем всего пять-шесть домишек. Дождя уже не было. С фронта доносились уже не отдаленные выстрелы, а сплошной гул орудий.

Промокшие насквозь солдаты искали убежища, но везде было сыро, а дома были заняты офицерами.

От холода и мокрой одежды дрожь пробегала по телу.

Наступили сумерки, а кухни все еще не было. Голодные, мы двинулись дальше.

Ночь была темная. Говорить запретили. Мы шли по рыхлой, вспаханной земле.

Вскоре послышалось стрекотание пулемета.

— Видно, приближаемся, — сказал кто-то.

— Скажи — пригоняют, — ответил я.

Поздней ночью распространился слух, что мы двигаемся к Перемышлю.

Утром был легкий мороз.

Мы остановились в имении, расположенном на окраине деревни.

В домах помещались раненые, но мест не хватало, и большая часть их лежала около лестниц в саду, на сырой земле.

Со всех сторон доносились крики, стоны и плач раненых. Тут были не только русские солдаты, но и поляки, немцы, венгры. Наш батальон остановился около дома,

но оттуда вскоре вышел незнакомый полковник и обратился к Глыбе:

— Капитан, вы привели роту, чтоб караулить раненых? Потрудитесь немедленно отойти.

Мы направились в глубь сада.

Уставшие солдаты расположились на утрамбованных, посыпанных песком аллеях парка. Они съежились и старались улечься так, чтоб хоть немного согреть озябшее тело.

Перед рассветом орудийная и пулеметная стрельба усилилась и казалась совсем близкой. Раненых беспрерывно подвозили.

К нам подошел молодой солдат Двадцатого полка, раненый в руку.

— Мы вчера только пришли на позиции, а к вечеру нас уже послали в атаку. Офицеров нет. Беспорядок, суета... Одно слово — бойня... Нет ли у вас, братцы, воды? — обратился он к нам.

Мы дали ему воды и хлеба.

— Спасибо, братцы, только хлеб себе оставьте. Они умеют нас на бойню гнать, а кормить не очень заботятся.

Парень нам показался подходящим.

Мы с Суровым попросили его заняться агитацией среди солдат.

— Вы откуда сами? — спросил он и добавил шопотом: — Я с Николаевского судостроительного. Будьте осторожны, товарищи, берегите себя. На офицеров не надейтесь... Ну, пока, прощайте!

ФРОНТ

Когда мы вышли из имения, солнце уже было высоко. Тринадцатую роту, а затем и нашу растянули цепью по вспаханному полю и заставили звеньями передвигаться ползком по направлению к пригорку. Жужжанье пролетавших пуль говорило о близости фронта.

Не успели мы продвинуться на километр вперед, как наша батарея открыла огонь. Тринадцатая рота была уже далеко впереди. Солдаты бежали по направлению к лесу. Тогда австрийская артиллерия открыла огонь по передо-

вым цепям, и снаряды начали разрываться около нас, образуя воронки и ямы.

Нашу роту заставили тоже бежать. Передовые шеренги были большей частью перебиты. Одни лежали ничком, безмолвные и посиневшие, другие еще корчились на земле, умоляя о помощи.

Легко раненые, которые могли сами двигаться, спешили на перевязочный пункт.

Наша рота беспорядочно бежала к лесу, подгоняемая офицерами и фельдфебелями.

Внезапно австрийцы прекратили стрельбу. В лесу послышались крики. Там царил хаос. Солдаты тринадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой рот метались в поисках безопасного места.

Вдали виднелись маленькая деревушка и костел.

Мы с Суровым рыли окоп, вспотели, хотелось пить.

По цепи передали команду:

— Командир приказывает четырнадцатой роте собраться на опушке леса.

В это время австрийцы открыли ураганный огонь. Солдаты бросились на землю.

Пули звенели, как назойливые комары.

Вдруг разорвалось сразу несколько снарядов, полетели комья земли, песка, камни, куски деревьев.

Снаряды нашей артиллерии разрывались на открытом месте около имения.

За несколько минут почти целая сотня солдат четвертого батальона выбыла из строя.

Тринадцатая рота начала отступать к деревушке, за ней двинулась и наша.

Впереди была открытая местность. Никому не хотелось выходить из леса, но было приказано бежать к деревушке.

Первый взвод тринадцатой роты, не успев добежать до деревни, потерял пять человек. Второй — хотел остаться в лесу, но там вскоре начали разрываться снаряды нашей артиллерии.

Делать было нечего, пришлось бежать под бешеным пулеметным огнем неприятеля, косившим наши ряды, как траву.

У деревни мы нашли австрийские окопы, свеже вырытые и достаточно глубокие, чтоб укрыться в них. Но вскоре

австрийская артиллерия начала засыпать снарядами костел, деревню и окопы, где мы лежали.

Ранило четырех солдат нашей роты, в том числе и Врубеля.

Мы перевязывали руку Врубелю, когда послышалась команда Глыбы:

— Рота, за мной!.. — и командир побежал вперед, часто оглядываясь.

Мы с Фатхетдиновым отвели Врубеля к каменному забору, где собралось много раненых, и, пообещав ему прислать санитаров, бросились догонять роту.

Наша и тринадцатая рота направились к пригорку. Этого только и ждал неприятель: едва мы подошли к возвышенности, как нас буквально засыпали снарядами. В воздухе стоял оглушительный гул от разрывов, и осколки со свистом и жужжанием летели во все стороны, уничтожая все живое на своем пути.

Раненые были брошены на произвол судьбы, фельдшеров и санитаров не было.

Мы кое-как добежали и окопались на другом склоне пригорка.

К нам подошел Суров.

— Вот тебе и война... Теперь все узнают, что это за штука! — сказал он запальчиво.

— Надо найти ротного и снести ему башку, — сердито проговорил Фатхетдинов. — Среди белого дня вести роту по открытому месту, чтоб всех уничтожили... Осел!

— На то он и капитан, — подтвердил кто-то.

К вечеру канонада стала тише. Сентябрьское солнце близилось к закату, посылая последние лучи на объятые пламенем деревни.

Начали подбирать раненых.

Вольноопределяющийся Баров успел уже побывать в имении и принес оттуда вареное мясо.

— Где мы находимся? — спросил я его.

— Мы сейчас недалеко от северных укреплений Перемышля, — и он указал рукой в сторону, откуда взлетали все время яркие зеленые и желтые ракеты.

Вскоре прожектор начал нащупывать наши части.

— Всем разойтись по своим взводам! — скомандовал фельдфебель.

Суров и Баров сделали небольшую разведку и выяснили, что все окопались где попало и взводы смешались.

В это время сзади подошел Десятый Сибирский стрелковый полк и, не задерживаясь, двинулся вперед. За ним должны были последовать мы.

Готовились к наступлению.

Отделенные и взводные командиры расталкивали озябших и успевших задремать солдат.

Наконец взлетели три красные ракеты: это и было сигналом к началу наступления.

— Первый взвод, вперед!

— Второй взвод!..

Мы с Суровым и Фатхетдиновым сразу свернули вправо и, найдя замеченные нами раньше пустые окопы, укрылись в них.

С обеих сторон открыли беспорядочный огонь из орудий и пулеметов. Снова загорелись деревни. Где-то кричали «ура».

— Ну, на этот раз уцелели. А ведь не всегда удастся так легко отделаться.

— Надо постараться улизнуть в тыл, — после некоторого раздумья сказал Суров.

Вдруг мы заметили приближающуюся к нам группу солдат. Суров направился к ним.

— Братцы,— сказал он,— не знаете ли, где пятнадцатая рота? Я отстал.

Солдаты — их было семеро, все Десятого полка — рассказали нам, что наступление окончилось неудачей, окопов не захватили, офицеры в атаку не пошли. Они ругали офицеров, не стесняясь.

У нас завязалась дружеская беседа.

Перед рассветом огонь усилился, и Десятый полк начал панически отступать. Мы присоединились к ним и дошли до вчерашней позиции.

Из нашей роты вернулось всего около двадцати человек, остальные ушли неизвестно куда.

— Ну, и парились мы! — сказал москвич Кушнарев.— Надо или в плен попасть, или в тыл удрать, а то головы не снесешь.

Другой солдат рассказал, что австрийцы окружили часть нашего полка и взяли многих в плен. В числе

пленных оказались солдаты и два офицера из нашей роты.

К утру выяснилось, что из нашей роты осталось меньше четверти людского состава. В других ротах положение было не лучше.

В полдень бой снова разгорелся. От ураганного огня гудела земля. Над полем сражения нависли густые облака дыма.

Осколок снаряда раздробил пятку Вашакидзе. Он заплакал, когда увидел свою окровавленную ногу. Мы с Суровым его перевязали, но отнести в тыл не было возможности: снаряды разрывались беспрерывно и дождем осколков, камней и земли падали на окопы. Вашакидзе потерял сознание.

Мы вспомнили, каким он был веселым и жизнерадостным. Раньше он был грузчиком в Батуме, грузил табак. В армии он скоро почувствовал сладость солдатской доли и возненавидел офицерство. Он принес с собой в полк песни и пляски далекой родины — Кавказа. И вот теперь он больше не будет плясать. А за что? Ради кого?

Он очнулся, застонал от нестерпимой боли в ноге и сквозь зубы проговорил:

— Проклятые офицеры!..

К вечеру канонада затихла. Изредка раздавались отдаленные выстрелы и разрывались бомбы с аэропланов, летавших над нашим расположением, словно ястребы, завидевшие цыплят.

Наступили сумерки. Мы с Суровым взяли Вашакидзе под руки и увели его в тыл.

С нами пошел и Фатхетдинов.

Мы узнали, что впереди казачий разъезд. Нам пройти было легко как провожатым Вашакидзе, но надо было как-то проскользнуть в тыл и Фатхетдинову.

— Ничего, как-нибудь устроим,— сказал Суров.

Около деревни нас встретил санитарный отряд и предложил принять Вашакидзе, а нам отправиться на фронт, но Суров резко заявил:

— Если вы такие герои — идите сами, там ждут вас давно, а до нашего командира вам нет дела.

— Разве это — офицер?

— Да, офицер и очень тяжело раненый,— ответил я.

Нас пропустили дальше. Фатхетдинов надел две сумки, Суров сунул ему откуда-то добытый наган, и мы двинулись вперед.

Навстречу нам скакали два казака.

— Стойте! Кто такие? Зачем с фронта убегаете?— крикнули они.

— Тяжело ранили ротного командира, вот мы его и несем, а это его денщик,— сказал Суров, показывая на Фатхетдинова.

Казаки уехали, а мы направились в имение.

В помещичьем доме раненых уже не было. Их перевезли в деревенские хаты, а в домах расположились дивизионный и полковой штабы. Много раненых по-прежнему валялось на земле, без всякого ухода и помощи, и выпрашивало у прохожих кусок хлеба или глоток воды.

Мы направились к низенькому домику, где раньше жила прислуга помещика.

На пороге нас встретил фельдшер и грозно спросил:

— Какой раненый?

— Какой? Известно, русский солдат, не американский,— сердито ответил Суров.

— Бараны! Я вас спрашиваю, какая у него рана?

— Посмотришь...

Мы не стали с ним больше говорить и повели Вашакидзе в дом, переполненный ранеными.

Позже мы встретили старого знакомого Ислаева, и он повел нас в какой-то сарай, вскипятил чай, сварил картошку, и мы сели закусывать.

— Эх, скорее бы мир!— заговорил Ислаев.— Хочется жить, а в этой бойне уцелеть трудно.

— Если сами не потребуем мира, никто нам его не поднесет,— сказал я.

— Да, попробуй-ка, требуй! — возразил Ислаев и, понизив голос, продолжал:— Третьего дня привели пополнение в штаб дивизии и начали распределять по частям. Так вот один старый солдат возьми да и спроси у адъютанта: «У меня дома шестеро детей, нельзя ли меня оставить в обозе?» Так его чуть не замучили потом: как это он — дал присягу служить верой и правдой, а теперь отлынивает? А тут еще писарь нашей роты Холодовский говорит, что в тылу стали пороть солдат

розгами, как при царице Катерине, и что нет другого выхода для нашего брата, как уйти с фронта и бить офицеров. Кто его знает, может, он и правду говорит...

Наконец мы встретились с Холодовским.

Он сообщил, что Герман в Проскурове, в запасном батальоне, Сайкель — в телеграфной роте в Жмеринке, а Зеленский — помощником коменданта Тарнополя.

Я стал говорить о трудностях агитационной работы в окопах.

Холодовский сказал, что лучше пробраться в тыл. Он получил письмо от Шаруды из Харькова. Шаруда сделал очень много, но его начали подозревать, и он уехал в Полтаву.

— Да, товарищи, теперь много работы в тылу. В любом местечке имеется запасной батальон. Да и легче там работать. Поэтому постарайтесь скорее вырваться отсюда. А за меня не беспокойтесь.

— А как пробраться в тыл? Укажи путь.

— Я и сам об этом думаю. Впрочем, говорят, что скоро наш полк отправят на отдых, тогда сообразим...

Ночью опять началась стрельба. На горизонте вспыхнули ракеты. Видимо, опять готовилось наступление. Но мы так устали, что думали только об отдыхе и сне. Ислаев повел нас в сарай, где спали уже свободные от караула солдаты, и солома, смешанная с кизяком, показалась нам мягче перины. Даже зуд от укусов вшей, расплодившихся на нашем грязном, заношенном белье, не помешал нам уснуть, как убитым. Мы проснулись только в полдень.

Холодовский посоветовал нам пока остаться в деревне, и мы шатались из хаты в хату, где денщики, каптенармусы и обозная прислуга играли в «двадцать одно» и заговаривали осторожно о мире.

— Вот возьмем Перемышль, тогда, может быть...

— Скоро мы всю австрийскую землю заберем, тогда и мир будет.

Эти люди не очень тяготились войной, искали, где что плохо лежит, и потихоньку грели руки.

— И в газетах ничего о мире не пишут.

— Дело не в газетах, а в офицерах. Если бы офицеры не хотели воевать, то и царь, пожалуй, не воевал бы.

— Нет, все дело в генералах.

Тут вмешался в разговор Суров:

— Нет, братцы, все дело в солдатах, чтобы они поняли, кто и зачем воюет.

Рыжий фейерверкер поддержал его:

— Это, пожалуй, верно. Зачем солдатам воевать?

— Да, попробуй, сунься! Казаки тебе покажут. За чепуху высекли двух солдат розгами. Казаков хватит!

— А зачем вы их дали пороть? Что смотрели?

— Ничего не сделаешь.

Разговор прервался. Солдаты увлеклись игрой.

Мы направились дальше и скоро набрели на нашу кухню. Пообедав, мы вместе с кухней двинулись дальше, к окопам.

Моросил дождь. Повар, накормив нас, закрыл котел и, сняв фуражку, перекрестился. Вдали уже взлетали ракеты и грохотали орудия. Повар явно струсил.

— Ты, братец, поменьше о боге думай, а больше о людях. Бог о тебе не позаботится,— сказал ему Суров.

— Так-то оно так...— задумчиво протянул повар.

Наступила осенняя темная ночь. Я вспомнил, как несколько лет тому назад в такую же промозглую ночь шел из Бугуруслана в Бугульму и как прекрасно отдохнул на печке у незнакомого крестьянина. И вдруг так захотелось укрыться от непогоды, стрельбы, осеннего мрака, от всего окружающего, раздеться и уснуть.

Словно угадав мои мысли, шедший рядом со мной Фатхетдинов сказал мне:

— Эх, поспать бы сейчас в деревне, в натопленной бане!

Повар и каптенармус со страхом озирались вокруг, словно искали убежища от пролетавших близко пуль...

Ночью опять пошли в атаку.

При свете прожекторов видны были мелькавшие фигуры солдат с винтовками и ручными пулеметами, бежавшие к передовым фортам крепости Перемышль.

Снова крики «ура», трескотня пулеметов, стоны раненых.

Наш правый фланг дрогнул, и для подкрепления подходил новый полк, еще не бывший в бою. Офицеры и фельдфебели пытались еще вести свои части по уставу, раздавалась обычная заученная команда:

— П-первый взвод, вперед, по одному!

— На двадцать шагов вперед, бегом м-марш-ш!

Дойдя до знакомой деревни, мы укрылись в глубокой воронке, вырытой снарядом недалеко от костела. С нами были четыре солдата из новоприбывших.

Наша рота бежала к лесу под частым огнем неприятеля,— стреляли форты Перемышля.

Вдруг около нас появился незнакомый унтер и начал нас выгонять:

— Перестреляю вас всех, сволочи! — кричал он.

Солдаты затеяли с ним перебранку, а в это время Фатхетдинов незаметно подкрался к нему сзади и ударил прикладом по руке, в которой он держал винтовку. Унтер уронил винтовку и убежал.

Перед рассветом показался узенький серп луны. Наступление кончилось, и при свете луны мы увидели бежавших с фронта солдат.

В живых осталось немного.

— Опять то же самое,— сказал я.— И так — изо дня в день.

ПЕРВАЯ РАНА

Выйдя из ямы, мы увидели, что и левый фланг панически отступает, засыпаемый дождем пуль и снарядов.

Не успел я как следует оглядеться, как вдруг услышал резкий свист и одновременно почувствовал жгучую боль в спине и ноге.

— Старайся добраться до окопов,— смутно услышал я голос Сурова, говорившего, казалось, издалека.

В глазах у меня потемнело, горело во рту, я чувствовал, что теряю сознание...

Когда я очнулся, Суров и Фатхетдинов пытались надеть на меня шинель. Я был ранен осколком снаряда в спину и в ногу.

Суров торопился скорее увести меня в тыл. Мы вскоре пришли в дивизионный лазарет, но там мне перевязку делать не стали, а посадили на двуколку вместе с другими ранеными и отправили дальше.

Около сотни двуколок были заняты тяжело ранеными, за ними плелись легко раненые, то есть люди, которые кое-как могли еще двигаться.

При погрузке солдат, раненый в голову, хотел сесть на двуколку, но его оттолкнул высокий черноусый врач:

— Куда прешь? Ноги у тебя здоровые!

Нас привезли на ферму с тремя длинными одноэтажными зданиями и сараями. Мы удалились от позиции на пятнадцать-двадцать километров, но отдаленный гул выстрелов все же доносился к нам.

У сараев прямо на земле валялись раненые — грязные, изможденные. Они стонали и невнятными голосами о чем-то просили прохожих.

Перед дверьми домов стояли длинные очереди раненых, некоторые лежали на земле. Очередь передвигалась медленно, и я с трудом держался на ногах.

Врач и два санитара принимали раненых.

Когда очередь дошла до меня, врач даже не снял повязки, а только записал имя и фамилию и сказал с усмешкой:

— Ничего, князь, скоро поправишься.

Я лег вместе с другими на землю.

Около меня лежал фейерверкер четвертой батареи девятнадцатой бригады. Голова его была забинтована, видны были только беспокойно смотревшие глаза. Говорить он не мог.

С другой стороны лежал унтер Шестидесятого полка. У него была тяжелая паховая рана. Унтер очень сильно страдал, не мог минуты пролежать спокойно, ворочался, стонал и ругался. Вдруг он стал нараспев читать молитвы.

— Ну тебя к чорту! Не бубни здесь! Выздоровеешь, тогда можешь молиться в церкви, сколько хочешь.

Унтер выругался.

— Скоро всю землю заберем у австрийцев. Наша армия православная, ее никто не победит,— сказал он неожиданно.

— А почему они нам всыпали уже сколько раз?

— Да это офицеры виноваты, продаются врагам,— ответил унтер.

Фейерверкер с сожалением взглянул на унтера и безнадежно махнул рукой. «Что с дураком говорить!»— можно было прочесть в его глазах.

— Эх, бедняжка, видно, земли тебе не хватает?— сказал унтеру невзрачный солдатик.

Из разговоров мы узнали, что унтер в 1910 году переселился в Оренбургскую губернию, имел пятнадцать лошадей и шесть пар быков и держал четырех батраков.

К нам подошел рыжеусый санитар.

— Стройся, кто может ходить. Сейчас отправим вас дальше в тыл.

Некоторые пробовали подняться, но это им не удавалось, и, опечаленные, они снова легли.

Невдалеке начали строить легко раненых. Подъехал казачий конвой, который их должен был сопровождать. Зауряд-прапорщик ругал и подталкивал еле державшихся на ногах солдат.

Раненых увели. Оставшиеся смотрели им вслед с нескрываемой завистью:

— Счастливцы!

— «Счастливцы»... а с конвоем повели защитников отечества!

— Как баранов.

— Через две недели опять погонят на позицию.

— А может, мир будет, когда они выздоровеют?

— Как же! Держи карман шире!

— Если сами воевать не бросим, то от царя мира не дождешься,— тихо добавил я.

Услышав это, несколько солдат приподняли головы и внимательно посмотрели на меня.

Лежавший вблизи гренадер поддержал меня:

— Верно, если сами не кончим, никто войны не прекратит. Один штатский то же говорил, когда нас отправляли из Питера...

Вечером нас положили в двуколки и повезли дальше в тыл.

Ехать было мучительно. Каждый толчок на изрытой ухабистой дороге вызывал ноющую боль в ране. Остановок почти не делали. Все время лил дождь.

Навстречу бесконечной вереницей тянулись батальоны. На остановках солдаты подходили к раненым, расспрашивали о фронте, угощали нас табаком.

Иногда слышалось пенье, но в нем не было бодрости.

Мы плывем вдоль Белой,
Распевая песни...

Пели неохотно, и пение это навевало тяжелую, щемящую грусть. Думалось о том, что не сегодня-завтра эти молодые, здоровые парни попадут на позиции, их будут убивать, калечить, а за что?

— Товарищи, вы откуда?— спросил я у двух солдат, лежавших недалеко от меня во время отдыха.

Они оказались башкирами из Мензелинского уезда.

— Ну, как, браток, наши побеждают?

— В скольких сражениях был?

— Скоро ли мир? Как у вас говорят?

— Австрийскую землю берем?— засыпали они меня наперебой вопросами.

— Да как сказать...Если начальства будем слушаться, то мир не скоро будет... Наши крестьяне бьют австрийских крестьян, а за что нам их бить? Да и от мира ничего сладкого не ждите. Польза от войны только богачам будет,— сказал я.

— Верно ты говоришь, пожалуй. Сын богача Гирея и сын муллы тоже — на фронт не пошли. На Ижевском заводе устроились, работают на оборону. А мулла нам проповедь читал: воюйте, мол, за царя и бога... а, небось, своих сыновей на войну за бога и царя не посылает!

Взводный окликнул солдат, и они поспешно удалились.

На заре мы приехали на станцию Садовая Вишня. Там разгружали три эшелона солдат и поспешно тут же строили.

Для нас подали санитарный поезд. Но это был только по названию — санитарный: во всем составе только два оборудованных вагона, а остальные теплушки. При погрузке места не хватило, и раненых клали вповалку на пол, под нары, словно грузили бревна.

Вскоре пришли сестры милосердия в кисейных платках, с красными крестами на груди.

Брови у них были подведены, губы накрашены.

Они говорили нарочито слащавым голосом:

— Какой губернии, солдатик?

— Ранен в ногу?.. Ну, ничего, скоро поправишься,— поедешь на фронт и отомстишь врагам,— обратилась ко мне сестра, откормленная, с круглым лицом и пышной грудью.

— Лучше бы не надо возвращаться,— отвечал я.

Сестра скривила губы и отошла, ничего не сказав.

У дверей вагона она обратилась к проходившему мимо офицеру:

— Князь, помогите мне, ради бога, сойти.

— Губерния ей интересна... О чае бы лучше позаботилась, стерва! — злобно сказал лежавший рядом солдат.

Все с напряжением ждали отправления поезда. Хотелось поскорее уехать возможно дальше от окопов, грохота орудий, разрушенных мест.

В нашем вагоне было двадцать человек, большей частью легко раненых.

К вечеру нам принесли чай, и каждому — по куску хлеба и сахару.

— Хлеб белый, только очень уж мало дали,— заговорил молоденький солдат.

— Раненым много есть вредно,— усмехнулся другой.

— Дома ты, наверно, белый хлеб только на пасху ел.

— Пусть черного дадут, только побольше.

— Кровь проливай, а тут тебя голодом морят!

— А тебе кто велел кровь проливать?— послышался чей-то голос с нижних нар.

Ефрейтор посмотрел в его сторону и прошипел:

— Немецкий шпион!

— Ведь его на фронте ранили. Какой же он шпион?!— вмешался я.

— Солдаты шпионами не бывают. Офицеры сами — шпионы.

— Да, надо присмотреть за офицерами и богачами.

— Это верно. Вот наш Андрей Иванович имеет четыре хутора, мельницы и каменные лавки, а ни один из его сыновей на войну не пошел — живут припеваючи.

В наш вагон вошел высокий рыжеусый врач.

— Здорово, герои!

Только ефрейтор ответил ему:

— Здравия желаю!— но стушевался, заметив, что все остальные молчали.

Врач начал расспрашивать солдат, откуда они, где и когда ранили. Отвечали вяло и неохотно.

— Кто ее знает, откуда пуля взялась, ее не разберешь, ваше высокородие.

— Верно, голубчики, верно,— соглашался врач.

Увидя, что у большинства перевязаны руки, он с ядовитой усмешкой на лице сказал:

— Ну и собаки эти австрийцы, все поровят в руки попасть...

Поезд тронулся. Врач остался в нашем вагоне, расспрашивал о зверствах немцев и австрийцев, а затем, кривляясь и гримасничая, стал рассказывать еврейские и армянские анекдоты.

На следующей станции он ушел.

— Собака! Разнюхивает, удочки закидывает, поймать нас хочет.

— За детей нас считает,— отозвался я.

— Не спрашивает, небось, сыты ли мы, а сказки рассказывает.

— А насчет рук он ехидно сказал,— добавил я.— Будто сомневается, не сами ли солдаты ранили себя.

— Ну, от этих сволочей чего ожидать! В окопах они не лежали.

— Эти знают, где им лучше лежать.

На следующее утро мы приехали на станцию Воловов. Там было много солдат, офицеров, сестер.

Нас закидали вопросами, и, растерянные, мы не знали, что и кому отвечать. Солдаты со страхом и сочувствием смотрели на изможденные лица, впалые щеки и грязную одежду раненых. Сокрушенно качали головами и чесали затылки. Многие давали нам хлеб, сахар, табак.

Офицеры увивались около сестер. Те с ними кокетничали, балагурили, на нас просто не обращали внимания.

Вскоре нам приказали выгружаться, а в наши вагоны поместили тяжело раненых и отправили в Россию.

Мы валялись в маленьком домике около станции. Санитары и сестры пробегали мимо, но перевязок нам не делали, есть не давали.

— Скоро ли отправят нас?— спрашивали раненые.

— Кажется, сегодня,— неопределенно отвечали санитары.

— Куда? В Россию?

— А то куда же!

У меня началась ноющая боль в ране, знобило. Кроме того, мучили вши, облепившие все тело.

Мы просили сестер сделать перевязку, но те отделывались обещаниями и исчезали.

К вечеру к нам зашел зауряд-прапорщик и записал фамилии и кто куда ранен.

Мы облегченно вздохнули: значит, скоро поедем.

Затем пришла сестра и отделила всех, раненых в руки и ноги.

Она, повидимому, была женой офицера, держалась уверенно и сурово, говорила резко, тоном командира.

— Ну и житьишко! Врачи сказками кормят, сестры командуют.

— На фронт бы ее!..

Озлобленные солдаты долго еще ругали ее.

Наконец нас повели на перрон и погрузили в вагоны из-под угля, без нар, грязные и темные.

К нашему удивлению, мы скоро тронулись, без звонков, но поехали обратно, откуда утром прибыли.

Сначала мы думали, что это — маневры, но поезд ускорил ход, и тогда стало ясно, что нас везут обратно, по направлению к фронту.

Ночью меня разыскал высокий солдат из Симбирска, Наседкин.

— Что же, значит, обратно едем?

— А ты думаешь, мы там в России нужны? Ждут нас?— ответил я.— Там лазареты не для таких, как мы. Вот у нас были два вольноопределяющихся — одного ранили в палец, а другому пуля лицо поцарапала, так их сразу в Россию отправили. А нас — обратно на фронт. Герои! Завтра, наверное, в газетах напишут, что мы не пожелали ехать в тыл, а рвемся на фронт... Сволочи!

Солдаты внимательно смотрели на меня. Многие кивали головой, выражая свое согласие со мной.

— Верно, земляк-князь, правду говоришь,— обратился ко мне чернобородый солдат.

— Ты почему нас князьями называешь? Какой я князь? Такой же солдат, как все.

Ко мне подошел худощавый солдат со впалыми черными глазами, широколобый. Длинная шинель на нем болталась, как на вешалке. Он посмотрел на мои погоны и тихо спросил:

— Из Сорок седьмого полка?

— Да, Сорок седьмого Украинского,— ответил я.

Это был Бродский. Он хорошо знал Холодовского, Германа, был связан с организацией. Он жаловался, что ему трудно вести работу среди солдат из-за своего еврейского акцента. Он нарывался на скандалы, недоверие и просил помочь ему.

Мы долго беседовали. Бродский улегся рядом со мной, но мы никак не могли уснуть.

Кругом раздавался тяжелый храп спящих. Некоторые бредили, кричали, пели во сне.

— Ложитесь, стреляют!

— Урра! Урра!..

Иногда просыпались, тут же сплевывали, кряхтели, ругались и неистово чесали грудь, спину, бока. Наконец я уснул.

Мне приснилась родная деревня. Тетка дает мне каравай свежеиспеченного хлеба. Я с жадностью хватаю его и ем. Потом ищу воду, мучительно хочется пить, но воды нигде нет. Тетка куда-то исчезла, и вдруг слышится грохот... и я проснулся.

Поезд круто остановился, раздался лязг буферов. Кто-то распахнул дверь вагона и крикнул:

— Ребята, вылезайте и вещи возьмите с собой!

Кое-как растолкали спящих и начали вылезать.

Поезд стоял на маленькой станции. Сестер и санитаров не было. Только фельдфебель и четыре бородатых солдата строили на перроне раненых.

— Куда? Зачем?— спрашивали раненые.

— Известно куда — в лазарет.

— Ну, ну, шевелись!— подгонял нас фельдфебель.

Я и еще несколько раненых в ноги остались в ожидании двуколки. Остальные ушли.

Нам сделали перевязку на станционном пункте, накормили и затем повезли по узеньким улицам в городок. Перед двухэтажным каменным зданием лошадь остановилась.

Мы вошли во двор, где валялись поломанные швейные машины, ящики, разорванные перины и книги.

Когда я наконец забрался в комнату, она уже была битком набита ранеными. Они лежали на полу, в одежде, в которой приехали с фронта.

Меня окликнул Наседкин:

— Иди сюда, земляк. Здесь найдется местечко.

Ковыляя и с трудом переступая через лежавших на полу солдат, я кое-как до него добрался.

Рядом лежал Бродский.

Наседкин, сняв рубаху, начал ловить вшей и тут же их давил каблуком сапога.

— Айда, земляк, ложись, — приветливо встретил он меня,— вот это и есть наш лазарет. Не огорчайся, не красна изба углами, а я тебе оставил немного похлебки. Кухня недалеко, всего две улицы. А завтра приказано явиться на перекличку. Вот черти! — закончил он, протягивая мне котелок с супом.

ЛАЗАРЕТ

Лазарет помещался в двухэтажном доме, бывшем барском особняке. Многочисленные комнаты выкрашены масляной краской, в некоторых стены оклеены красивыми дорогими обоями. Дубовые и ореховые буфеты, гардеробы и книжные шкафы сохранились во многих комнатах; в передней стояли красивые вешалки.

Но с прибытием нашей «слабосильной команды»,— так почему-то нас называли,— началось систематическое уничтожение этих остатков прежней роскоши. Ежедневно шкафы, стулья, комоды ломались в щепки, и раненые разводили костры, кипятили воду, варили картошку, тут же били вшей, сняв с себя белье и согревая озябшее тело у пламени ярко пылавших костров.

Библиотека тоже нашла разнообразное применение у раненых; переплеты шли на поддержание огня в костре, бумага — на курево, а частью заменяла постельные принадлежности — простыни и подушки.

Наша «слабосильная команда» состояла из четырехсот пятнадцати легко раненых. Порядок дня установился следующий: утром мы шли на кухню за кипятком, пили чай, закусывали, затем отправлялись в соседний дом, над которым развевался флаг с красным крестом, и там нам делали перевязки.

Медицинский персонал состоял из старой женщины — сестры — и фельдшера с окладистой русой бородой.

Ждать приходилось долго, и многие, не дождавшись своей очереди, шли обедать — похлебать жидкого супу, который давали раз в день.

Некоторые уходили в окрестные деревни и тащили оттуда хлеб и картошку.

Даже хлеба не хватало, его выдавали не каждый день: ведь мы — слабосильная команда, значит есть надо поменьше.

Кроватей, конечно, и в помине не было. Все валялись на грязном полу, в темноте, вечером света не зажигали.

Положение наше несколько изменилось к лучшему благодаря неожиданной находке Наседкина.

Как-то раз он отправился искать картошку и набрел на пустующий завод.

Во дворе завода лежала большая куча каменного угля.

Наседкин взял у нас несколько сумок, набрал в них угля и у оставшихся жителей местечка выменял его на хлеб, молоко и другие продукты.

Сначала он давал продукты только мне и Бродскому, но вскоре расширил свои обменные операции и стал наделять и других.

Однажды Наседкин вернулся из местечка с четырьмя большими караваями белого хлеба, оставил нам один, а три дал Бродскому, сказав:

— Пусть он будет нашим каптером и раздает хлеб землякам.

Наседкин это сделал преднамеренно. Он хотел поднять авторитет Бродского среди солдат, чтобы они подружились с ним и доверяли ему, как своему человеку.

Расчет Наседкина вполне оправдался. Для голодных, измученных походами и ранениями людей кусок хлеба, несколько картошек или щепотка махорки представляли большую ценность, и понятно, что они начали дружелюбно относиться к Бродскому, наделявшему их этими благами.

Для нас это новое отношение раненых к Бродскому также имело значение. Бродский — человек образованный и начитанный, окончил гимназию, и мы стали уси-

лепно использовывать его беседы с солдатами для агитационных целей.

А солдаты все внимательнее прислушивались к его словам.

Беседы по вечерам оживились. Время шло, и раны понемногу заживали. По ночам уже редко слышались стоны и бред. Выздоравливающие охотно делились воспоминаниями о минувших днях, сражениях, фронтовой жизни.

Наседкин однажды рассказал о том, как он видел царя:

— Года три тому назад, на маневрах в Московском округе, я очень близко видел его, царя-то. Покойный отец мой, николаевский солдат, считал царя почти богом, и я думал так же. Ну, что же... Оказался он простой мужичонка, рыжебородый, похож очень на одного маклера в городе Мелекесе. Прошел он на параде мимо меня, даже не глянул. А я ему раньше послужил три года, и опять служу... а толк какой?

— И когда эта война кончится?— этот вопрос неизменно возникал в каждом разговоре.

Мы с Бродским осторожно разъясняли солдатам истинные причины войны и невозможность ее быстрого окончания.

— Значит, секрет не в том, чтоб защищать православие, как поп говорит,— сказал один солдат.

— Бродский прав: и поп, и ксендз, и раввин, и мулла, а заодно с ними и богачи — одного поля ягоды.

— И после мира нам хорошего ждать нечего.

— Ясно — нечего. Мало ли заставляли воевать наших дедов и отцов, а что им дали? Завоевали Крым, Туркестан, пропасть земли, и вся она, земля-то, пошла помещикам и богачам. Вот у нас, в Оренбургской губернии, земли сколько хочешь, а кто ею пользуется? Помещики и казаки. У нашего помещика Шута земли и леса — хоть отбавляй, а у крестьян едва по десятине на душу... Вот оно как дело-то выходит. А тут еще война...

— И у нас, в Астраханской, у казаков громадные наделы, а на фронте они сзади плетутся.

— Царские псы!

— Усмирители!

Было приятно слышать эти дерзкие речи, видеть разгоревшиеся лица солдат. Наша работа не пропала даром.

К концу месяца «слабосильная команда» начала быстро таять.

По одиночке и группами солдаты уходили на вокзал, подкарауливали поезда, идущие в Россию, и уезжали. Некоторым, заслужившим наше полное доверие, Бродский выдавал сфабрикованные им документы. Для этой цели Бродский использовал бланки со штампами полка. Он тщательно хранил эти бланки и передавал документы только через Наседкина.

Спустя месяц я уже начал ходить.

Так шли дни за днями.

В НОВОМ САМБОРЕ

Однажды вечером фельдфебель сделал проверку нашей слабосильной команды, и оказалось, что исчезли неизвестно куда сто шестьдесят два солдата.

Утром он повторил проверку, и только за ночь убыло еще четырнадцать человек.

Начальство решило принять меры.

В тот же день нас повели к коменданту. Там мы долго стояли, устраивали перекличку, составляли списки, опять стояли... Наконец приехали четыре казака, и под их конвоем нас погнали пешком по направлению к фронту.

— Ведем вас в дивизионный лазарет,— успокаивали нас казаки.

Нас повели по каменистой, изрытой, ухабистой дороге. Многочисленные ямы были наполнены дождевой водой. Всюду валялись банки из-под консервов, разное тряпье и падаль.

Часто попадались братские могилы.

На десятиминутной стоянке я подошел к одной из могил и прочел написанные дегтем на фанерной доске имена и фамилии погребенных. Всего было двадцать семь человек, все из команды разведчиков Четвертого полка.

Внизу: красовалась надпись:

«Спите спокойно, герои отечества».

Прочтя эту надпись, я невольно вспомнил книгу «Герои отечества» (автор — Ф. Т.). Это была история башкирских солдат, посланных русским царем для подавления революции в Венгрии.

Я с негодованием подумал об этом авторе. Он воспевал отечество в напыщенном стиле, не понимая, о чем он пишет.

«А чорт его знает? — мелькнуло в голове. — Может быть, понимал и преследовал какие-то личные цели?»

Вечерело. Мы прошли несколько деревень. Жизнь в них замерла, дома разрушены, людей почти не видно. Наконец мы остановились в маленькой деревушке, расположенной на берегу реки, в стороне от большой дороги.

Прежде чем разместиться по квартирам, нас снова проверили по списку.

Я устроился вместе с Наседкиным и Бродским. Хозяйка квартиры встретила нас неприветливо. В доме, кроме нее, была дочь, девушка лет двадцати, и несколько детишек.

На все наши вопросы женщина отвечала неохотно и односложно:

— Не знаю.

Мы сходили за водой, вскипятили чай во дворе и сели ужинать, пригласив также хозяйку и ее дочь. Мы дали им хлеба и сахару, они сначала отнекивались, но потом сели с нами.

Хозяйка стала приветливее и рассказала нам, что муж ее на фронте: австрийцы во время отступления увели единственную корову, и теперь они живут впроголодь. Недавно у них остановились артиллеристы и приставали к ней и к дочери.

Наседкин достал из вещевого мешка кофточку.

— Долго берег, думал — на исподнее белье пригодится, да, видать, не подойдет. Возьмите,—и он протянул кофточку хозяйке.

Хозяйка стала отказываться,— она, видимо, подозревала, что у нас тоже грязные намерения, но мы с Бродским стали ее уговаривать. Она наконец поверила в нашу искренность и бескорыстие и взяла кофточку. Затем она сварила нам картошку, дала какую-то подстилку, и мы легли спать.

На другой день в сумерки мы пришли в Новый Самбор. Небольшой город выглядел необычайно чистым и приятным после разрушенных деревень и местечек. Он совершенно не пострадал от войны. На улицах было много народу, преимущественно русских офицеров и солдат. Местное население состояло из поляков и евреев, изредка попадались и русские купцы.

Вблизи были отчетливо видны Карпатские горы.

Нас разместили в городском театре. Казаков сменили солдаты, которые нас не очень строго караулили, и мы могли отлучаться без особых трудностей.

Когда мы направлялись к выходу, караульные нас предупредили:

— Идите, землячки, только старайтесь не попадаться на глаза офицерам, а пуще всего берегитесь хромого подполковника. Коли увидите его — так бегите, и если окликнет — не останавливайтесь, а то попадет.

Хорошее отношение караульных нас несколько успокоило. Мы опасались, что нас совсем не будут выпускать. Ходили тревожные слухи:

— Легко раненых поведут на позиции.

— Царь приказал легко раненых оставлять на позициях: их, дескать, все равно заберут австрийцы и положат в свои лазареты. А то они сами себя ранят в руки.

— А куда же девать раненых в ноги? Царь насчет этого не говорил?

Вечером зажгли электричество. Яркий свет нас обрадовал, мы уже давно отвыкли даже от керосиновой коптилки.

Настроение было приподнятое, праздничное. Все оживленно разговаривали, некоторые играли в «двадцать одно».

Бродский подсел ко мне и сказал, что здание театра напоминает ему театр в Одессе, где он провел детство и учился в гимназии. Он мне долго рассказывал о годах своей юности.

Ранним утром, рассчитывая, что офицеры еще спят, мы с Бродским отправились в город. Мы свернули к базару. Впереди нас шли два солдата, на вид совершенно здоровые. Вдруг они бросились бежать изо всех сил и вскоре скрылись за углом.

В этот же миг мы услышали пискливый голос:

— Стойте, сукины сыны, остановитесь!

Мы увидели подполковника. «Это тот самый»,— сразу пронеслось в моей голове.

Подполковник опирался на палку, а в другой руке держал цепь, к которой был привязан белый пудель.

— Стойте, сукины сыны!— крикнул он еще раз, но, видя, что солдаты скрылись, расхохотался и проговорил сквозь смех:

— Сукины дети, а молодцы!

Мы незаметно проскользнули мимо него.

Когда мы вернулись в театр, вошел солдат и сказал:

— Выходите с вещами и стройтесь у дома коменданта.

Наседкин, укладывая вещи в мешок, сказал, улыбаясь:

— Когда в тюрьме говорят «с вещами в контору»— это значит направляют на этап, а когда нашему брату велят строиться с вещами — значит погонят в окопы.

Когда мы вышли на улицу, Наседкин шепнул мне и Бродскому:

— Братцы, я тут разнюхал что̀ и как, и решил остаться. Вы тоже оставайтесь, а там видно будет.

Раненые начали строиться, но Наседкина среди них не было.

Нас держали в строю долго, как обычно. Из канцелярии коменданта вышел писарь и начал перекличку. Не хватало еще двадцати человек.

Мы обратили внимание на то, что в ворота на противоположной улице все время входили солдаты и не возвращались оттуда.

— Это, очевидно, проходной двор,— шепнул мне Бродский.—Пойду проверю.

Он ушел и через минуту вернулся и шепнул мне, что через ворота можно попасть на другую улицу.

Было холодно и сыро. Раненые зябли и переступали с ноги на ногу. Вскоре подошли два солдата с берданками в руках: скомандовали построиться по четыре.

— Поведем вас в лазарет в Станислав,— сказал один из них, показывая толстый пакет с сургучной печатью.

Раненые начали строиться. В это время мы с Бродским юркнули в ворота, вышли на другую улицу и спешно направились на вокзал.

Когда мы подходили к вокзалу, от станции отошел санитарный поезд. Бродский бросился к нему, но, решив, что я не поспею за ним, остановился.

Мы вошли в здание вокзала. В большом зале, где раньше был буфет, возилась высокая худощавая сестра. В шкафах мы заметили консервные банки, булки, бутылки.

Это был пункт Красного креста.

— Здравствуйте, солдатики, — обратилась к нам сестра.—Вы откуда? От поезда отстали?

Мы сначала немного растерялись, но подсказанный ею ответ вывел нас из неловкого положения.

— Да, сестричка, отстали от санитарного поезда: мы страдаем поносом, в уборной задержались...

Сестра усадила нас на скамейку и, подойдя к двери, ведущей в соседнюю комнату, крикнула:

— Дмитрий!

В дверях появился безусый солдат.

— Принеси две кружки черного кофе.

Затем она налила два стакана крепкого вина и подала нам.

— Пейте вино и кофе. Это вам поможет... Боже, да на вас совсем лица нет. Потом я вам сделаю перевязку и отправлю в местный лазарет.

Бродский изобразил на лице боль, поглаживая свою зажившую руку. Я еле ступал, хотя перед этим прошел около шестидесяти километров.

Вино разогрело нас. Потом мы выпили кофе и съели суп с белым хлебом.

— При поносе черный хлеб есть нельзя,— строго сказала сестра, и мы с ней охотно согласились.

Сестра заготовила бумаги для лазарета, но не было врача, который должен был их подписать.

Подождав немного, она отправила бумаги на подпись к врачу на дом, и вскоре мы шли по улице в сопровождении санитара.

— По тротуару солдатам нельзя итти. А когда офицера встретим, я буду командовать «смирно», и вы поворачивайте головы.

Наш санитар так усердствовал, что у ворот лазарета скомандовал «смирно», когда мы поровнялись с каким-то

рядовым гусаром, неизвестно почему надевшим парадный доломан.

— Ну, земляк, чего ты...— усмехнулся гусар, и потом мы уже вместе от души смеялись над незадачливым «командиром».

Лазарет помещался в белом двухэтажном доме с башней, похожей на колокольню. До войны здесь был польский женский монастырь.

Потом я узнал, что монастырь этот был построен с таким расчетом, чтоб в случае нужды его можно было немедленно использовать под лазарет.

Монашки остались после отступления австрийцев, и Земский союз организовал в монастыре лазарет.

Нас приняла сестра Антонина, монашка. С нами она говорила по-русски, с обслуживающим персоналом — по-польски.

Нас раздели, помыли, дали больничную одежду, и когда мы легли в чистые кровати,— убедились, что сейчас мы действительно находимся в настоящем лазарете.

В нашей палате было четырнадцать человек. Кругом раздавались стоны и крики. Особенно беспокоил всех один босняк [1], раненый в спину и ягодицы.

Оказывается, мы попали в палату для тяжело раненых.

Утром нам дали чай, сахар, белый хлеб. Потом начался врачебный обход.

Хромой врач, подойдя к Бродскому, взглянул на него с удивлением и спросил:

— Кого я вижу? Ты ли это, Гриша?

— Абрам Исакович!.. Да, да, это я...

Бродский был знаком с этим врачом еще в Одессе.

Это знакомство для нас было весьма кстати.

После перевязки нас двоих перевели из палаты для тяжело раненых в комнату, где жили три санитара и артельщик.

Они лечились в этом же лазарете и, когда выздоровели, были оставлены для работы.

Артельщик принимал съестные припасы от подрядчи-

---

[1] Босняки — жители Боснии, тогда входившей в состав Австро-Венгрии.

ков, санитары переносили раненых и раздавали им обед. Свободное время проводили в карточной игре, рассказывали анекдоты.

Один из них, высокий длиннобородый солдат Филатов, особенно любил еврейские анекдоты.

Второй, украинец Филипп, служивший раньше кучером у еврейского купца в Киеве, перебивал Филатова, когда он начинал вышучивать евреев, и спрашивал:

— Ты скажи, какой это был еврей?.. Они разные бывают. Среди русских, особенно богачей, есть тоже разные. Вот, например, хозяин мой, Абрам Хаимович,— тот, конечно, плохой человек. А портной Мишка — парень хоть куда! Семья у Мишки — девять человек, все целыми днями шили, а еле хватало на харчи. Мишка, бывало, просит у хозяина: «Абрам Хаимович, прибавьте хоть немножко». А тот смеется и говорит: «Ты ведь сам еврей, зачем же ты такой жадный? Раввин говорит, что жадность — это грех». А дома у него угощаются чиновники из полиции и городской управы. Абрам перед ними старается: «Наши евреи плохо подчиняются хозяевам. Даешь им работу, а им все мало, прибавку выклянчивают. Вот у меня кучер Филипп, так он согласен круглые сутки работать за рюмку водки». Вот он какой. Мне это горничная после рассказывала. А Мишка — тот душа-человек.

Филатов сердито ворчал:

— Христа они распяли, понял? Брось!

Но Филипп не унимался:

— А вот еще студент к хозяину ходил, детей его учил, еврей тоже — душевный был человек. Худой такой, в лице ни кровинки — видать, досыта никогда не ел. А как деньги от купца получит, приходит ко мне и дает: «На,— говорит,— тебе, Филипп, на табачок». Студент этот против царя говорил. Ну, купец узнал про это и жандармам донес. Его, беднягу, в тюрьму посадили... Вот видишь, разные евреи бывают.

Но Филатов сердито ворчал. А когда Бродского тоже назначили санитаром, Филатов еще больше окрысился. Чего-чего только не придумывал он по злобе своей, чтоб причинить неприятность Бродскому.

Однажды я не сдержался и сказал Филатову:

— Ведь только недавно ты говорил, что Россию никто не победит, а у австрийцев мы всю землю заберем.

— Вот из-за них... А если дальше так будет, то и на фронте ничего не сделаем!— рассвирепел Филатов.

Я больше не стал с ним говорить.

Бродский выполнял легкую работу: раздевал прибывших раненых и больных, дезинфицировал одежду. Раненых он еще не носил: болела рука, и он не мог поднимать тяжести.

Через месяц и я стал санитаром.

Филатов считал меня почему-то турком и начал ругать турок, говоря, что их нужно убивать, как собак.

И мне и Бродскому надоела жизнь в лазарете, работа санитаров была трудной и неприятной.

Мы носили обеды из кухни, кололи и таскали дрова, мыли полы в коридоре и палатах.

Но самой неприятной обязанностью было копать могилы, перетаскивать и хоронить покойников.

А ежедневно умирало не менее десяти-пятнадцати человек тяжело раненых. Людей не хватало. Кроме нас пятерых, весь остальной персонал состоял из нескольких монашек и девушек.

Покойники бывали обезображены: исказившиеся лица, открытые стеклянные глаза. Нас охватывала дрожь, когда мы их перетаскивали,— казалось, что они движутся на носилках. Кроме того, приходилось еще снимать с покойников одежду. Все это было глубоко противно.

Однажды, похоронив трех мадьяр, мы закурили и почти одновременно сказали друг другу:

— Уйдем отсюда.

Бродский предлагал итти в тыл, а я советовал направиться ближе к фронту. Я мотивировал свое предложение тем, что на позициях легче вести работу среди солдат, а в тылу — городовые, кадровые унтера, жандармы, и работу в запасных батальонах вести значительно труднее.

Бродский согласился со мной, и мы решили просить Абрама Исаковича отправить нас на фронт.

За последнее время связь с товарищами была почти прервана. Я получил только одно письмо от Холодовского и два — от Сайкеля. Адрес на конверте был написан малограмотными каракулями. Сайкель знал, что

военная цензура распечатывает все письма, где адрес написан почерком грамотного человека.

Товарищи также находили, что наше пребывание в лазарете не может принести большой пользы делу.

Перед тем как мы оставили лазарет, произошел возмутительный инцидент.

Однажды мы вернулись с базара и принесли в кухню купленную нами солому. В кухне была суматоха.

Одна из девушек, работавших в лазарете,— русская, из Прикарпатья, ей было не больше пятнадцати лет,— громко плакала. Кофточка на ней была разорвана, волосы растрепаны. Монашки ее окружили, успокаивали.

Когда мы вошли, они встретили нас злобными взглядами и рассказали, что девушку изнасиловал Филатов.

На кухню зашел Филипп. Узнав о «подвиге» Филатова, он рассвирепел и побежал в нашу комнату. Мы последовали за ним.

Войдя в комнату, он в два прыжка очутился около Филатова и изо всей силы ударил его по лицу.

— Ах, ты, гадюка! — крикнул он.

— За что?— проскрипел Филатов.

— Сам знаешь, гадина!

В это время в комнату вбежал санитар Севчук и тоже набросился на Филатова. Мы с Бродским тоже не могли удержаться от удовольствия исколотить эту гнусную скотину.

Филатов начал кричать. На шум прибежали врачи и сестры, и мы прекратили драку. Филатов, окровавленный, с трудом поднялся с пола.

— Жиды бьют православных!— крикнул он истошным голосом.

Услышав это, Филипп снова бросился к нему, но сестра удержала его.

В тот же день Филатов скрылся из лазарета.

Мы думали, что его арестуют, предадут полевому суду... но ничуть не бывало. Через три дня после происшествия в лазарете Севчук видел его в гарнизонной пекарне: он там работал.

— Тьфу, сволочи! Ну и начальство у нас! Даже на фронт не отправили...— злобно выругался Филипп.

Он решил вместе со мной и Бродским пти на фронт.

— Лучше умереть с хорошими людьми, чем оставаться с такой сволочью,— сказал он.

О своем намерении отправиться на фронт мы сказали сестре Елизавете, дочери графа. Она сначала посмотрела с удивлением, как бы не веря, а потом несказанно обрадовалась, захохотала во весь голос, захлопала в ладоши и бросилась к хромому врачу.

— Вот они, наши молодцы!— кивнула сестра, вернувшись с врачом.— Я говорила вам, Абрам Исакович, что настроение у наших солдат великолепное. Сами просятся на фронт.

Врач недоумевающе посмотрел на нее и сказал рассеянно:

— Что ж, великолепно... Значит, победа обеспечена.

Нам выдали много всяких вещей, к великой радости Филиппа, который чувствовал себя именинником. Каждый из нас получил сапоги, полушубок, фуфайку, шапку-ушанку, рукавицы, а кроме того две буханки белого хлеба, десять фунтов колбасы, вино, махорку и даже по плитке шоколаду...

Но праздничное настроение Филиппа было неожиданно и основательно испорчено.

Накануне отъезда он решил навестить земляка из четвертого обоза. Он отправился в город, захватив с собой вино. Вернулся он поздно, в одиннадцатом часу вечера, удрученный, разговаривал с самим собой, хватался за голову.

— Что случилось?— спросил я Филиппа.

— Эх, братцы, и не спрашивайте! Беда! И какой горой меня дернуло?.. Прихожу к земляку, а он уехал. Мне бы домой вернуться, а тут одна баба встретилась, подмигнула мне и говорит: «Зайди, москаль, чайку выпить». Я, дурак, и пошел. А тут еще к ней пришла какая-то накрашенная особа. Ну, мы, конечно, выпили малость, закусили. Особа эта, значит, мне подмигивает, придвигается ближе, а хозяйка ушла... Ну, в общем, случился грех... Я этой девице денег дал, и мы домой собрались. Она тут и спросила, где я живу, и, услышав, что в лазарете, рассмеялась и говорит этак весело: «Значит, мы соседи! А я живу в доме рядом с лазаретом».

И убежала. У меня, как я услышал это, в глазах потемнело. Пропал я теперь!

Мы посочувствовали Филиппу.

Большой дом около нашего лазарета был населен бывшими проститутками, которые выбыли из строя благодаря дурной болезни, старости, увечьям. Они доживали здесь последние годы своего тяжелого, неприглядного бытия. До войны обитательниц этого дома было сто пятьдесят человек, а сейчас их число дошло уже до четырехсот. Когда мы проходили около этого страшного дома, женщины высовывались в окна, показывали свои оголенные тела и произносили непристойные слова.

И вот бедняга Филипп встретился с одной из этих женщин.

Он умылся, переоделся и пошел к врачу. Тот ему ничего определенного не сказал, но рекомендовал остаться еще на неделю в лазарете, тогда все выяснится. Филипп согласился с тяжелым сердцем, но огорчение его было так сильно, что он побежал в угол двора и там, уткнувшись в солому, плакал навзрыд, как ребенок. Мы поняли, что его мучают мысли о жене и ребятишках, всячески успокаивали его, обещали прислать письмо. Он надеялся через неделю нас догнать.

На другой день мы с Бродским покинули лазарет.

В ожидании вечернего поезда мы зашли в помещение школы, где застали девять солдат, ехавших на фронт.

Среди них выделялся широкоплечий, молодцеватый Хусаутдинов, остряк и балагур. До войны он был батраком в имении помещика Астафьева в Мензелинском уезде.

— Вот еще землячки явились!— весело крикнул он, когда мы вошли.— Покурить есть?

— Есть.

Он взял у меня махорки и закурил.

Лежавший рядом с ним на лавке вольноопределяющийся попросил его оставить ему покурить.

— Ишь ты, оставь ему! Ты сначала хлыстик свой подвяжи. Небось, кабы войны не было, ругал бы солдат «баранами».

— При чем тут война?— ответил вольноопределяющийся.— Служба царю и отечеству прежде всего.

Хусаутдинов залился смехом.

— Ой, умора! Защищаешь, значит, отечество и православие? Все равно, как тот казак,— он указал рукой на лежавшего в углу оренбургского казака,— татарин и тоже говорит: «православие защищаю». Ха-ха-ха!..

Хусаутдинов посмотрел в нашу сторону и, увидя, что мы роемся в мешке со съестными припасами, весело продолжал:

— Вот новые товарищи, наверное, православие не хотят защищать, как вы, и вас не угостят, а мне, грешному, надо думать, кусочек колбаски дадут...

Казак перебил его:

— Ну, не расходись! Вот Перемышль возьмем, тогда всем покажем.

— Поди-ка возьми! — усмехаясь, возразил Хусаутдинов.— Это тебе не то, что в тылу кур воровать и в сумки прятать. Эх вы, защитники православия! На том свете будет вам мир, а нам наплевать. Мы лучше выпьем и закусим, прежде чем нас укокошат.

Окружающие поглядывали на нас голодными глазами. Бродский достал из сумки вино и колбасу, и мы начали закусывать.

Вскоре все развеселились.

Казак запел свои сакмарские песни, вольноопределяющийся затянул:

Налей, налей, товарищ ..

— А как вы думаете, земляки,— обратился к нам Хусаутдинов,— не лучше ли нам пешком на фронт итти? Заодно погуляем с недельку по деревням. А чего нам спешить?

Вольноопределяющийся объяснил, что это нам невыгодно. Поезд идет только до станции Садовая Вишня. А оттуда до позиции и так придется пройти большое расстояние, и мы изрядно устанем.

Все согласились с его доводами.

В поезде нам пришлось ехать недолго. В вагоне было сравнительно просторно. Кроме нашей компании, там были еще два писаря из штаба дивизии и жена одного офицера. Она с беспокойством расспрашивала каждого встречного, не знает ли он ее мужа, поручика Варламова.

Хусаутдинов, хотя и понятия не имел о Варламове, решил завести с ней разговор:

— Ну, как не знать! Его не только солдаты его роты, но и других полков за отца родного считают.

И он стал перечислять разные приметы поручика, которые в разговоре уже упоминала его жена.

— Однажды его ранили, так солдаты так горевали, так горевали! — продолжал увлекшийся Хусаутдинов.

Жена Варламова, услышав эти слова, побледнела, вскрикнула:

— Боже, он ничего мне не писал о ранении! Он ждет орден Станислава.

Хусаутдинов понял, что зашел слишком далеко, но не растерялся.

— Да вы не беспокойтесь. Ранение, можно сказать, пустяшное. Головка трехдюймового снаряда попала в плечо — и все дело.

Дамочка успокоилась, достала из чемодана сдобные булки, варенье, масло и угостила Хусаутдинова.

Он не заставил себя долго просить, начал с аппетитом поглощать все эти лакомые вещи и только время от времени говорил:

— Неужели все это сами испекли? Ну и булочки! Знаешь, Иван,— обратился он к низенькому солдату,— это та самая булка, которая тебе вчера ночью снилась. Помнишь, ты рассказывал?.. Понимаете,— повернулся он снова к Варламовой,— просыпается он утром и рассказывает, что видел во сне сдобные булочки, описал их, одним словом — совсем, как эти, аж слюнки изо рта текли... Не разрешите ли им по булочке?— закончил он свою длинную речь.

— Пожалуйста, пожалуйста... — торопливо и смущенно сказала Варламова.

Хусаутдинов сейчас же дал нам по булке.

Мы приехали на станцию Садовая Вишня и сразу отправились дальше. Четыре дня мы шли вместе, а затем Бродский, Хусаутдинов, вольноопределяющийся и я пошли влево, остальные свернули вправо.

Мы проходили через деревни, кишмя-кишевшие солдатами, обозами, разными штабами и канцеляриями. Жителей было мало. Напуганные и растерянные, они

смотрели на всех подозрительно и исподлобья, ожидая, видимо, только зла от всех и каждого.

— Сначала свои грабили, пришли русские и тоже грабили, а теперь уж и грабить нечего,— жаловались они.

Мы узнали, что наша дивизия находится в Карпатах: итти нам еще осталось добрых пятьдесят километров. Это известие нас мало утешило. Дороги были изрыты, мы утопали в жидкой грязи. Было холодно и сыро.

В деревне, где находилась канцелярия этапного коменданта, мы получили точные указания о дальнейшем маршруте. Здесь же покинул нас Хусаутдинов. Он обещал нам вести разъяснительную работу среди солдат на фронте.

Мы с Бродским отправились по крутой каменистой дороге по отрогам Карпатских гор. Склоны гор были покрыты густым лесом, на вершине белел снег. Больших селений не было, попадались только мелкие хуторки по пять-десять дворов. Жили в них главным образом русины.

Вскоре мы пришли в город Дукло. Он растянулся узкой лентой в долине, имел всего одну большую улицу. На окраине высились цементные и винокуренные заводы, давно уже не работавшие. Склады и заводы были разгромлены, на земле валялись обломки оконных рам, дверей. Жителей почти не было.

В этом городе я расстался с Бродским. Его полк находился в другом направлении.

Я знал, что недалеко отсюда, в каком-то имении, находился штаб дивизии, где работал Сайкель, и решил его повидать.

С трудом отыскал я имение, но попасть туда было не так просто.

Караульный остановил меня у ворот:

— Чего тебе здесь надо?

— Тут мой земляк. Повидать хочу.

— Много тут земляков найдется! — сердито проворчал караульный.— Сейчас начальство новое и строгое, никого не велят пропускать. А ты думаешь, мне охота из-за тебя на розги налетать?

Я свернул цыгарку и закурил, а сам посматривал на караульного. А он с жадностью на табак глядит и все назад озирается.

— Закурим, землячок,— предложил я.

Караульный начал торопливо скручивать папироску.

— Четыре дня, как не курил,— сказал он смягченным тоном.

— А ты какой роты?

— Одиннадцатой.

Я вспомнил, что в одиннадцатой роте у меня был земляк Хайретдинов, и спросил о нем караульного.

— Как же, как же, знаю! Он со мной в одном отделении. Сейчас он в карауле у денежного ящика, а в двенадцать часов сменится.

Караульный уже забыл о запрещении и сам подробно объяснил мне, где я смогу найти Хайретдинова. Около дверей большого красивого дома я спросил у встретившегося писаря, как мне найти Сайкеля.

— А зачем его тебе?— спросил он, подозрительно осмотрев меня с головы до ног.

— Я у него деньги занял, вернуть хочу,— выпалил я первую пришедшую мне в голову причину.

— Эх ты, дуралей, кто же на фронте деньги отдает!

Но тут показался сам Сайкель.

Мы пожали друг другу руки, отошли к сараю и там крепко обнялись.

— Ну, как живешь, что делаешь? Нехорошо, брат, что ты долго очень в лазарете канителился. Людей нет. В дивизии один Холодовский остался. Старых солдат мало. Даже офицеры пожилые — и те в тыл удрали. И Глыба ваш тоже улизнул под предлогом болезни. Гринберг, Чернов и Морозов попали в плен... Вот видишь, какие дела. А сейчас к нам пригнали белобилетников, надо с ними начать работу.

— Ну, а что слышно о Германе?

— С Германом нехорошо,— ответил Сайкель, покачав головой.— Он работал в штабе корпуса, но в последнее время работу почти совсем забросил, а больше играет в «двадцать одно».

Мы помолчали.

— Да,— снова заговорил Сайкель,— время трудное. Полевые суды свирепствуют. Солдат секут розгами. В штабах полков охранники: они прибывают под видом военных чиновников. Между прочим, недавно мы полу-

чили список штрафных из Волынска, и в нем ты тоже значился, только полк не тот указали. Когда стали размножать этот список для рассылки в полки, я твою фамилию изменил и написал «Афанасий Тигор». Но ты берегись... А теперь мне надо в канцелярию. Ты иди, а вечером встретимся.

Мы попрощались, и я пошел разыскивать своего земляка Хайретдинова.

Хайретдинов был настроен радостно, рассказал мне, что был легко ранен в ногу осколком шрапнели, но решил, что его все равно домой не отпустят, и поэтому остался в обозе,— все же лучше, чем в лазарете. А теперь его представили к серебряной медали.

— Так вот ты, значит, медали радуешься?— спросил я его с укоризной.— Думаешь этой медалью новый дом построить? У твоего отца кибитка почти совсем сгнила. Или ваш богатый Исаак вернет тебе землю за то, что ты герой?.. Шалишь, братец!

Хайретдинов задумался. Радостное настроение его сменилось грустью, и он тихо начал напевать какую-то жалобную песню:

Посеял я лен, он не уродился,
Борозды мои пустовали.
Много работал я на помещика,
А счастья все нет и нет...

— От помещика счастья не жди,— сказал я.

— Верно, пожалуй,— задумчиво протянул Хайретдинов.— Сколько ни работай, и в непогоду и в морозы, а благодарности никакой, и харчи тоже не очень сытные.

— А война тоже нужна только помещикам. Ну, а ты от нее пользы не жди. Надо это разъяснять товарищам. Не воевать нам надо, а землю забрать у помещиков, тогда нам лучше будет.

— Верно, друг, вся хорошая земля у помещиков.

Мы еще долго говорили с ним, потом пошли обедать. Вечером встретились с Сайкелем и до глубокой ночи вели беседу о предстоящей работе.

Я шел один по горной дороге, покрытой снегом.

Ноги еле двигались, и от одиночества путь казался мне особенно долгим и утомительным.

Мысли путались в голове. Ни одной из них я не додумывал до конца. Особенно волновали думы о фронте, о предстоящей борьбе, о миллионах солдат в окопах, об их печальной участи.

Я несколько раз останавливался, чтобы закурить, переменить портянки. Ноги озябли. Хотелось побыть в тепле, но нигде не видно было жилья.

Гул орудий возвестил о близости фронта.

Стук колес проезжавшей телеги отвлек меня от моих грустных мыслей.

На телеге ехали трое, и лошадьми правил кривоногий Макар, нестроевой солдат из обоза нашего полка. Мы сразу узнали друг друга.

— Здорово, земляк! — приветствовал он меня.— Ты ведь, кажется, из четырнадцатой роты? На прошлой неделе всю вашу роту взяли в плен.

Один из спутников Макара, вольноопределяющийся в очках, спросил меня:

— Откуда?

— Из лазарета.

— А-а... Ну, иди, иди скорее.

— И вы тоже на фронт спешите?— сказал я им.

— Спешим.

Потом Макар мне рассказал, что это были корреспонденты газет.

В деревне, где находился штаб полка, я встретился с Фатхетдиновым. Он работал на кухне кашеваром. Холодовский попрежнему был писарем в штабе полка, Богомолов — каптенармусом.

Больше никого из старых знакомых не было. Всюду новые лица.

Мы решили отпраздновать мое возвращение.

Фатхетдинов сварил картошку, вскипятил чай. Богомолов принес каравай белого хлеба, я достал из сумки бутылку вина, и мы устроили настоящее пиршество. Все трое, перебивая друг друга, спешили мне выложить новости фронтовой жизни.

— Теперь легче стало. Ротный командир — не чета Глыбе, простой парень. Фельдфебель тоже новый; Курганов исчез куда-то.

— Один я остался,— печально сказал Фатхетдинов.—

Суров попал в плен, Акимкин тяжело ранен, Ковальчук убит. Спасибо Мишке: как ушел Глыба и повар заболел — взял меня к себе. Он парень хороший. Боюсь только, что заважничает, как унтером сделается...

Я прожил с товарищами еще четыре дня. Уходить не хотелось.

По вечерам к нам на кухню приходили солдаты за хлебом, а днем никто не тревожил.

Вдали громыхала неприятельская артиллерия, и наша батарея, расположенная около деревни, изредка отстреливалась.

К вечеру стрельба прекращалась.

Однажды совершенно неожиданно из окопов пришел новый фельдфебель нашей роты.

— Ты чего радуешься,— письмо, что ли, получил?— обратился он к улыбавшемуся Фатхетдинову.

— Нет, друг вернулся из лазарета,— неосторожно ответил Фатхетдинов.

Но фельдфебель уже заметил меня.

— Когда вернулся?

— Вчера.

— Сегодня явись в роту.

— Разрешите, господин фельдфебель, на денек остаться? Я белье выстирал, оно мокрое... а завтра явлюсь.

На следующий день опять явились солдаты из окопов. Среди них были мещеряки из Пензенской и Тамбовской губерний.

Холодовский и Богомолов щедро снабжали их хлебом, вареным мясом, сахаром. Потом разговорились.

— Вот это старый солдат, — указывая на меня, сказал Холодовский. — Вы держитесь около него поближе, с ним не пропадете.

Молодой парень, Каратанов, объяснил мне, где расположена наша рота, и рассказал, что новый командир роты — большой любитель поспать и при каждом удобном случае ложится подремать.

— Стало быть, рота не очень много патронов расходует?— сказал я.

Каратанов улыбнулся и кивнул головой. Перед уходом я долго беседовал с Холодовским о делах, о полковом кружке и новых кандидатах в члены кружка.

— Знаешь ли ты каптенармуса шестнадцатой роты унтера Качанова? — спросил Холодовский.— Хороший парень. По-моему, его надо принять.

Я согласился.

Мы попрощались, и я отправился в путь с солдатами, пришедшими из окопов за продуктами.

В ОКОПАХ

Ночь темная. Выпавший днем снег заледенел. Итти по узкой тропинке было трудно, скользили ноги. Дорога шла по узкой лощине в горах.

Кругом безлюдье. Только жужжание и свист пуль напоминали, что где-то совсем близко лежит в окопах масса людей. Изредка доносились и орудийные выстрелы.

Богомолов говорил, что до окопов нам придется пройти не более четырех-пяти километров, но нам казалось, что расстояние значительно больше.

Мы даже три раза останавливались отдохнуть и покурить; лощина казалась бесконечной, и кругом были видны только лесистые склоны гор.

Наконец послышался чей-то приглушенный разговор, и мелькнул огонек папиросы. Каратанов сказал, что здесь помещается землянка батальонного командира.

У прикрытых дверей землянки стоял караул. Проходя мимо, мы увидели там несколько офицеров, игравших в карты.

— И наш ротный тут,— сказал Каратанов, когда мы отошли дальше.— Он — русский человек, но плохо выговаривает букву «р». «Фасонит», может быть, а по чину всего только прапор.

Дошли до фельдфебельской землянки, тоже вырытой подле окопов, с которыми она была соединена двумя узкими проходами. По ним можно было ходить, только согнувшись.

Фельдфебель, увидя меня, сказал:

— Ну, вот и ты! Иди в четвертый взвод и явись к взводному Родионову. Учить тебя не надо, ты старый вояка, да и Холодовский тебя хвалил.

Я сказал фельдфебелю, что у меня нет винтовки, и похвалил свою старую винтовку, из которой я, впрочем,

стрелял не больше двух раз. Фельдфебеля моя фраза привела в восторг.

— Вот это — солдат! Прежде всего о винтовке заботится! Выбирай любую.

Мы зашли в землянку фельдфебеля. В углу я заметил около двух десятков разных винтовок, были среди них и австрийские. Я выбрал себе кавалерийскую. Фельдфебель дал мне четыре пачки патронов.

Затем мы с Каратановым отправились в четвертый взвод.

Окопы вырыты неглубоко, зигзагами, земля местами почему-то выброшена в тыловую сторону. Бойницы были не везде.

Перед окопами тянулись проволочные заграждения. Впереди — открытая поляна.

Солдаты лежали в окопах, зарывшись, как кроты, и подостлав под себя солому и сухие ветви. Другие сидели скорчившись, словно в оцепенении. Взводный тоже лежал, укрытый шинелью и палаткой.

— Господин взводный! — сказал Каратанов.

— Чего тебе?— послышалось бормотанье.

— Пришел.

Взводный, подумав, что явился какой-нибудь начальник, вскочил и поправил фуражку. Но увидя меня с винтовкой в руках и вещевым мешком за спиной, оправился и спросил:

— Фамилия? В каком отделении раньше состоял?

Я ответил.

— Ладно. Ступай в четвертое отделение.

Мы отправились.

В четвертом отделении рядом со мной справа помещался молодой солдат из Борисоглебского уезда, Семушкин, а влево — молдаванин из Бессарабии, Мельников.

Они то вставали и подпрыгивали, чтоб согреть ноги, то размахивали руками и снова ложились.

На моем месте вчера еще лежал солдатик из Тамбовской губернии. На рассвете он вылез из окопов и начал шарить по карманам убитых. Не успел он пройти полсотни шагов, как его настигла пуля, и в обед он скончался.

Я решил углубить свое место в окопе и, взяв лопатку, тут же принялся за дело.

Мельников одобрил мою предприимчивость.

— Правильно делаешь, что на других не надеешься, а то и двух дней не проживешь в этом аду. Эти стервецы мадьяры целый день стреляют, как бешеные, только по вечерам тише делается: понапиваются рома и поют.

— А может быть, и не напиваются, а просто со скуки поют? — заметил я.

— А кто их знает? Ведь они тоже люди, скучают, небось. Ротный нам говорил, что перед атакой им выдают водку и они напиваются так, что звереют. Потому, дескать, и не берут в плен русских солдат, а убивают их на месте.

— А ротный у них был, что ли? Откуда он все это знает?

— Где ему быть? Он только десять дней на фронте.

— Молодой, но, поди, уже научился солдатскую кровь пить.

— Все они одинаковы: издеваются над нашим братом, и все тут.

— А попы — тоже черти долгогривые! Намедни четвертую роту вывели среди бела дня из окопов, и она, почитай, вся легла под огнем австрияков. Трое только в живых остались. Один унтер не выдержал и сказал: «Так погубить роту могут только офицеры, не понимающие военного дела», а поп ему возразил: «Офицеры, братец, не при чем. Люди пали жертвой за веру, царя и отечество. А людей у нас много, всех не перебьют. Сегодня тысячи не стало, а завтра царь-батюшка еще десять тысяч пришлет». Вот так поп! Да еще и с усмешкой это все выговорил.

— А ты что думал? — сказал я: — Что, попу солдат жалко? И попы, и офицеры, и богачи вместе с царем — одного поля ягоды.

Все задумались, я тоже замолчал...

Перед рассветом мороз усилился. Закоченели ноги и руки.

Даже цыгарку нельзя было свернуть — пальцы не повиновались.

Ненадолго выглянуло из-за деревьев скупое январ-

ское солнце и осветило поляну, проволочные заграждения и небольшую рощу, где залегли австрийцы. На поляне виднелись темные пятна, похожие на кочки или пни,— это были неубранные трупы убитых.

Австрийцы открыли огонь. Все чаще и чаще стали разрываться снаряды, гул усиливался, и вдруг на линии второго взвода один за другим разорвались четыре мортирных снаряда.

Через несколько минут два солдата из этого взвода без винтовок и сумок приползли к нам. Лица у них были серые, они тяжело дышали.

— Кроме нас двоих, все погребены под землей...— произнес один из них.

Я разыскал Родионова и предупредил его, что больше нельзя оставаться здесь, иначе гибель неминуема...

— Надо срочно сообщить ротному командиру о создавшемся положении.

— Кого же послать к нему?

— Поняли меня.

— Валяй!

Я пополз по узкому проходу к землянке фельдфебеля. Не успел я проползти и ста шагов, как невдалеке разорвался снаряд, засыпав меня градом земли, камней, щепок. Я почувствовал сильный удар в плечо, в глазах потемнело, и несколько мгновений я ничего не мог сообразить. Когда я пришел в себя, оказалось, что я цел и невредим, и, немного оправившись, побежал дальше. Фельдфебеля в землянке не оказалось, и я направился к ротному командиру.

Ротный говорил по телефону, повидимому с командиром батальона.

— Моя рота держится стойко, Александр Павлович, убитых и раненых нет,— услышал я слова ротного.

Я решил прервать его.

— Разрешите доложить, ваше благородие,— второй взвод уничтожен разорвавшимся снарядом, в живых осталось только двое.

Прапорщик задрожал и быстро заговорил в телефонную трубку:

— Вы слушаете, Александр Павлович?.. При обходе роты, совсем недавно, все было благополучно, как я

уже вам доложил. А сейчас получил сообщение о гибели второго взвода... Что?.. Да. Слушаюсь.

Он сердито повесил трубку и поверх очков посмотрел на меня:

— Ты чего торчишь, как столб? Почему не доложили раньше, что снаряд разорвался?

Мне хотелось рассмеяться и сказать ему, что австрийцы нас не предупредили, по какому взводу они будут стрелять.

— А взводный где?

— Я не из второго взвода, не могу знать.

Командир взял карандаш и что-то записал в блокнот.

— Можно итти? — спросил я.

— Иди.

Я направился к выходу, но ротный окликнул меня:

— Подожди, пойдем вместе.

Мы вышли из землянки. Снаряды разрывались часто, и ротный при каждом взрыве поспешно ложился на землю. Я шел впереди, он медленно плелся за мной.

Я осторожно заметил командиру, что окопы наши слишком выдвинуты вперед, роту надо отвести назад, в более низкое место.

— С какой маршевой ротой ты явился сюда? — буркнул он.

— Я не с маршевой.

А давно служишь?

— Четвертый год, в той же роте.

Он посмотрел на меня снисходительней и потом повернул голову в ту сторону, куда я предлагал отвести роту.

— Пожалуй, правильно.

Рота отступила на двести шагов назад. В прежней линии окопов остались только сторожевые.

Канонада затихла только к вечеру. Атаки не было, и солдаты немного успокоились и закурили.

Несколько солдат пятнадцатой роты заблудились в потемках и набрели на наш взвод. Среди них оказался мой односельчанин Сагадатгирей. Он обещал зайти ко мне поболтать.

Мы хотели лечь спать, но холод пробирал насквозь, и невозможно было долго пролежать на одном месте.

Я пошел в третий взвод побеседовать с земляками.

Узнав, что я недавно вернулся из лазарета, на меня набросились с обычными вопросами:

— Скоро ли будет мир?

— Выдают ли женам пособие?

— А ты не слыхал,— говорят, царица сына родила?

— О мире и не думайте,— ответил я.— В газетах пишут, что пока не уничтожим Германию и Турцию, мира не будет. А родила царица или нет — от этого всем легче не станет.

— Да, плохи наши дела.

— Вот уже три месяца, как наша рота не вылезает из окопов. Хоть бы недельку отдохнуть!

Я поддержал их; попутно рассказал, как в тылу кутят офицеры, как сынки богачей околачиваются в лазаретах и не нюхают фронта.

На другой день около места, где мы обычно кипятили чай, собралось несколько десятков солдат — не только нашей, но также и двенадцатой и пятнадцатой рот.

Мы разговорились.

Я рассказал им о причинах войны, почему она выгодна капиталистам и помещикам, о том, как разрушается хозяйство крестьян.

— И мы, рабочие и крестьяне разных государств, избиваем и калечим друг друга, чтоб еще больше обогатить помещиков, купцов и фабрикантов всех стран,— закончил я.

Солдаты слушали меня с напряженным вниманием, сосредоточенно думали, когда я кончил, и вставляли отдельные замечания.

— Да, говорили сначала, что мы нашу землю защищаем от врагов, а сами на ихней земле сидим, так еще и этого мало, подавай больше.

— И у австрийских мужиков земли — кот наплакал: осьминник кукурузы да столько же картошки. От такого посева не разживешься.

— Надо богу молиться,— мрачно заметил высокий солдат из Вологодской губернии.

Но на него сейчас же набросились:

— Молиться некогда! Спроси попа, он говорит — сражаться надо.

— Черти долгогривые!

— А мир все обещают то к рождеству, то к по крову а теперь уже к пасхе.

— Нет, товарищи, пока мы сами против офицеров и помещиков не пойдем, мира не завоюем, ничего не будет.

Солдаты внимательно смотрели на меня, некоторые испуганно озирались по сторонам, но никто не возразил.

Это уже было много. С тех пор и слово «товарищ» часто слышалось в солдатской беседе...

Наступил март. Солнце пригревало все чаще и чаще, таял снег, дни заметно увеличились.

Весна нам не принесла ничего радостного. Хуже стали кормить, белого хлеба совсем не стало, сахар не давали целыми неделями.

Рота наша таяла. В ней насчитывалось не больше ста двадцати человек, и каждый день два-три уходили по болезни.

Наш ротный командир удрал в тыл под предлогом «болезни». Вместо него назначили чернобородого поручика, который отчаянно ругался, и это было, кажется, его излюбленное занятие.

Его денщик, тоже чернобородый, неотступно следовал за ним по пятам, как верный пес. Этот денщик часто вертелся среди солдат, угощал их табаком и старался завязать дружбу то с тем, то с другим.

13 марта, в теплый, солнечный день, приказали нам собраться и быть наготове.

Многие обрадовались, полагая, что нас поведут на отдых.

Нас вывели повзводно на открытую поляну. Здесь были окопы, оставленные австрийцами, и многие спустились туда, но командир, яростно ругаясь, приказал вылезти обратно.

Австрийцы, казалось, только и ждали этого момента и начали осыпать шрапнелью.

— Ложись!— скомандовал командир.

Мы поняли, что лечь на открытом месте, освещенном ярким светом, это значит больше не встать,— неприятельская артиллерия нас уничтожит без особого труда. Поэтому наш четвертый взвод, а за ним следом третий и второй побежали в лес.

Только первый взвод, услышав команду горе-командира, бросился на землю.

Мы добежали, укрылись в лесу и смотрели, как австрийцы по-одному скашивают наш первый взвод.

В это время осколок снаряда угодил в голову поручика, и он упал замертво.

Тогда только несколько оставшихся в живых солдат первого взвода приплелись к нам.

В сумерки наступило затишье.

Ротный еще раньше выделил меня и четверых других солдат подбирать раненых.

По дороге мы натолкнулись на убитого командира, и я взял его сумку: в ней были блокнот, карандаш и еще какие-то бумаги.

Когда мы убрали раненых и сдали их санитарам в деревне, я разыскал Холодовского и рассказал ему про «подвиг» командира. Затем мы внимательно рассмотрели содержимое его сумки. Наше внимание привлекла тетрадь, вся исписанная почерком малограмотного человека.

На первой странице значилось:

«12 марта Иван Харитонов из Балашовской волости Тамбовской губернии писал домой, что кормят плохо, десять дней не видим горячей пищи. Пришлите посылку и продайте телку, все равно отберут в казну».

Дальше было написано:

«13 марта днем, когда кипятили воду, солдат четвертого взвода Петр Мельников ругал офицеров и царя, говорил, что в 1905 году надо было царя сбросить с престола.

Главные зачинщики — Шакиров и Мельников. Шакиров пишет письма солдатам пятнадцатой роты — башкирам и татарам — против войны, ругает попов, говорит, что война ведется в интересах богачей».

Подобными записями была заполнена вся тетрадь. Я вспомнил рябого денщика и заподозрил, что эти за-

писи — дело его рук. И точно, когда он принес тело убитого командира, он прежде всего разбудил нас:

— Сумки командира не видели? Там тетрадь была — дневник его, надо жене отвезти. Я завтра к ней еду.

— Ничего мы насчет тетради не знаем. Отвяжись!

Рябой уговаривал, испытующе поглядывая на нас, и я уже больше не сомневался, что перед нами охранник. Я сказал о своих подозрениях Холодовскому, Мельникову и Фатхетдинову. Они были того же мнения, и мы решили, что надо этого негодяя убрать.

Рябой появился вечером и сказал Богомолову, что сходит на позиции, а утром вернется и поедет в Россию. Ночью он ушел. Мельников, захватив у Фатхетдинова отточенный австрийский штык (Фатхетдинов отточил его, чтобы резать мясо), тоже отправился на позиции.

Командование ротой было поручено полуротному Игнатьеву.

Ночью он повел нас вперед. Вместе с нами двинулась и пятнадцатая рота. Сначала мы шли лесом, потом спустились в ложбину, затем начали взбираться на гору.

Вдруг мы наткнулись на проволочные заграждения. Несколько мгновений спустя австрийцы открыли бешеный огонь из пулеметов и винтовок, пустили также в ход бомбометы. Наша рота бросилась в ложбину, не обращая внимания на командира. Он что-то кричал, жестикулировал, но никто его не слушал.

Через полчаса мы уже окопались у подножья горы. Туда же прибежал и командир, раненый в руку. В роте раненых не было.

На другой день командир послал батальонному донесение о ночном происшествии:

> «Четырнадцатая рота атаковала австрийские окопы, но ввиду недостаточного количества штыков неприятеля выбить не удалось. Потерь в роте не было. Я ранен в руку. Прошу ваших распоряжений».

Мы долго смеялись над «правдивым» изложением событий нашим доблестным командиром.

Наступило некоторое затишье. Австрийцы днем стреляли мало, лишь по вечерам открывали огонь ненадолго.

Однажды, возвращаясь из деревни с продовольствием, мы наткнулись на рябого денщика. Он лежал на животе, и издали нам показалось, что он спит. Только подойдя ближе, мы увидели его обезображенное лицо и оскаленные зубы,— он был мертв.

— Душа его, видно, к хозяину спешила,— сказал я.

— Собака, а не человек,— мрачно заметил Семушкин.

— А денег у него много? — спросил я у солдата, обшарившего его карман.— Хозяин его Холодовскому пятьдесят рублей должен. Надо бы хоть часть долга отдать. Деньги, наверное, не его, а хозяйские.

У денщика оказалось двести пятьдесят рублей.

В начале апреля получили сообщение о взятии Перемышля. Мы все еще сидели в окопах у подножья горы, отдохнули и настроение у нас было лучше.

Некоторые обрадовались, думая, что скоро мир.

Явился поп и собрал весь полк, чтобы отслужить благодарственный молебен.

— Воины Сорок седьмого полка, наша непобедимая, господом-богом охраняемая армия...— начал гнусавым голосом курносый попик.

Но не успел он сказать фразу, как сразу с треском и грохотом разорвались четыре снаряда.

Полк в мгновение рассеялся, началась суматоха. Поп куда-то исчез.

Австрийцы больше не стреляли, и в окопах завязалась беседа.

— Вот тебе и Перемышль!

— Мира захотел! Подождать, видно, придется.

— А поп-то наш расхрабрился.

— Теперь он и смотреть на окопы побоится.

— Говорят, мира не будет, хоть всю землю у австрийцев заберем.

— Эх, а в деревне, поди, уже пахать начинают!

— Скоро пасха, домой бы...

23 апреля стоял теплый солнечный день. Деревья оделись сочной ярко-зеленой листвой, и лесистые склоны Карпат вдали казались покрытыми бархатным ковром.

Наш взвод отправили сменять караул перед позициями. Не прошло и получаса, как нам приказали срочно вернуться в окопы.

Когда мы вернулись, роту вывели из окопов, выстроили, и мы быстрым маршем направились в тыл. Отступив километров на десять, мы вышли на каменистую дорогу. Там нас встретили и другие роты нашего полка.

Ясно было, что мы отступаем по-настоящему: в окопах никого не осталось, в деревнях по пути не встречались больше штабы, кухни, обозы,— все отступили заранее.

Вверху послышалось жужжание аэропланов.

— Это наши,— заметил кто-то успокоительно.

Спустя полчаса по дороге из города Дуклы появился автомобиль. Наш полк почему-то остановился.

В это время показались ряды конницы и пехоты, быстро приближавшиеся к нам. Это были отступавшие Сорок пятый и Сорок шестой полки. Они намеревались отступить через город Дуклы, но австрийцы успели занять город, и путь был отрезан. Они вынуждены были изменить маршрут.

Мы шли по узким каменистым дорогам и лесной чаще.

К полудню все выбились из сил, и старания взводных и отделенных командиров поддержать порядок ни к чему не привели. Шли вразвалку, еле волоча ноги.

Внезапно, около самой дороги, разорвались несколько снарядов, вскоре послышался и свист пролетающих пуль.

После обеда мы спустились с высокой горы на открытую поляну. Вблизи протекала небольшая речка, на берегу ее виднелась деревушка.

Впереди нас шла Девятнадцатая артиллерийская бригада. Она уже подходила к деревне, как вдруг оттуда появились два конных мадьяра и бросились к пехоте, охранявшей орудия. От неожиданности все засуетились, лошади перепугались, и началась суматоха.

Офицеры, выхватив шашки из ножен, что-то невнятно кричали, но, видимо, сами растерялись. Воспользовавшись замешательством, мадьяры скрылись в лесу.

Когда мы спустились с горы и подошли к бригаде, порядок еще не был восстановлен. Валялись опрокинутые повозки, упряжь спутана. В суматохе двое солдат были ранены своими, их поспешно перевязывали.

Командир батареи, изощряясь в ругательствах, разносил фейерверкеров и фельдфебеля.

Мы почти без задержки двинулись дальше и только в сумерки, совершенно изможденные, остановились на отдых в деревне, у подножья высокой горы.

Нас поразил необычайный вид деревни. Она была совершенно не тронута, дома целы, жители — на месте. Измученные солдаты сейчас же легли на земле, сняли мокрые портянки и гимнастерки и с нетерпением ждали обеда.

Вскоре Фатхетдинов крикнул нам:

— Подходи, ребята, обед готов!

Мы взяли котелки и направились к дымящейся кухне. Но не успел Фатхетдинов налить три-четыре котелка, как вдруг рядом с нами начали рваться снаряды, а затем посыпалась шрапнель.

Канонада все усиливалась, над деревней стоял оглушительный грохот.

Так и не успев пообедать, мы поспешно оделись и собрали вещи.

Опять — отступление.

Жители, собрав кое-какие пожитки, бросились в лес. Плач и крик детей огласили деревню.

Рота беспорядочно отступала в лес.

Хаос, беспорядок, давка...

На улице меня схватил кто-то за рукав. Оглянувшись, я заметил Фатхетдинова. Он сунул мне в руку хлеб и мясо.

— Берегись!— крикнул он мне и побежал к кухне.

Канонада усиливалась. В лесу было настоящее столпотворение.

Среди солдат толкались жители деревни, женщины плакали, дети вторили им.

Все роты смешались, никто не знал, что делать, какую команду слушать.

Начали отступать, куда глаза глядят.

Наступила ночь. Мы шли неустанно, а австрийцы двигались за нами по пятам.

Стрельба не утихала.

Только на рассвете мы остановились на небольшой поляне у опушки леса, где стояла наша батарея.

Ко мне подошел фейерверкер:

— Отпор захотели дать... Где уж тут, когда на всю батарею всего два ящика снарядов.

— И у нас тоже по две-три обоймы патронов. Да хоть бы и больше было, —так измучились, что руки не действуют... какая тут стрельба!— ответил я.

— Что делать, — служба.

— К чорту эту службу бросить и махнуть в тыл!..

К рассвету мы оказались на реке. Берега были крутые, покрытые лесом.

Пулеметный и ружейный огонь достиг чрезвычайной силы. Видны были неприятельские колонны, решительно двигавшиеся на нас. Как я узнал впоследствии, это были не австрийцы, а баварские гвардейцы.

Офицеры пытались задержать наши отступавшие роты и повернуть их лицом к неприятелю, но это им не удавалось. Роты все перемешались, и никто не слушал команды.

Бешеный огонь пулеметов заставил нас отступить на берег реки, другого пути не было. Повсюду нас встречали свистящие пули, бомбы, шрапнель.

Путь отступления был тяжел. Огонь неприятеля косил наши ряды.

Наконец мы остановились. Послышалась команда рыть окопы. К вечеру стрельба снова усилилась.

Взводный позвал меня и Каратанова:

— Сходите в окопы на поляне. Там есть наши части, узнайте — какие.

Место, на которое указывал взводный, было все изрыто снарядами. Находившиеся там части были уничтожены, превращены в крошево.

Мы с Каратановым всячески старались оттянуть время, но взводный угрожал, что доложит ротному командиру.

Между тем было ясно, что мы идем на верную смерть. Когда я предавался этим размышлениям, внезапная пронзительная, острая боль в левом бедре заставила меня забыть обо всем. Я упал на землю. Пуля застряла в мякоти бедра, не затронув костей. Из раны текла кровь.

Мельников и один старый солдат с Полтавщины повели меня на перевязочный пункт.

Отсюда меня отвезли на телеге на станцию, быстро

погрузили с другими ранеными в вагоны, и мы уехали. На станции рвались еще снаряды.

На бывшей границе в Волочиске нас перевели в настоящий санитарный поезд, и мы отправились в Россию.

В РОССИЮ

В поезде, после пережитых потрясений последних дней, мне все казалось очень хорошим: и отдельная койка, и белье, и пища. Я уснул, как убитый, и проспал до самого Киева.

Когда я проснулся, мой сосед обратился ко мне:

— Пока ты спал, сюда приходили нас переписывать. Я слышал, что ты унтер Сорок седьмого Украинского полка.

Я ответил ему, что я не унтер, а рядовой солдат.

— А кто тебя знает? На петличке у тебя пуговица,— решили, что унтер.

В Киеве нас опять пересадили в другой поезд и повезли в Харьков.

Когда мы прибыли в Харьков, в наши вагоны вошли студенты и гимназистки с повязками Красного креста на рукавах.

Они переписывали раненых, и, когда дошла очередь до меня, студент обратился ко мне:

— Унтер-офицер Сорок седьмого Украинского полка?

— Не унтер, а рядовой,— поправил я.

— Ладно, государству, значит, лучше,— будешь получать солдатское жалование,— сказал студент, улыбаясь, и зачеркнул в списке слово «унтер».

Нас перевели на эвакуационный пункт, помещавшийся в трехэтажном доме против вокзала, и оттуда распределили по лазаретам.

Санитары приставали, выпрашивая гимнастерки, шинели, сапоги.

— Ты все одно больше служить не будешь. Зачем тебе это барахло?— надоедали они.

Студенты и гимназистки тоже к нам приставали:

— Солдатики, нет ли у вас австрийского штыка, нет ли гильз от снаряда?..

Наконец я вышел из терпения и сказал одному из этих любителей военных принадлежностей:

— Ступай сам на фронт, там этого добра сколько хочешь.

Студент сделал гримасу и отошел, бросив в сторону:

— Какой хам!

Сидевший рядом со мной сапер заметил:

— Вот вороны! Последнее белье норовят с тебя снять.

— Мы для них — забава.

— Потому они и любят войну: для них это удовольствие.

— А почему бы не любить, раз их папеньки на ней наживаются? — прибавил я.

Маленький студент с толстыми губами юркнул в кабинет главврача, и оттуда вышел высокий рыжеусый врач в белом халате поверх мундира.

Еще в дверях он окинул нас строгим взглядом и сказал:

— Вы — русские солдаты, и такие слова говорить позорно. Кто здесь против войны говорил?

— Отправляйте меня, я против. Меня второй раз ранили. Из нашей команды только четверо в живых осталось, — сказал сапер.

Доктор состроил подобие улыбки и сказал:

— Голубчик, никто вас не собирается отправлять. Вы ранены, вам нужен отдых и покой, и не нужно волновать себя такими разговорами. Сейчас мы вас отправим в лазарет.

— Успокаивай!.. Нет, шалишь, теперь нас не проведешь!

Меня вместе с двумя десятками раненых отправили в лазарет на станцию Тростяны Ахтырского уезда.

СНОВА В ЛАЗАРЕТЕ

Лазарет находится в усадьбе помещика Кингина. Нас обслуживают военный врач, родственники хозяина и дочь управляющего сахарного завода.

Больных мало — всего шестьдесят пять человек, больше половины татар, а также башкиры, чуваши, латыши; русских всего десять человек.

Кормили нас не плохо, давали хорошие папиросы.

Мы чувствовали себя недурно, гуляли в саду, читали газеты. Сестра нам рассказывала всяческие истории о доблестном российском воинстве. Раненые вяло реагировали и на рассказы и на газетные новости.

Но как-то раз я проговорился в присутствии сестры:

— Нельзя верить газетным сообщениям. Возьмем к примеру: в начале войны наша дивизия отступала в беспорядке, а через несколько дней мы прочли в газетах, что якобы наша дивизия геройски сражалась и захватила много пленных.

Другие солдаты меня поддержали и тоже привели аналогичные примеры.

Только один оренбургский казак похвастался:

— Конечно, пехота ничего не сделает без казаков.

Дунаев, рабочий Финляндской железной дороги, посмотрел на него исподлобья и сказал:

— Да, я помню, как вы еще в девятьсот пятом отличились немало...

Этот разговор произвел большое впечатление на сестру. Она прекратила чтение газет вслух и ограничивалась только рассказами о военных подвигах. Подвиги Суворова и прочих генералов нас мало интересовали, и мы попросили сестру рассказать нам историю России. Она согласилась.

Я ближе познакомился с Дунаевым. Он оказался эсером, и мы с ним часто спорили в присутствии раненых. Он твердил, что надо воевать до победного конца, но большинство солдат не соглашалось с его доводами и явно склонялось на мою сторону.

Старший врач узнал о моих спорах с Дунаевым. Однажды, осмотрев внимательно мою рану, он сказал:

— Ну, через недельку можно выписать, — и подмигнул сестре.

— Простите, у него еще гной в ране, — обратилась к нему сестра и продолжала с невинным видом: — Мысли у него нехорошие о войне — это да.

Доктор, не глядя на нее, сурово сказал мне:

— А это ты брось, отвечать придется.

Я пробормотал что-то в ответ.

С тех пор сестра начала мне давать «душеспасительные» книги. Принесла «Ключи счастья» Вербицкой.

Я прочел и сказал сестре, что мне такие книги не нужны, они ничего не дают.

Однажды нас повезли на сахарный завод Кингина. Там работали почти исключительно женщины и дети, рабочих давно взяли на фронт.

Директор показывал нам завод и, между прочим, сказал, что за время войны доходность завода значительно выросла.

Это обстоятельство было замечено солдатами, и в дальнейшем я использовал его для агитации. Вообще работа была налажена недурно, но вскоре главврач запретил совместные беседы нескольких человек.

Мы стали собираться около озера лесозавода и отправлялись туда под предлогом, что идем на рыбалку.

Между тем вести с фронта приходили все более неутешительные: палочная дисциплина, розги, издевательства.

Это наводило солдат на мысль, что необходимо самим кончать войну.

В начале четвертого месяца моего пребывания в лазарете меня назначили на комиссию. Там врачи меня долго осматривали и выписали в пестроевую команду.

На следующий день воинский начальник направил меня в лагеря в город Чугуев.

В ЧУГУЕВЕ

Меня встретил маленький пыльный городок. На восточной окраине тянулась небольшая редепькая роща, на западной холмистой стороне возвышались два двухэтажных белых дома, в которых помещалась школа прапорщиков.

До войны в роще были лагеря, а сейчас здесь находились четыре полка и пестроевая команда Семьдесят второго запасного полка. В команде было около трехсот человек, все — бледные, худые, в истрепанном обмундировании.

Как-то раз я забрел в чайную. Вдруг кто-то подошел сзади и закрыл мне глаза руками.

Это был старый знакомый — вольноопределяющийся Шаруда. Он учился в местной школе прапорщиков.

— Скоро буду офицером, — самодовольно заявил он.

Мы разговорились. Я вспомнил, что он раньше был настроен против войны, и спросил его, как он думает сейчас.

— Ничего из этого дела не выйдет. Да теперь это неинтересно. Деньги надо иметь — вот что. Вот офицером стану, больше жалования получать буду, тогда угощу тебя на-славу.

Мои возражения на него не подействовали.

— Нет, не выйдет ничего. Силы нет. А без силы только оскандалимся. Ну, ладно, скоро поверка, пойду.

Мы холодно распрощались.

Спустя несколько дней я снова встретился с Шарудой. Его сопровождал Рауф Бахтаев — человек лет тридцати, небольшого роста, с широким, постоянно улыбающимся лицом. Бахтаев тоже учился в школе прапорщиков. Он говорил мало, особенно избегал высказываться по политическим вопросам; потом вынул маленькую тетрадку из кармана и прочел стихотворение.

Я спросил у них, что пишут в газете «Вакт», которую он постоянно читал.

— Ну, что же, все хорошо. Победа обеспечена.

— А вам-то что из этого?

— То есть?

— Не с немцами надо воевать.

Бахтаев громко расхохотался.

— Не глупи, парень! Даже такие люди, как Гаазэфенди Исхаков, и те уже отказались от этой мысли, — сказал он.

— И без них справятся!

Я прекратил разговор, и мы вскоре распрощались.

Прошло еще десять дней. Со строевыми солдатами наладить связи не удавалось. Мне уже стало скучно.

И вдруг — неожиданная новость.

Меня и еще нескольких из нашей команды посылают в Москву за получением обмундирования.

В поезде солдаты играли в «двадцать одно» и здорово обыграли старшего унтера. Он хотел играть в долг, но партнеры не согласились.

— Старший, возьми на счастье! — крикнул я с верхней полки и протянул ему рубль.

После этого между нами установились хорошие отношения.

МОСКВА

Мы приехали на Курский вокзал, битком набитый съехавшимися со всех сторон людьми и больше всего — солдатами. Нельзя было понять, собираются ли они уезжать, или только что прибыли.

Залы и коридоры были запущенные и грязные, всюду валялись окурки.

В третьем классе помещался питательный пункт Красного креста. Там выдавали солдатам булки, колбасу и хлеб. Солдаты всячески ухитрялись получить пищу по нескольку раз. Раз подойдут в шинели, потом снимают шинель и снова идут.

Когда мы вышли в город, нас поразил оглушительный звон колоколов. — был день рождения кого-то из царской семьи. На домах были вывешены трехцветные флаги.

Мы отправились на Садовую, где помещалась канцелярия интендантства и склады обмундирования.

Нас записали на довольствие, нам отвели место в казарме, но дело двигалось туго.

Три дня мы обивали пороги интендантства, но всюду нам говорили: «Приходите завтра».

Только на четвертый день маленький невзрачный писарь мигнул нашему унтеру, отозвал его в сторону, и они о чем-то начали шептаться. После этого разговора дело сразу приняло другой оборот. Писарь написал наряд и еще какую-то бумажку и передал их нам.

Секрет, оказывается, был весьма прост.

Из пятисот пар сапог, выписанных по наряду, старший должен был отдать двадцать пять пар в пользу писаря. Из прочего обмундирования тоже немалая толика поступала в пользу этих жуликов, которые громко именовались начальниками, завскладами, интендантами.

Мы принялись за работу. Надо было пересчитать комплекты обмундирования и зашить их в тюки.

Это было не трудно, и мы вскоре закончили работу.

На следующий день старший направил меня за накладными в контору.

Я снова ходил от стола к столу, но все мне говорили:

— Не у меня.

Наконец мне указали на молодого человека, сидевшего в углу:

— Господин Кирш разберется в его деле.

Кирш меня встретил приветливо, взял бумагу и начал что-то писать.

Лицо его показалось мне знакомым. Я стал припоминать и вспомнил, что этот Кирш очень похож на Михаила Кирша, служившего в нашем полку.

— Не родственник ли вам Михаил Кирш?—спросил я.

Он пристально посмотрел на меня.

— Да, это мой брат. А откуда ты его знаешь?

— Мы служили в одном полку. Он попал в плен, а я был ранен, лежал в лазарете, а сейчас — в нестроевой команде.

Кирш выслушал меня, затем подал мне бумаги, расспросил, где меня можно застать, и обещал вечером притти, подробнее поговорить о брате.

Вечером Кирш пришел ко мне в казарму и попросил отправиться вместе с ним к его знакомым.

Я не сразу ответил, и, заметив мою нерешительность, он добавил:

— Ты не стесняйся, там все люди простые, поболтаем. А в казарме ведь у вас поверки не бывает?

Я согласился, и мы пошли по направлению к Замоскворечью. Пройдя Таганку, повернули в переулок, и там Кирш вскоре остановил меня у большого дома:

— Сюда.

Мы спустились в полуподвальное помещение. Кирш стукнул три раза в дверь. Нам открыла старуха, и мы вошли в комнату, где уже сидели мужчина средних лет, сильно обросший, две молодые женщины и паренек лет шестнадцати.

Кирш представил меня и рассказал, что я был на фронте и встречался с Михаилом.

— Так, так, — начал волосатый человек (его звали Матвей Егорович). — Значит, приехали за обмундированием, солдат одевать? Ну, а насчет мира что у вас говорят?

Все присутствовавшие пристально смотрели на меня. Но еще не дав мне ответить, заговорил Кирш:

— Говорят, наверное, по-разному, потому что и солдаты разные, как и рабочие на вашем заводе, Матвей Егорович. Те, что на фронте, наверное ждут мира, а те, что пороха не нюхали, храбрятся. Но интересно, что скажет нам земляк, — закончил он, обращаясь ко мне.

— Да что сказать? На фронте мало солдат, которые не против войны. Вначале еще водились, а теперь все раскусили это дело. Даже унтера — и те недовольны, — сказал я.

Матвею Егоровичу, видимо, понравились мои слова. Он оживленно обратился ко мне:

— Да, понятное дело. На действительной ты служил, а тут — пожалуйте на фронт, два раза ранен, а теперь опять, поди, на фронт пошлют. А мир когда еще будет!

— А хоть и будет, какая нам польза? Богачи останутся, — ответил я.

— Правильно.

— Верно.

Все поспешили поддержать меня. Кирш с довольным видом шагал по комнате.

— Надо рабочим и солдатам за дело взяться,—добавил я, видя сочувствие окружающих.

Старуха принесла самовар, и за чаем я рассказал многое из моих странствий по фронту.

Беседа затянулась, и мы расстались уже ночью. Хозяева мне крепко жали руки и обещали дать «гостинцев» для солдат, когда я поеду обратно.

Остальные дни моего пребывания в Москве я почти ежедневно встречался с этими людьми и очень с ними сблизился.

Кроме присутствовавших в первый раз Матвея Егоровича, Хомяковой, Смирновой и Владимирова, здесь бывали еще Боярская и Данилова.

* * *

Пребывание в нестроевой команде близилось к концу. Ежедневно комиссия выписывала значительную часть в маршевые роты. Из трехсот человек, бывших в команде, осталось только шестнадцать.

Наконец дошла очередь и до меня.

Врач меня рассеянно осмотрел, ткнул пальцем в место, где была рана, и признал годным. На следующий день меня направили в маршевую роту, находившуюся неподалеку, в двухэтажном доме.

Дисциплина там была жестокая, кадровые унтера держали солдат в ежовых рукавицах. Тем не менее я быстро присмотрелся к людям и раздал привезенные из Москвы «гостинцы» — маленькие брошюрки, обращенные к солдатам, в которых говорилось о том, кому выгодна война, для каких целей она ведется, какую позицию занимает партия рабочего класса, с кем и куда надо итти солдатам.

«Гостинцы» эти были запрятаны в шинели и сапоги, и солдаты их тщательно хранили. Мне удалось уловить обрывки разговоров по поводу этих брошюр. Видимо, они произвели на солдат большое впечатление.

Однажды, направляясь в город, я встретил Газыда Урманчеева, прибывшего к нам дня три тому назад. Это был молодой высокий темноволосый парень с черными блестящими глазами, бойкий и веселый.

Он рассказывал, что учился в гимназии в Казани; в Елабуге у его отца было два хутора.

— Богатый сынок, а на войну попал, — шутливо сказал я ему.

— Что же, я не трус. Наш возраст еще не брали, но мы, двенадцать гимназистов, пошли добровольцами. И здорово воевали! Скольких немчур застрелили, скольких мадьяр штыками прикончили в атаках! — хвастал он.

По дороге Урманчеев сказал мне, что идет к знакомым, в одну интеллигентную мусульманскую семью, и что, если я хочу, он может захватить меня с собой.

Я выразил свое согласие. Тогда Урманчеев, видимо считавший меня человеком некультурным, не умеющим себя вести в приличном обществе, начал объяснять мне, как себя надо держать за столом.

Мы вошли в зеленые ворота.

Во дворе стоял двухэтажный дом, выкрашенный в зеленый цвет, а за ним находилась каменная мечеть. Нижний этаж мечети был занят школой.

Урмапчеев повел меня в школу, где мы встретили учителя, молодого человека среднего роста, мингрела. В комнате, кроме нас, были еще два солдата.

Учитель извинился, захватил какой-то сверток и флакон с желтоватой жидкостью и вышел вместе с солдатами. Спустя несколько минут Урмапчеев сказал мне, что пойдет посмотреть, дома ли мулла этой мечети Ахун Узбеков, и тоже вышел.

Мне показалось странным поведение этих людей. После ухода Урмапчеева я стал рассматривать лежавшие на столе книги. Это были «Авваль Назафа» [1] и «Дрюс Шифалия» [2].

Мелькнула мысль о том, почему сюда ходит Урмапчеев. «Он из богатой семьи... Два хутора...Брат в Казани имеет книжный магазин, сестра замужем за видным чиновником Хасаном... Понятно...»

Я услышал звук шагов в мечети и решил посмотреть, что там происходит. Войдя во двор, я увидел, что дверь мечети открыта, около дверей стоят две пары сапог.

Я не стал снимать сапог и на цыпочках вошел в комнату, где обычно совершаются намазы [3]. Там я увидел следующую картину: учитель держал в руке шприц, наполненный желтоватой жидкостью, и делал укол в ногу солдату, которого я раньше видел у него в комнате.

— Зачем вы это делаете? — спросил я учителя. — Ведь ноги у них не болят.

— Не болят, так будут болеть, — с улыбкой ответил он, и посоветовал солдатам ходить как можно больше.

За «лечение» учитель взял по рублю с каждого.

В это время вернулся Урмапчеев и повел меня на квартиру к мулле Узбекову.

За большим накрытым столом сидел мулла в тюбетейке и еще двое незнакомых. Вслед за нами пришел и учитель.

---

[1] «Авваль Назафа» — религиозная книга.

[2] «Дрюс Шифалия» — учебник арабского языка.

[3] Намаз — пятикратная ежедневная молитва у мусульман.

За чаем начали говорить о войне. Мулла медленно, как бы с сознанием особенной ценности произносимых им слов, сказал:

— Мы несомненно победим немцев. Разве они могут устоять против наших казаков? Стоит только показаться казакам, как немцы удирают в панике. Героически сражаются и наши мусульманские войска, крымские татары, дикая дивизия.

Затем вмешался в разговор черноусый полный человек средних лет. Он расхваливал деятельность Государственной думы и тоже выразил уверенность в близкой победе России.

Урманчеев не говорил, по все время поддакивал.

— Мы не можем не победить, — подхватил учитель. — Посудите сами: все население Австрии и Германии не превышает населения наших десяти губерний, так что нам не страшны никакие потери. Народу у нас много, и мы можем хоть десять лет воевать, а у них — не хватит.

Услышав эту речь, я так разозлился, что мне захотелось запустить в этого краснобая стаканом, бывшим в моей руке. Я не сдержался и спросил его запальчиво:

— А польза какая от этой победы?

Вместо учителя ответил Урманчеев:

— Прежде всего защитить отечество — наш священный долг. Об этом говорил и член Государственной думы Максудов в своем выступлении в Казани, я сам его слышал. Вы забыли об этом долге.

Голову сверлила мысль: «Сказать им, что я думаю о войне, или смолчать?» Решил сказать: пусть будет, что будет.

— Солдатам все равно, победит Россия или нет. Многие уже понимают, что настоящие наши враги внутри страны и с ними надо бороться. А если война и кончится, — то потом другая начнется, толку для нас не будет.

Урманчеев громко засмеялся.

— Брось глупости! — сказал он. — Я вчера такую же ерунду читал в брошюрке, которая попалась мне в казарме. Какой-то безграмотный дурак эти самые слова писал...

Все присутствовавшие напряженно на меня смотрели; хозяин часто вынимал часы. Я решил, что надо уходить.

Не успел я пройти ста шагов по улице, как меня догнал Урманчеев и сказал:

— Эх, дурак, разве можно так разговаривать с этими «прогрессистами»! Если бы ты сидел молча, я б у них десятку выцарапал, а то еле-еле три рубля дали. Ну, пойдем, выпьем пива.

— Пошел к чорту, холуй! — крикнул я и, не поворачиваясь, пошел дальше.

ОПЯТЬ В МОСКВЕ

Меня и еще трех солдат из маршевой роты отправили в Белгород для сопровождения молодых солдат на фронт.

В Белгороде мы явились к воинскому начальнику и, как обычно, долго ждали, толкаясь в приемной.

Наконец появился в дверях низенький полковник, с толстым животом и маленькой головой на короткой и толстой шее.

Наш унтер начал было рапортовать о цели нашего прибытия, но полковник, не слушая его, закричал:

— Это что за бродячие солдаты? Немедленно на фронт!

Затем он ударил унтера, толкнул меня в грудь, долго ругался и, приказав писарю отправить нас обратно, вышел.

В пути мы узнали, что наш маршевый батальон полностью отправился в Москву. Мы поехали туда же.

Поезд остановился на станции Окружной железной дороги. Вдали в тумане светилась Москва.

По путям, неоднократно пролезая под вагонами, мы отправились пешком на Казанский вокзал.

Там нас встретила обычная суматоха. Солдаты толкались взад и вперед, беженцы возились у своего скарба, визжали дети.

Я не особенно торопился и заводил разговоры с солдатами, приехавшими с фронта, о положении дел. Почти все жаловались на плохое питание, издевательства офицеров, говорили о все новых и новых мобилизациях. Недовольство войск значительно возросло. Это ясно чувствовалось в беседах со всеми солдатами.

Мы долго слонялись по различным вокзалам, получали продукты на пунктах Красного креста и не спешили в свою

часть, хотя уже знали, что она остановилась около станции Люберцы.

Я решил разыскать Кирша, но дома его не оказалось, и никто не знал, где его можно найти.

Я заглянул на квартиру в Замоскворечье. Там я застал свою знакомую Марию Ивановну, с которой встречался здесь раньше. Она мне ничего нового не сообщила, посоветовала продолжать агитацию среди солдат и просила зайти недели через две. К тому времени должен был вернуться Матвей Егорович, который куда-то уехал.

Я вернулся на вокзал, нашел там товарищей, и мы отправились в нашу роту.

В Люберцах сконцентрировалось большое количество маршевых батальонов, предназначенных к отправлению на фронт.

Солдаты расположились в маленьких дачных домишках. Нары были единственной мебелью — ни тюфяков, ни матрацев не было. Вместо подушки — вещевой мешок, вместо одеяла — шинель.

В маленькой комнатушке, где жили раньше два-три человека, набилось до двадцати солдат.

В нашем взводе — сорок восемь человек; часть из них белобилетники, а остальные — молодежь досрочных призывов.

Много времени уходило на строевые занятия, а в свободные часы мы валялись на нарах или писали письма на родину. Это было излюбленное занятие солдат.

Я сблизился с Арзамасовым и Леоновым, писал им письма домой и читал получаемые ими из дому.

Арзамасов четыре года работал батраком в женском монастыре. Прежний его хозяин, помещик, продал свое имение и уволил его. Ему пришлось поступить в монастырь, так как другой работы не было, а в монастыре не разрешали жить с женой. Пришлось жену оставить в деревне.

— Ну и народ пакостный эти монашки! — рассказывал нам Арзамасов. — С виду они только скромницы и святоши, а на деле — гадины, бесстыдницы и злюки. Недаром они лица закрывают и на людей не смотрят, — боятся, что их злобу увидят. Экономка там была, монашка лет тридцати. Сначала она меня рыбкой и белым

хлебом потчевала, а через несколько месяцев стала к себе зазывать, водочкой угощать, ластиться. Ну, дальше — больше, и случился грех... Потом извела меня там все-таки работа. И жена ушла, — должно быть, почуяла, что нехорошо я жил в монастыре...

В комнате душно, к утру воздух спертый, но дверь открыть нельзя, — солдаты на нижних нарах ругаются: холодно, дует.

Иногда становится невмоготу. Выйдешь на улицу, а там тихо и пустынно, снег, голые деревья, покосившиеся заборы, и только редкие свистки паровозов нарушают тоскливую тишину.

И снова идешь в комнату, темную, грязную, душную.

ЭШЕЛОН

На рассвете нас разбудили. Унтер приказал собирать вещи и выстроиться у сада. Мы торопливо одевались, а когда вышли на улицу к сборному пункту, там уже были и другие взводы.

Мимо проходила учебная команда. Она пела «Атамана», но залихватская песня звучала как-то грустно и монотонно.

Азегереев, командир нашего взвода, заметил:

— Не поют, а мычат, как коровы. Что-же с ними будет, когда они на фронт попадут?

— Заревут, — сказал Арзамасов.

К нам подошел командир роты с каким-то высоким прапорщиком.

— Смирно! — скомандовал унтер.

Ротный командир поздоровался и сообщил, что мы сегодня уезжаем на фронт. Командиром нашей роты назначался прапорщик Александров, — ротный указал рукой на своего спутника.

До подачи поезда разрешили стоять вольно.

Недалеко от нас остановился эшелон с пленными турками. Двери товарных вагонов были наглухо закрыты, только из окон видны были изможденные обросшие лица.

Пленные смотрели на прохожих просящим взглядом и бормотали что-то непонятное. Они, повидимому, были голодны.

Некоторые из солдат подавали им хлеб и табак. Но прапорщик Александров, заметив это, с отчаянной руганью набросился на солдат и приказал немедленно удалиться от эшелона пленных.

— Где же ваша присяга, сукины сыны? Врагов жалеете? Как же вы их на фронте бить будете? — неистовствовал оратор.

— Смотрите, гусь какой лапчатый! — сказал Арзамасов, когда прапорщик ушел.

— А ты думал, что он — золото? Все эти офицеры — цацы.

— Они только здесь петушатся, а на фронте норовят спрятаться...

Со станции Люберцы подали состав в семь вагонов, его тянул паровоз-кукушка.

Погрузили две маршевые роты, на станции Люберцы прицепили еще десять вагонов, и мы двинулись по направлению к Москве.

На станциях наш поезд задерживался недолго, даже на больших и узловых — не больше пятнадцати минут. Останавливались мы далеко от вокзала, у наспех сколоченных досчатых уборных без крыши.

На больших станциях нас кормили обедом и ужином.

Когда проезжали Тамбовскую губернию, два солдата сбежали из эшелона. Наутро их исчезновение обнаружилось, и взводный Азегереев доложил об этом нашему ротному командиру Александрову, ехавшему в штабном вагоне.

Александров в тот же день обошел вагоны и грозно предупредил, что если еще повторятся случаи дезертирства,— за своих соседей по вагону будут отвечать оставшиеся.

Ехали долго. Дорога нам казалась бесконечной, и мы не знали, куда девать время. Пробовали петь, но пение получалось нестройное, и солдаты вскоре опять замолкали.

Некоторые после обеда ложились спать, другие курили и болтали, сидя вокруг железной печурки, играли в карты.

За Киевом повеяло близостью фронта. Одни за другими проходили санитарные поезда, наполненные тяжело

ранеными и больными. Их стоны напоминали о недавнем прошлом.

Реже встречались нарядные и накрашенные сестры, студенты и гимназистки почти не показывались у поездов.

Как-то почью Азегереев и белобилетник Дмитриев затеяли спор о русско-японской войне. Азегереев объяснял поражение России отсутствием достаточного запаса оружия.

Дмитриев возражал ему, считая основной причиной разгрома измену командного состава и его продажность.

Разговор постепенно перешел на революцию 1905 года, и к говорившим присоединились и другие солдаты.

— Рабочие захватили несколько городов. Крестьяне выгоняли помещиков из имений и делили их имущество...

— Говорят, и ученые люди сначала были с рабочими заодно, а потом сдрейфили...

— А солдаты-то наши быстро усмирили и внутренних врагов.

— Это же царь приказал, богачи помогли.

— А после этого помещики стали землю продавать.

— А вот в нашем уезде помещик с девятьсот седьмого года тридцать стражников в имении держит.

— На фронт бы их, чертей, послать! А то больных белобилетников берут, а эти там прохлаждаются.

Поезд остановился на большой узловой станции Жмеринка.

Там стоял пассажирский состав, готовый к отправлению. У вагонов толкалось множество людей, все стремились скорее попасть, давка была невероятная. Кричали женщины, повидимому зажатые в толпе, состоявшей преимущественно из офицеров и солдат.

Вдруг поезд тронулся.

Высокий жандарм подбежал к вагону и начал стаскивать уцепившихся на ступеньках солдат. Один из стоявших на верхней ступеньке ткнул ногой прямо в лицо жандарма, а я и еще трое солдат подбежали сзади и схватились за длинную полу жандармской шинели.

Жандарм потерял равновесие и упал, а мы в это время скрылись в вагонах.

Немного спустя четыре жандарма обошли весь эшелон; видимо, искали виновных, но никого не узнали.

В ПРОСКУРОВЕ

В Проскуров, конечный пункт нашего путешествия, мы прибыли в туманное, облачное утро. Была еще середина зимы, но здесь стояла теплая погода, слякоть и пронизывающая сырость.

На перроне кишмя кишели солдаты, офицеры и военные чиновники.

Нас повели в город, к красным двухэтажным казармам, где до войны был расположен Белгородский уланский полк. Город был тоже переполнен солдатами.

После долгой и утомительной дороги мы мечтали о сухих и теплых казармах, об отдыхе, горячей пище, но вскоре пришлось разочароваться.

Мы прошли мимо казарм, даже не останавливаясь, и направились в бывшие конюшни уланского полка, где должны были разместиться. Там уже были расположены и другие части. Солдаты сновали толпами по двору и через ворота.

Нас повели в крайнюю конюшню. В ней даже не были убраны кормушки и столбы, к которым привязывают лошадей. Не было также и печей. Наспех сколоченные двухъярусные нары составляли все оборудование этого нового жилища.

Ротный командир исчез и больше не показывался, — говорили, что он уехал обратно.

Кадровые унтера разбили нас на взводы. Днем происходили строевые занятия с маршевиками, занимавшими все конюшни.

Белобилетники особенно чувствовали прелесть муштры. Недовольство у них быстро нарастало, и они начали высказывать это вслух.

В первом взводе четвертой роты было восемь евангелистов.

Гареев, который пришел к нам в Проскурове, рассказал, что религия запрещает им брать в руки оружие...

Я узнал, что в разных ротах, размещенных в конюшнях, было около трехсот татар, башкир и мещеряков. Начали с ними встречаться около уборной. Тема разговора — мир. Эта мысль крепко засела в головах солдат.

— Говорят, Германия просит мира.

— Нет, не Германия, — Австрия просит.

— О мире ничего не слышно, а солдат истребляют, как мух, — сказал я.

Солдаты слушали меня внимательно.

Один белобилетник повесился вблизи наших казарм, в сарае кирпичного склада. Командир запретил туда ходить солдатам, и это еще больше разожгло ненависть к войне и офицерам.

Все оживленно обсуждали происшествие.

— Говорят, у него жена с пленным погуляла.

— Нет, он заболел!

— Ничего подобного! Ротный его четыре дня подряд ставил под ружье на пять часов. А тут еще письмо получил: в деревне корову отобрали, и четверо детей остались с голоду помирать... Со всех сторон жмут, окаянные! — сказал Гареев.

— На фронте нас бьют, а в тылу наши семьи грабят.

— Чего тут ждать?

— А рабочих в Сибирь ссылают...

Настроение солдат было самое подходящее, и агитировать стало значительно легче.

В марте я получил письма от Холодовского и Сайкеля. Холодовский писал, что Мельников тоже находится в Проскурове. В маршевом батальоне я уже имел тридцать вполне надежных товарищей. Наиболее близкими мне и активными были: Калачев из Москвы, Арзамасов, Гареев — из Самарской губернии, Каремшев — рабочий Юзовского завода и Хисамов из Бугульмы. Это были уже испытанные агитаторы, успешно работавшие среди солдат.

ПРАПОРЩИК БАХТИЯРОВ

Занятия в маршевых ротах пошли усиленным темпом. Выдали винтовки. Командный состав пополнили прапорщиками. И в нашу роту тоже назначили прапорщика Бахтиярова.

Это был невысокий молодой человек со светлыми бровями и тонким голосом. При ходьбе он втягивал в плечи и без того короткую шею.

Бахтияров явился в роту сейчас же после прибытия.

Он быстро шел к роте, выстроенной на площади. Полы его шинели развевались, шашка болталась и путалась между ногами.

Он почти не смотрел на роту, видимо занятый мыслями о том, как он выглядит и хорошо ли держит себя, и, подойдя, крикнул писклявым голосом:

— Здорово, маршевики!

Рота ответила вяло. Бахтияров спросил унтера, какая это рота, не думая о нелепости этого вопроса.

— Третья, — ответил унтер.

— Да, верно, третья, — рассеянно проговорил Бахтияров и, отдав распоряжение начать занятия, отошел в сторону и закурил.

Во время перерыва я и Гареев решили поговорить с Бахтияровым, но не знали, как начать разговор. Наконец решили, что попросим у него татарские газеты.

Когда мы подошли к нему, он разговаривал с двумя унтерами.

Гареев, приложив руку к козырьку, сказал на башкирском языке:

— Бахтияров-эффенди, нет ли у вас газет и журналов на родном языке? По-русски мы плохо понимаем.

Бахтияров покраснел, начал что-то говорить по-русски; но когда унтера удалились, смущение его прошло, и он сказал по-татарски:

— Газет нет, а журналы могу вам дать, если хотите.

Я вспомнил, что когда-то в журнале «Аль-Ислях» или «Ялт-Юлт» мне пришлось встретить фамилию Вафы Бахтиярова.

— Не родственник ли вы редактора Бахтиярова? — спросил я.

На лице прапорщика появилась улыбка, и он с живостью начал рассказывать, что Вафа — его родной брат, что он — выдающийся писатель.

— Я тоже пишу стихи, — закончил он. — Приходите вечером ко мне, поговорим.

Приглашение растрогало Гареева, и, когда мы ушли, он сказал:

— Все-таки свой человек. Хоть и офицер, а своих уважает.

— Офицер учился не на медные гроши, как мы с тобой, не забывай этого.

— Это правда. Родители, наверное, богатые были, вот и учился. А похож он, однако, на мокрую курицу.

Вечером мы с Гареевым пошли на квартиру к Бахтиярову.

Он велел своему денщику вскипятить чай, сам взял журнал «Анг» и читал нам рассказы и стихи.

В стихотворении, подписанном инициалами А. Г., говорилось о том, как один мусульманин, уже раненый, продолжал сражаться и убивать врагов.

Бахтияров, окончив чтение, сказал:

— Нужно, чтоб все наши мусульманские солдаты были похожи на этого героя и жертвовали своей жизнью ради отечества.

Затем он прочел свое собственное стихотворение, написанное им недавно. В нем он описывал свои скитания по белу свету в поисках счастливой звезды и как он наконец нашел эту звезду.

Я спросил у него, что ж это за счастливая звезда.

Бахтияров рассказал, что он учился в учительской семинарии, был недоволен жизнью; родители тоже тяготились тяжелым положением сына; он волновался, страдал.

Потом пришла война. Он поступил в школу прапорщиков. Теперь он спокоен и счастлив. Путь его ясен. Он рвется на фронт, чтоб там доблестно сражаться за родину.

Я понял после этой длинной и напыщенной тирады, что знакомство это ничего нам не даст, и решил уйти.

Денщик накрывал на стол. В это время вошел в комнату подпоручик, живший по соседству.

Бахтияров поспешил выпроводить нас.

— Да, человек неважный, — задумчиво сказал Гареев, когда мы очутились на улице.

Неделю спустя Бахтияров встретил нас и повел в город в кафе.

В углу за столиком сидели подполковник и два ротмистра. Мы сели недалеко от буфета.

Не успели нам подать кофе, как подполковник позвал Бахтиярова.

— Прапорщик, вы почему без разрешения привели сюда нижних чинов?

Бахтияров растерянно оглянулся по сторонам, как бы ища помощи, и сказал:

— Виноват, господин полковник, я не приводил их сюда... они сами...

Подполковник кивнул ему головой и подозвал нас:

— Сейчас же ступайте в свою часть и скажите ротному командиру, чтоб он вас поставил на четыре часа под ружье. Кругом марш! Бараны!

Мы пошли к выходу, но Гареев по дороге обернулся и сказал, показывая на Бахтиярова:

— Вот наш ротный командир, ваше высокородие.

... С тех пор мы избегали Бахтиярова и не разговаривали с ним.

Поговорить пришлось впоследствии, в дни ожесточенной борьбы, но уже другим языком.

РОЗГИ

В батальон откуда-то донеслись тревожные слухи:

— В шестой роте выпороли розгами солдата за то, что он отказался петь после занятий.

— В четвертом батальоне тому же наказанию подвергнулись солдаты за непочтительное обращение к фельдфебелю.

Стояли первые весенние дни. Солнце ласково пригревало землю и людей, жаждавших тепла после суровых вьюг и стуж. Нежные пушистые облака таяли в голубом небе. Пробивалась первая травка, люди стремились на простор, и делалось мучительно невыносимым пребывание в душной и зловонной казарме.

На нашу долю выпадали редкие счастливые минуты, когда мы могли пойти поваляться на травке, на небольшой лужайке вблизи нашей казармы.

Было воскресенье. Из казармы отпустили всех, кроме дневальных. Собралась небольшая группа на лужайке.

Настроение у солдат было грустное и подавленное. Кто-то наигрывал на гармошке заунывные мелодии. Двое солдат, — один в папахе, лихо заломленной на затылок, а другой — в гимнастерке с расстегнутым воротом, —

тихо напевали. На траве лежали солдаты и вполголоса беседовали. Разговоры тоже были вялые и невеселые.

Вдруг на лужайку донеслась ругань, крики, шум. Недалеко от казармы наш унтер тащил изо всех сил солдата нашей роты Севастьянова. Севастьянов упирался, ругал унтера последними словами и старался ускользнуть из его рук. К ним подбежал дневальный и еще несколько солдат, отдыхавших на лужайке. Унтер приказал отвести Севастьянова в кирпичные казармы, где помещались кадровые солдаты.

Как нам удалось выяснить, Севастьянов совершил тяжелое преступление: он болел расстройством желудка и, не успев добежать до уборной, принужден был сесть в ближайшую канаву. Унтер, проходивший мимо, не стерпел такого нарушения правил и решил задержать Севастьянова.

Мы нерешительно смотрели друг на друга и переминались с ноги на ногу. Унтер пришел в окончательное бешенство:

— Турки!.. Приказа не исполняете?

Не знаю почему, но именно это, столь обычное ругательство, к которому мы за время пребывания в казарме так привыкли, как к обычному обращению, почему-то сейчас привело всех в бешенство. Несомненно, здесь сказалось подавленное настроение и напряженность последних дней.

К унтеру подлетел Гареев, за ним остальные; начали его молотить, как цепами, не жалея сил.

Унтер упал. Ему на помощь бежала с винтовками наперевес группа младших и старших унтер-офицеров под командой фельдфебеля. Они с трудом утащили окровавленного, избитого унтера.

Солдаты еще долго не расходились и возбужденными голосами обсуждали происшествие.

— Пусть расстреляют всех! — слышались голоса.

Дело принимало серьезный оборот. На место происшествия уже прибыла учебная команда и грозно взяла винтовки наперевес.

— Всем немедленно разойтись по своим местам! — раздалась команда начальника. Он хотел, очевидно, расправиться со всеми поодиночке.

Сопротивляться было бесполезно. Все нехотя поплелись в свои роты. У дверей казармы поставили караул.

Вскоре явился офицер в сопровождении прапорщика Бахтиярова и начал опрашивать солдат об участниках избиения. В это время вошел, ковыляя, герой дня — избитый унтер и с ним фельдфебель.

Еле удерживая руку у козырька и запинаясь, унтер отрапортовал начальству:

— Ваше благородие, они все били меня. Сначала набросился Гареев, а за ним вот он и остальные, — добавил унтер, указав на меня.

Солдаты стояли навытяжку и неподвижно.

Офицер спрашивал каждого: «Ты участвовал?» — и ударял солдат кулаком по подбородку, а Бахтияров бил по лицу. Фельдфебель тоже не забывал оделять солдат своей милостью: пинком или пощечиной.

Наконец очередь дошла до нас.

Вправо от меня стоял Гареев, влево — Арзамасов. Прапорщик Бахтияров закричал на Гареева:

— Тебе чего не хватало, собачий сын? Где твоя присяга, свиная морда?

Офицер, не дожидаясь дальнейших вопросов Бахтиярова, замахнулся на Гареева.

— Не спрашивайте руками, ваше благородие, а отдайте под суд, — крикнули я и Арзамасов.

Бахтияров весь передернулся, глаза его тревожно забегали. Офицер вздрогнул и зарычал:

— Полевому суду! — но тут же ушел из казармы.

Солдаты после ухода начальства гудели, как шмели:

— Не запугают, не маленькие.

— А не все равно — здесь убьют или на фронте!

Нашлись и трусливые, которые упрекали нас:

— Не надо было разговаривать. Они покричали бы и ушли. А теперь испортили все, сердятся они.

Солдат, вернувшийся из уборной, сообщил нам, что у казарм выстроены две роты.

Спустя немного в казарму вошел унтер со списком в руке. Мы почуяли недоброе.

— Севастьянов, Гареев, Арзамасов, Бакиров и Рябов — выходи с шинелями! — закричал он.

На площади были выстроены прямоугольником две

роты и учебная команда, все с винтовками. В середине строя стояли три барабанщика, недалеко от них — дежурный офицер, фельдфебель и прапорщик Бахтияров.

Нас провели к тому месту, где стояли барабанщики.

Дежурный офицер презрительно оглядел нас, покрутил усы и начал заготовленную речь:

— Вы нарушили присягу и воинский долг. Вы совершили тяжкое преступление — избили своего начальника. Наша доблестная армия бьется на фронтах с коварным врагом, защищает родину, а вы...

Дежурный офицер прервал свою речь... Несколько солдат во главе с ефрейтором, отбивая шаг, как на параде, принесли четыре вязанки свежих прутьев и положили их на землю. Офицер тронул усы и почти ласково закончил свою речь:

— По приговору военно-полевого суда вам назначено каждому по сто розог, но по ходатайству командира полка наказание уменьшено до пятидесяти розог.

Фельдфебель вызвал из строя трех солдат.

Первым был Севастьянов. С него сняли одежду и уложили ничком на землю.

Дежурный офицер крикнул:

— Шевелись живее!

Ефрейтор и два унтера учебной команды подбежали и сели на ноги и голову Севастьянова. Два солдата караульной роты взяли в руки розги. Барабанщики по команде начали выбивать мелкую дробь. Прутья со свистом взвились и быстро опустились на тело избиваемого раз, другой, третий.

Тело Севастьянова покрывалось красными полосками, которые наливались, становились багровыми, черными. Ефрейтор механически отсчитывал удары. Севастьянов стонал, плакал, извивался. Наконец удары барабана смолкли, унтер и ефрейтор встали. Поднялся с земли и Севастьянов. Лицо его кривилось какой-то болезненной улыбкой, тело дрожало, и весь он шатался, как пьяный.

Потом унтера и ефрейтор уселись на Гарееве. Вновь свист розог и барабанная дробь. Затем били Арзамасова, и наконец наступила моя очередь.

Я в упор посмотрел дежурному офицеру в глаза. Он не выдержал моего взгляда и отвел взор в сторону.

Уложили на землю. Унтер придавил мою голову, двое сели на колени.

Невыносимо долго ждал первого удара. Сердце готово выскочить, я весь — в холодном поту. Твердо решил не кричать. Судорожно, до боли стиснул зубы. Несколько секунд прошло, но мне кажется, что целая вечность...

Послышалась барабанная дробь. Что-то режущее хлестнуло меня по телу, словно острый осколок льда. Острая, мучительная боль. Огненные змейки непрестанно жгут, рвут кожу, словно жгут огнем. Старался не кричать, но сквозь стиснутые зубы вырываются глухие стоны. Это кто-то кричит вместо меня, оттуда, изнутри, от невыносимых физических и душевных страданий.

Кончили. Подняли на ноги. Все кругом колышется, солдаты словно шатаются, в глазах темно, тошнит... Я упал.

Очнулся я после тяжелого сна, весь в поту. Вечерело. В казарме было безлюдно. Солнце посылало прощальные лучи сквозь тусклые, пыльные стекла.

Пошатываясь, ко мне подходит Гареев. Он пытается меня подбодрить и шутит, хотя я прекрасно вижу, что ему совсем невесело.

— Вот удостоились и царского угощения за верную службу...

Царского «гостинца» я не забыл и никогда, вероятно, не забуду.

В МАЕ

В конце апреля мы уехали в лагеря. Они находились на расстоянии километра от наших казарм, и мы ходили туда за кипятком и обедом.

Жизнь протекала так же однообразно, как раньше, хотя свободного времени было немного больше. Эти свободные часы помогли мне и Егорову наладить работу нескольких кружков, по пять-шесть человек в каждом. После занятий солдаты, под предлогом, что идут в уборную, которая находилась за лагерями, собирались маленькими группами. Тут же вблизи была и лавка. Унтера или фельдфебель косились на нас, когда мы собирались вместе, и лавка служила громоотводом.

Работа понемногу налаживалась. Егоров посещал нас

через день. Арзамасов и Рябов стали опытнее и поняли, что бросаться с кулаками на унтера — еще не значит разрешить вопрос о горькой участи солдата. Теперь они политически окрепли и могли самостоятельно вести агитацию.

... Егоров пришел поздно вечером и вызвал меня из палатки. Он познакомился на-днях у своего приятеля, Николая Павлова, служившего в канцелярии воинского начальника, с товарищами этого Павлова. Один из них вольноопределяющийся, другой — по манере говорить и обращению — тоже, повидимому, интеллигент. Они приехали с фронта, держат себя довольно странно — говорят, что могут здесь прожить сколько им угодно. Сейчас они живут в городе у какого-то торговца...

Решили завтра же навестить Николая и узнать у него все подробности.

На другой день нашу роту направили на вокзал — выгружать прибывшие грузы. При хороших отношениях с взводным нетрудно было отпроситься в город к «землякам» на несколько часов. А приобрести эти хорошие отношения можно было за очень скромную плату, даже за пачку папирос.

Нашим взводным был Азегереев, сговорчивый человек. Он позволил нам пойти в город, предупредив только, чтоб мы не попадались на глаза офицерам.

Вместе с Егоровым мы пришли к Николаю.

Он еще до войны был писарем, а теперь уже дослужился до чина старшего писаря. Бойкий, веселый, любивший покутить и поухаживать за женщинами, он интересовался главным образом возможностью раздобыть «монету» для своих развлечений и готов был для этого продать душу чорту. Мы зашли с ним к торговке, и Егоров купил водку.

— Надо его использовать, он может быть нам полезен,— шепнул мне Егоров, когда мы выходили.

Пиво и водка, которую Николай раздобыл на наши деньги, развязали ему язык. Он начал хвастать, что вертит всем в канцелярии, что без него «вот сколечко не делается». Когда мы прощались, он обещал мне приготовить документ, записав мое имя и номер полка.

К его знакомым мы пошли вдвоем уже — Николай изрядно выпил и захмелел.

Молодцы эти оказались типичными арапами, авантюристами. Они откровенно признавались, что «главное — достать деньги и пожить в свое удовольствие».

Мы поняли, что ошиблись, что нам с ними не о чем говорить и для нашего дела они ничем полезны быть не могут. Мы отклонили приглашение притти вечером, сославшись на то, что вечером нам отлучаться неудобно, так как можно нарваться на патруль.

Мы подходили к лагерям. Солнце садилось, освещая один торчавшие трубы замершего кирпичного завода. Мы шагали мимо озера, заросшего тиной; только лягушки тревожили торжественную тишину надвигавшихся сумерек.

По дороге шло стадо коров; они спокойно возвращались домой. Ненадолго, впрочем: не сегодня-завтра их, как и нас, погонят на убой...

Навстречу идет Гареев. У него новости: к нам прибыл проездом военный мулла — солдат из деревни Биккулово Оренбургской губернии; он желает собрать, с благословения начальства, всех солдат-мусульман, чтобы произнести перед нами проповедь.

— Нам надо воспользоваться этим удобным случаем,— многозначительно намекает мне Гареев.

Мы направились после ужина в шестую маршевую роту, — там остановился этот солдат у своего односельчанина и родича Галимжанова, — и познакомились с «проповедником». Он хорошо упитан, крепкий, коренастый. По его словам, он служит муллой в девятой дивизии, пользуется правами дивизионного священника и едет теперь за покупкой «необходимых для солдат» мусульманских молитвенников и духовного облачения для себя. Держит себя развязно, непринужденно, явно бравирует своим положением и правами. В разговоре он вскользь упомянул, что учился в Каргалах в медресе Хайфулеге Хазарята. Новоявленный спаситель наших душ с бравой унтер-офицерской выправкой показался мне очень подозрительным. Решил проверить.

— Я тоже учился в Оренбурге, в медресе Хусаина. — пускаю я пробный шар.

«Мулла» явно смущен, сразу полинял и как-то съежился. Дело ясное: мулла — самозванец, вернее — «мулла военного времени». Однако спугивать его мне нет никакого расчета. Для наших целей этот мулла может очень пригодиться. Поэтому я простодушно говорю:

— Я учился только один год, в подготовительной группе Хусаина.

«Мулла» сразу приосанился и, видимо, успокоился. Он сообщил нам, что ввиду наступающего мусульманского праздника мираджа [1] он попросит в штабе разрешения устроить собрание мусульман. Этого только нам и нужно. Затем мы с муллой и Гареевым решили зайти к торговкам выпить чаю. Торговки охотно доставали за деньги водку, закуску, и в этих тайных трактирах солдаты были частыми гостями.

Гареев шепчет мне по дороге.

— Угостим муллу водкой. Пригодится.

Зашли к знакомой торговке. Гареев пошептался с хозяйкой — и на столе появились водка, колбаса, селедка. Мулла заметно оживился и, не опасаясь гнева аллаха, охотно уплетал окорок и селедку и пил водку. У него еще больше развязался язык, и он уже говорит без удержу.

— Мой отец не был муллой, но все же учил меня. Жили мы — слава богу, весной пахали на шести волах. Да и теперь, на службе, мне неплохо. Офицеры и начальство любят меня за тихий характер и услужливость. Надо быть услужливым и слушаться во всем начальства, — неожиданно нравоучительно добавил он, — тогда и служба царская будет легка.

Его родич Галимжанов, сидящий с нами за столом, тоже успел выпить, и делает неожиданное добавление к откровениям муллы:

— Э, брось хвастать! Кабы на нашу семью работали четыре батрака, и мы были бы богаты. Нет, ты сам поработай! Я вот попробовал, спину поломал, да только аллах ничего не дал...

---

[1] Праздник «восхождения пророка Мухаммеда на небо» у мусульман.

И тут же срывающимся, пьяным голосом начинает петь:

Лен посеял — плохо уродился.
На богатых с детства я трудился,
Но не добыл себе я счастья...

Облик проповедника больше не вызывает в нас сомнений.

Сайфуллин, — так звали муллу, — на другой день отправился в штаб. Ему разрешили собрать солдат-мусульман. Начальство надеялось, что агитация именем аллаха могла принести крупицу пользы в святом деле защиты православной Руси. Сайфуллин важно рассказывал:

— Старый полковник — хороший человек. «Ваши мухамедане, — говорит, — послушные и старательные солдаты. Ты созови их, — поговори о празднике, о том, какую тяжелую войну наша родина ведет с врагом. Каждый мухамеданин должен помочь в этом святом деле...» Хотел даже отправить меня на паре лошадей, но я отказался.

Вечером во всех ротах было объявлено, что утром следующего дня на берегу озера будет отслужен «мухамеданский молебен».

Мы обсудили план действий. У меня, Гареева и Арзамасова за голенищами хранились удостоверения, заготовленные писарем Николаем: «Такой-то солдат такой-то роты, полка и дивизии направляется в свой полк в действующую армию. Денежным и приварочным довольствием снабжен по... число». Этот документ и арматурный список обеспечивали нам свободу передвижения, если нужно будет скрыться после выступления на собрании. Солдаты подходили командами по пять-десять человек из разных рот. Собралось около четырехсот человек. Большинство не знало даже, какой сегодня праздник.

— Говорят, царица сына родила, манифест хотят объявить.

— Вот перед тем, как мириться с Японией, тоже собрали мусульман и совершали намаз, — говорят старые служаки.

— Да, жди, так тебе и дадут мир! Видно, дела на фронте стали плохи, если разыскали муллу.

Сайфуллин уже на месте. Он говорит громко и торжественно:

— Братья мусульмане! Я, мулла девятой дивизии, нахожусь здесь проездом. Узнал, что в вашей части много мусульман, и собрал вас, чтобы вместе помолиться... Поверните козырьки назад и садитесь на землю...

Солдаты недоумевают. Ритуал им кажется слишком упрощенным.

— Без тагарата (омовения) совершать намаз?

— В тех же сапогах, в которых ходили в уборную?.. Это не по шариату, — ворчат сторонники строгой обрядности.

Сайфуллин сел на корточки, положил руки на колени и начал нараспев читать коран. Кончив чтение, он приподнял ладони к лицу, — солдаты последовали его примеру.

Затем солдаты подошли к мулле, чтоб подать ему «садак» [1]. Присаживаясь на корточки, каждый гладит обеими руками лицо и протягивает медную или серебряную монету. Когда эта процедура окончилась, Сайфуллин встал и обратился к присутствующим:

— Джамагат[2]! Царь наш милостив. Он разрешил собирать мусульман-солдат, читать им проповеди, а также хоронить по мусульманскому обряду убитых на войне. Наши мусульмане должны верой и правдой служить царю, который и нас не забывает своими милостями, — гнусавил Сайфуллин.

Едва он кончил проповедь, как с места встал Гареев и обратился к солдатам:

— Товарищи! Царь разрешил хоронить по мусульманскому обычаю убитых на фронте. Возможно, что о наших погибших братьях будут писать в газетах, восхвалять их геройство. Но какая нам польза от этого? Разве нам важно — как нас похоронят? Мы болеем душой о семье, детях, о хозяйстве... Ты бы, — обратился вызывающе Гареев

---

[1] Садак, или садака — подаяние, милостыня.

[2] Джамагат — община, обычное обращение духовных лиц к верующим у мусульман.

к оторопевшему от неожиданности Сайфуллину, — мулла-абзый, сказал нам, когда будет мир, когда нас, измученных, вернут в родные деревни?..

Обращение Гареева попало в точку. Мир, дом, семья — об этом все мечтали, хотя и боялись говорить. Солдаты дружно закричали:

— Вот это верно!

— Да, да, о мире скажи.

— Кормят плохо, обносились, дома некому работать.

Встал старший унтер-офицер Манапов.

— Братья-мусульмане, надо поблагодарить муллу за то, что он помолился за нас. Он едет к нам на родину. Попросим его передать братьям-мусульманам привет от нас, защищающих отечество.

Манапов повернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы, и продолжал сердито:

— Ты жалуешься на кормежку... А что ты жрал дома? Ржаной хлеб и картошку. А в казарме тебя и мясом, и кашей, и салом кормят. Стыдно жаловаться! Надо победить врага, а уж потом говорить о пище.

Я не выдержал, вскочил на ноги и ответил Манапову:

— Верно, друзья, у многих солдат, ушедших на войну, дома ничего, кроме картошки и черного хлеба, нет. Зато вот у родителей Манапова несколько лавок. Конечно, дома Манапову жилось сытно и привольно, да и здесь они сами на фронт не едут, а гонят тех, кто дома на одной картошке сидел...

Солдаты слушали с напряженным вниманием. Я продолжал еще увереннее:

— ... Манаповым война только выгодна. Они наживаются и богатеют от нее. А вот для крестьян война — разорение. Хозяйство в деревне без работников пропадает, молодежь всю угнали в окопы и перебили, дети остались сиротками, миллионы здоровых людей превратились в калек...

— А что же делать? — крикнул солдат-башкир, напряженно слушавший меня.

— Многое можно сделать... Солдаты Австрии и Германии такие же крестьяне и рабочие, как и мы. Они тоже пошли против своей воли в окопы, их заставляют тамошние помещики и фабриканты стрелять в своих братьев...

Солдаты были взволнованы и возбуждены. Все давно тяготятся войной, хотят вернуться на родину, но эти мысли спрятаны где-то глубоко. А тут свой же брат-солдат громко, не боясь начальства, говорит, что воевать незачем. Солдаты взбудоражены, как никогда. Едва я кончил, как все обступили меня и засыпали вопросами. Подошел и Манапов. Он был подчеркнуто любезен, решив, что связываться со мной не совсем безопасно, да еще на таком многолюдном собрании.

— Напрасно ты, родной, меня такими словами позорил, — говорит он мне заискивающе.

Я знаю, что мне терять нечего, и, не задумываясь, отвечаю ему:

— Родным твоим я никогда не был и не собираюсь стать. А что касается моих слов, которые тебя позорят, то спроси наших товарищей...

Манапов понял, что продолжать со мной спор невыгодно, и быстро стушевался.

Наша беседа продолжалась до самого обеда и лишний раз доказала, как быстро назревает протест против войны даже среди самых забитых и отсталых солдат.

Когда почти все разошлись, мы тоже поплелись к себе в часть. Оказывается, что утром во время нашего отсутствия там произошли интересные события. Группа солдат, и среди них приятели Николая, с которыми мы недавно познакомились, напала на канцелярию комендантского управления. Угрожая оружием, они заставили казначея выдать им все наличные деньги. Но тут же участников ограбления задержала подоспевшая охрана.

Николай успел также пронюхать, что завтра предполагают маршевиков отправить на фронт, и рассказал нам об этом.

Это известие заставило нас насторожиться. Егоров был сторонником немедленного побега.

— Из маршевой роты, а тем более с фронта скрыться не удастся,— доказывал нам Егоров, —да и здесь надзор за нами после сегодняшнего будет строже.

Когда я подходил к своей палатке, меня окликнул взводный Азегереев, отвел в сторону и громко спросил, получаю ли я письма из деревни.

«Закидывает удочку», — мелькнуло у меня в голове.

Но Азегереев неожиданно понизил голос и сказал скороговоркой:

— Сегодня в канцелярию роты явился неизвестный офицер, о чем-то шептался с Бахтияровым, затем они вызывали нашего ротного. Я подслушал обрывок их разговора, — они упоминали тебя и фамилии Севастьянова и Гареева. Смотри, берегись!..

Все становилось ясным. Нужно скорее бежать; у нас есть свежее воспоминание о тех, которых вызывали в «штаб», откуда они больше не возвращались.

Я сказал Азегерееву, что вместе с Гареевым и Арзамасовым уеду в Меджибуж, хотя решил направиться к позициям, и просил передать Егорову, что мы спешно снялись с якоря.

В ПУТИ

Итти на вокзал было опасно. В поездах проверяли документы, на перроне можно было нарваться на патруль.

Мы решили отправиться на товарные пути, где всегда стояли груженые составы, и забраться в какой-нибудь вагон.

Но и здесь встретились неожиданные препятствия. Составы на остановках охранялись стражей, и при первой же попытке залезть в вагон нас прогнали прочь.

Темная ночь. Вдали мерцают цветные огни семафоров и фонари сцепщиков и кондукторов.

Перрон ярко освещен, и нам хорошо видно все, что там происходит. Сунуться туда нельзя. Но что же нам делать? Рассвет уже недалеко, а днем нечего и думать забраться в вагон.

Со стороны Лужек громыхает приближающийся поезд.

Шум нарастает. Вот уже видны быстро увеличивающиеся огни паровоза. Эх, была — не была, попробуем!

Лязгают цепи и буфера... Длинный ряд площадок, груженных артиллерийским имуществом, а за ними — крытые вагоны. Слышно фырканье лошадей и громкие разговоры.

Подходим ближе. Какой-то солдат, приняв нас, видимо, за своих, кричит сверху:

— Куда, земляки? К начальнику парка, что ли?

Солдат присматривается к нам, видит за спинами мешки и решает, что мы возвращаемся назад в Россию.

— Не туда, земляки, сунулись: наш поезд к позициям идет.

Мы видим, что солдат настроен добродушно, и начинаем с ним беседу. Объясняем ему, что отстали от своей части, которая отправилась на позиции, хотим ее нагнать, но боимся сунуться на станцию — как бы не арестовали за дезертирство.

Солдат нерешительно чешет затылок, он колеблется, но, подумав, разрешает мне залезть в вагон, а двум моим товарищам велит забраться в соседние.

— Зверь у нас очень начальник парка, — объясняет свои колебания солдат. — Если заметит — не приведи господи! Вот сюда лезь, — добавляет он, показывая на тюк спрессованного сена, — здесь никто не увидит.

— Эй, эй, земляк, вставай! — будит кто-то меня и тянет за рукав.

Передо мной стоит вчерашний солдат.

— Скоро приедем на станцию, там обедать будем, а в это время начальник по вагонам ходит... Ты, как поезд остановится, прыгай на землю и беги к четвертому вагону, — там твои земляки и наш взвод.

Вокруг сосновые леса. Мы уже в Галиции, скоро — Тарнополь. Мимо окоп мелькают какие-то домики, будки, вагоны. Поезд замедляет ход, — должно быть, подъезжаем к станции. Я не дожидаюсь остановки, соскакиваю с подножки и бегу к четвертому вагону. Взбираюсь в вагон и сразу попадаю в дружеские объятия Аришкина, — мы служили вместе в Меджибуже.

Начались разговоры, расспросы, шутки. Аришкин достал хлеб и свинину и угостил меня. К нашей беседе быстро присоединились другие солдаты, ехавшие вместе с Аришкиным. Они успели побывать на фронте и после ранения попали в слабосильную команду, а оттуда — в этот четвертый артиллерийский парк.

Поздно вечером мы остановились в небольшой деревушке в трех километрах от Тарнополя.

Парк получил приказ выгружаться.

... Мы предъявили свои документы и были направлены в слабосильную команду, в распоряжение коменданта. В команде свыше двухсот солдат из разных полков.

Каждое утро нескольких назначают в наряд для уборки кухни и канцелярии коменданта. Остальные свободны, шатаются до вечера по городу, а вечером играют в карты в помещении команды.

Хромой солдат, который уже два месяца околачивался в этой команде, объяснил нам:

— Раньше здесь народу было не так много. Прибудет человек в команду, а его через два-три дня — на позиции. А теперь новый начальник появился — добрый человек, дай ему бог здоровья, поручик молоденький, в руку ранен, — так он своих солдатиков в обиду не дает. Зря людей не выписывает.

Пришлось через несколько дней и мне отправиться убирать канцелярию коменданта. Нас было пять человек, с унтером во главе. Пришли с утра, подмели полы, убрали сор, вытерли пыль. Занятия в канцелярии еще не начинались. Затем пришли писаря и несколько ординарцев. Все ждали начальника пункта. Я собрался выйти во двор, как вдруг раздалась громкая команда: «Смирно!» Все застыли на местах.

Мимо меня пробежал писарь и почтительно распахнул дверь. В канцелярию вошел офицер, рука у него была на перевязи. Повидимому, это начальник команды. Дежурный писарь отрапортовал ему. Офицер быстро повернулся и направился в кабинет.

Это был Зеленский.

Он, конечно, сразу узнал меня и велел зайти в кабинет. Я рассказал о своих злоключениях. Зеленский, оказывается, уже был на фронте, где его контузили. После шестимесячного пребывания в лазарете он попал вторично на позиции, был ранен в руку, и сейчас временно заменяет коменданта.

— Ну, что же с тобой делать? — спросил Зеленский.— Хочешь итти ко мне денщиком? Мой денщик просится в отпуск.

Я, разумеется, охотно согласился и поблагодарил его.

При помощи Зеленского мне удалось устроить Арза-

масова, Гареева и Егорова, который вскоре после нас прибыл в Тарнополь.

Здесь мне удалось завязать *сношения с многими солдатами и вести с ними беседы*. Свободного времени для этого было достаточно.

Царское правительство в то время усиленно распространяло слухи о шпионаже евреев, пытаясь свалить на них вину за беспрерывные неудачи на фронтах.

У некоторых забитых, отсталых солдат эта агитация имела порой успех. Требовалось много труда и терпения, чтобы разъяснить им истинное положение вещей.

Однажды я беседовал с взводным. Степенный крестьянин-бородач, запасной, он часто вспоминал семью, свое полунищенское хозяйство и тяготился пребыванием в армии, хотя ссылался обычно в разговорах на то, что «принимал присягу», «целовал крест» и поэтому должен отслужить «царю-батюшке» верой и правдой. Он часто упоминал, что «шпионы жиды продали Расеюшку германцу» и что, если бы не это, русские давно бы одержали победу. Мои осторожные попытки разубедить его наталкивались на недоверие ко мне, как к «турку», которым он меня почему-то считал.

Однажды в нашей беседе принимал участие Егоров. Он яростно набросился на бородача:

— Вот, друг мой, я не турок и не еврей, а православный, такой же, как и ты. Но должен тебе сказать, что товарищ во всем прав... Вот погнали тебя на позиции, возможно — убьют там, а семья твоя что будет делать? Кто о ней позаботится? По-миру ребята пойдут! А кому нужна эта война? Много ты от нее пользы имеешь? А на евреев нарочно все сваливают, чтобы головы вам забить.

Простые, но ясные доводы заметно повлияли на бородача. Он крепко задумался. И как раз в этот момент на наших же глазах разыгралась сцена, подтвердившая мои доводы.

Под телегой спал какой-то солдат, земляк нашего взводного. Мимо проходил офицер. Мы вытянулись, отдали честь. Офицер взглянул на нас, увидев спящего солдата, подошел ближе, пнул его ногой и разразился руганью, приняв его почему-то за еврея.

— Спишь, жидовская морда? От службы увиливаешь?

Из-за вас, жидов, войну проигрываем!.. Шапку надень как следует! Скотина! Гимнастерку подправь! Под арест на пять суток!..

Бедный унтер был сконфужен и удручен до последней степени.

Легенда о поголовном шпионаже евреев усиленно распространяется.

Зеленский рассказал нам о случае, происшедшем на-днях с ним.

На окраине порвали провод полевого телефона. Связисты, которых послали исправлять повреждение, увидели вблизи какого-то бедного еврея, собиравшего щепки. Фельдфебель арестовал еврея и избил его, требуя, чтобы он сознался в «шпионаже». На дом к еврею послали патруль произвести обыск. Обыск свелся к тому, что солдаты изнасиловали двух дочерей бедняги, а его самого избили до полусмерти.

Бывший городской голова Тарнополя и несколько граждан явились к Зеленскому с жалобой. Зеленский, разумеется, дал немедленно ход жалобе и препроводил ее начальнику резервных частей, генералу Орлову, с просьбой предать виновных полевому суду.

— А знаете, что ответил Орлов? — закончил взволнованный Зеленский. — Вот, читайте:

«Я вам не советую защищать жидов, врагов царя и родины...»

... Комендант, которого Зеленский заменяет, на-днях вернется. Надо что-то придумать, иначе грозит отправка на фронт. Зеленский предлагает нам отправиться на саперные курсы, которые находятся в двадцати километрах от Тарнополя.

— Начальник курсов — старый капитан, я его знаю,— говорит Зеленский. — Думаю, что вам там будет неплохо. Занятиями вас обременять не будут. Капитан требует только, чтобы солдаты умели тянуться перед начальством.

Выбора у нас, впрочем, не было. Решили отправиться на саперные курсы.

НА ПУТИ К КУРСАМ

Шагаем с утра по дороге к деревне, где находятся курсы. Мы невдалеке от фронта, всюду видны военные приготовления, движутся обозы, скачут ординарцы.

У реки женщины рыли окопы. Этих крестьянок согнали из окрестных деревень и заставили рыть окопы, из которых русские солдаты будут убивать их мужей и братьев.

Работой руководили унтеры, беспрерывно подгонявшие женщин и изощрявшиеся в отборной ругани. Некоторые, не стесняясь присутствующих, хватают молодых женщин, тискают их...

Пройдя километров десять, мы сели отдохнуть.

— Уже пора хлеб убирать,— мечтательно говорит Гареев, растянувшись на траве, — а у нас еще, наверное, сенокос... Взять бы сейчас косу и выйти в поле, а трава высокая, свежая!

Мечтания Гареева были прерваны конским топотом. По дороге ехал офицер верхом на гнедой лошади, а за ним — вестовой. Мы вскочили на ноги, оправили гимнастерки и вытянулись.

— Куда, ребята?— спросил подозрительно офицер с капитанскими погонами.

Я выпятил грудь и громко гаркнул:

— На саперные курсы, ваше высокородие!

Капитану понравился мой молодцеватый ответ. Он подъехал ближе и спросил мою фамилию. Я еще громче назвал свою фамилию, полк и роту.

— Молодец!— улыбнулся капитан.— Как только явишься на курсы, скажи фельдфебелю, что я велел зачислить вас в первый взвод.

Очевидно, это был начальник курсов.

Мы расстались и пошли дальше. За поворотом какой-то старик-крестьянин и две женщины жали небольшую полоску ржи. Увидев нас, женщины прекратили работу и испуганно глядели на нас.

На наше приветствие недоверчиво ответил старик, продолжая работать. Гареев начал собирать оставшиеся колосья и вязать их в снопы. Увидя это, женщины и старик явно повеселели. Мы последовали примеру Гаре-

ева, сбросили мешки на землю, взяли серпы и за какой-нибудь час сжали оставшуюся полосу и сложили снопы в копны.

Старик и женщины поблагодарили нас на ломаном русском языке и пригласили пообедать с ними. Их скудная трапеза состояла из краюхи хлеба и вареной картошки. Мы развязали мешки, вынули оттуда вареное мясо и предложили, в свою очередь, старику и женщинам.

Старик поведал нам свою горестную судьбу, хотя и обычную для этих мест, где прошла тяжелая колесница войны, смяв и исковеркав не одну жизнь.

Двух сыновей старика забрали на войну, и вот уже более года как от них нет вестей. В хозяйстве были две коровы: одну забрали австрийцы при отступлении, вторую реквизировали русские. И он остался один со старухой и невесткой на этом жалком клочке земли. Это — все, что осталось от их прежнего хозяйства.

— А почему же не сеете на той земле, ведь ее там много?— спросил Гареев, показывая на видневшиеся по ту сторону дороги поля, заросшие дикой травой.

— Ни, як можно... То есть зэмля папа Эйзовскòго.

НА КУРСАХ

Курсы были размещены в маленькой деревушке, где было всего двенадцать дворов. Курсанты жили в землянках, и только начальство разместилось в крестьянских избах. Всех курсантов было около сотни, среди них человек тридцать вольноопределяющихся. Они пользуются преимуществами и освобождены от хозяйственных работ. Зато остальным приходится нести двойную нагрузку: таскать воду, добывать и приносить дрова из леса, расположенного за семь километров, убирать землянки. На это уходит большая часть дня.

Занятия производят довольно жалкое впечатление. Прапорщик берет руководство по саперному делу и читает, как надо рыть окопы, бойницы, как сооружать проволочные заграждения. Сами руководители ничего не смыслят в этом деле, их объяснения непонятны, хотя они и воображают себя специалистами саперного дела.

Изредка наезжает и капитан, начальник курсов. Он,

впрочем, занятиями мало интересуется, а только следит за выправкой солдат и за их внешним видом.

Капитан искренно убежден, что именно эти качества наиболее важны на войне.

Ко мне капитан проявлял особую симпатию. У него слабость к верховой езде, но сидит он на лошади, как мешок с сеном. Он машет руками, как ветряная мельница, и прыгает в седле. Однако охота — пуще неволи, и поэтому почти ежедневно капитан велит с утра подать лошадь и делает неуклюжие попытки изобразить лихого наездника.

Как-то, придя на занятия, он спросил:

— Кто был в кавалерии?

Я выступил на два шага вперед:

— Я, ваше высокородие.

— А ну-ка покажи... Шпоры нужны?

Я легко вскочил в седло, подтянул поводья, чтобы лошадь держала голову прямо, и сделал два круга.

Капитан был в явном восхищении от моей посадки и заставил подробно объяснить приемы верховой езды.

...Курсы меня начинают тяготить. Жить в землянке — не большое удовольствие. Еще менее приятно таскать ежедневно дрова и воду за несколько километров. Даже поговорить откровенно ни с кем нельзя — везде торчат вольноопределяющиеся.

Я был искренно рад, когда в начале августа нас отправили в части.

НА ФРОНТЕ

Меня и Егорова направили в саперную команду Суздальского полка. Она находилась в деревне Янис, в семи-восьми километрах от фронта. Начальник команды, поручик Кирвашпко, изрыгавший ежеминутно целые фонтаны ругательств по адресу солдат, мало понимал в саперном деле. Он знал не больше, чем наши преподаватели на курсах. Еще меньше, конечно, знали мы.

Тем не менее, каждый день, по наряду, нас командировали группами по четыре-пять человек по ротам. Там давали нам на помощь солдат, и мы вместе рыли блиндажи, окопы, ремонтировали землянки полкового

начальства. Иногда нас заставляли рыть глубокие убежища для укрытия от артиллерийского огня. Такие убежища прикрывались несколькими рядами толстых бревен, которые мы засыпали землей.

...Вчера фельдфебель направил на работу меня, Егорова и еще двух солдат. Было еще светло. До сумерек нам надо было отремонтировать землянку полковника, а вечером вырыть для второго батальона новые окопы перед проволочными заграждениями.

Мы пошли по тропинке, круто подымавшейся на пригорок. Впереди слышались редкие выстрелы. Дождевые капли лениво падали на пожелтевшие листья деревьев. Было уныло, пасмурно и тоскливо.

Наконец мы дошли к месту назначения. Три землянки. Около одной из них солдат на часах.

Зашли в одну из землянок. Два телефониста, денщик и два вестовых. Все ежатся от сырости и холода. Денщик, узнав о цели нашего прихода, пошел докладывать полковнику.

Один из вестовых широко зевнул.

— Чорт бы побрал эту позицию!.. Уже девятый месяц торчим на одном месте... Как вечер, так тебе угощенье готово: начнут посыпать снарядами, только успевай принимать...

— Хорошо вам, саперам,—разглагольствовал солдат:— живете вы в деревне, горя не знаете...

Его монолог прерывает вернувшийся денщик.

— Командир приказал распилить четыре доски, что лежат возле землянки, и настлать пол, а завтра утеплить землянку.

— Чтоб ему не выбраться из землянки!— пожелал ему вестовой.— Вчера только заставил содрать эти доски с крыши дома одной бедной женщины. Двое ребятишек у ней... До чего убивалась, несчастная!

Приказ надо выполнить. Отправляемся пилить доски и настилать пол в землянке полковника. Кое-как прилаживаем доски, все же весь пол закрыть не удается: остается небольшой кусок земли. Как раз в этот момент заходит полковник. В руке у него нагайка. Он явно не в духе и недовольно косится на нас.

— Кто у вас старшой?— орет он истошным голосом.

— Никак нет у нас старшего,— смиренно отвечает латыш-солдат, бывший с нами.

— Это еще что за безобразие? Олухи! Кто вас пустил на работу без старшого? Работнички! Воду бы на вас, сволочи, возить!..

Полковник взбешен и сердито помахивает нагайкой. Видя, что дело принимает угрожающий оборот, я делаю шаг вперед и докладываю:

— Так что дозвольте доложить...

— Молчать!— багровеет полковник, взмахивая нагайкой.

Егоров, не выпустивший еще из рук топора, которым он обтесывал доску, потряхивает им внушительно и подходит к полковнику ближе.

Их высокоблагородие явно струсил. Рядом позиции, дело ночное, солдаты распущены,— стоит ли связываться? Он ограничивается потоком крепких слов и в заключение рычит:

— Вон отсюда! К чортовой матери!

Этой команде мы подчинились с искренним удовольствием.

Мы направляемся по глубокому ходу сообщения к окопам. Липкая грязь под ногами, тяжелые сапоги, облепленные приставшей глиной, намокшие шинели,— все это делает нашу прогулку не очень приятной.

Со стороны австрийцев слышны редкие винтовочные выстрелы, сопровождающиеся иногда короткой пулеметной очередью. Неожиданно вступает артиллерия. Орудия ухают беспрестанно. Перед окопами низко стелется вонючий дым от снарядов, которыми австрийцы засыпают наших.

Мы подошли к землянке ротных командиров. Перед дверью стоит часовой. Он пропускает нас внутрь. Железная печурка пылает в середине землянки, а у стола сидят господа офицеры и сражаются в карты. На столе груды разноцветных ассигнаций. Командир приказывает мне вырыть в конце окопа в сторону австрийцев канаву, а Сергиевскому — доставить из леса, находящегося на расстоянии нескольких километров, бревна для глубокого

убежища. Каждому из нас дают для помощи по взводу солдат.

Выхожу из землянки и расставляю солдат. Однако работать долго нам не приходится. Австрийцы нас обстреливают пулеметным огнем, и мы вынуждены спрятаться в окопах. Со стороны австрийских позиций слышны голоса, стуки, шум.

Мои помощники роют не очень охотно. Я, впрочем, не принуждаю их.

Мы садимся покурить.

— Давно в окопах?— спрашиваю своего соседа.

— Счет дням потеряли. С весны сидим здесь. Ни сна, ни отдыха. Ночью роем, а днем лежим в этих ямах. Чистое наказание!

Здесь, как и везде на фронте, тупая усталость и безразличие, готовое перейти в гневный протест. Этот протест был уже не за горами...

— Вот вы, саперы, везде таскаетесь,— обращается ко мне солдат; лица его я в темноте разглядеть не могу;— может, слышали насчет замирения? Весной в нашей роте был один сапер, жил четыре дня,— он вот говорил, если солдаты вместе с рабочими не сделают замирения, то и не жди; сам царь мириться с германцами не будет.

— Да что царь! Сам он, что ли, воюет?— глухо ворчит кто-то.

Перед рассветом вернулся Сергиевский. Он еле стоит на ногах от усталости и весь испачкан в грязи. Ему пришлось в темноте, рискуя ежеминутно поскользнуться, таскать на себе тяжелые бревна для убежища. Одного солдата придавило бревном.

— Чем так мучиться, уж лучше прямо выйти из окопов и стать под пули — сразу успокоишься,—говорит Сергиевский, дрожа от волнения и гнева.

Австрийцы открыли ураганный огонь. Наши стали отвечать. Гул снарядов, свист пуль, трескотня пулеметов,— все сливается в один сплошной гул.

Уже светает. Дождь перестал лить. Облака плывут низко. Стрельба утихает.

Я выглянул в бойницу. Окопы австрийцев совсем близко — рукой подать. Отчетливо слышен разговор на чужом языке.

— Берегись, земляк: днем австрияк стреляет по бойницам. Вчера одного солдата нашего взвода таким вот манером убили наповал, прямо в переносицу,— предостерегает меня сосед.

Мимо нас проходят два офицера. Они подошли к бойницам и начали осматривать австрийские окопы.

— Вон, вон видны головы двух мадьяр. Ах, сволочи!— выражает свой восторг молодой прапорщик, наблюдавший в бинокль.

Прапорщик хватает винтовку и начинает стрелять в австрийский окоп. Его примеру следует и второй офицер. Я стою далеко от них и слышу, как реагируют солдаты на эти офицерские развлечения.

— Ночью дрыхнут в теплых землянках, а утром приходят сюда австриняка дразнить,— ворчит рыжеусый.— Только зря подзадоривают его...

Действительно, австрийцы не остаются в долгу и открывают бешеную стрельбу. Прапорщики уходят и расталкивают солдат, сидевших в окопах, приказывают им встать у бойниц и стрелять. Несколько австрийских бомб разрывается вблизи окопа. У нас есть раненые, один убит.

Спустя полчаса огонь австрийцев постепенно затихает. Офицеры довольны.

— Рота, пли!

Я посмотрел в бойницу: австрийцы отходят назад, оставляют передовые окопы.

Один из офицеров самодовольно заявляет:

— Не выдержали, гайка слаба! Сейчас ворвемся в их окопы.

— Никак нет,— осторожно замечает пулеметчик.— Между позициями очень тесно, они и отошли. Их артиллерии действовать несподручно.

Прапорщик вскипел и начал зверски ругать пулеметчика.

— Надеть сумки!— донеслась команда.

Солдаты дрожат, как в лихорадке. Многие крестятся. Взводные мечутся по окопу, подталкивают солдат, ругаются.

Мы нехотя вылезаем из окопов, но не успеваем сделать и двух шагов, как австрийцы засыпают нас снаря-

дами. Рота залегла и торопливо поползла назад в окопы, оставив наверху несколько десятков убитых и раненых.

Австрийцы разозлились не на шутку и шлют свои смертоносные гостинцы пачками. Снаряды разрываются над окопами. Летят бревна, камни, комья земли, черный густой дым стелется над окопами.

Всюду видны убитые. Одни уткнулись головой в землю, другие застыли в странных позах, так, как их застала смерть. Везде слышны стоны и крики. Обрушилась стена блиндажа и придавила несколько человек. Из-под земли торчат руки и ноги. Одного солдата засыпало по пояс. Лицо у него посинело от натуги. Мы его быстро откопали, но стоять на ногах он не мог.

Слезы брызнули у него из глаз, язык беззвучно шевелится, но не издает ни одного звука,— бедняга, по-видимому, парализован.

Стрельба не прекращается до вечера. Только перед рассветом, усталые, разбитые, измученные, мы вернулись к себе в команду.

Фельдфебель встретил нас руганью:

— Зачем вернулись, собачьи дети? Кто вам разрешил? Вам с утра надо было отправиться к командиру третьего батальона, исправить блиндаж... Сейчас же марш обратно! Иначе под суд!

Мы ничего не ответили. Фельдфебель ушел. Мы решили отдохнуть, а там видно будет. Зарываемся в солому и спим.

Уже наступили сумерки, когда Егоров меня разбудил:

— Вставай! Здесь только что был знакомый капитан-армус, он мне сказал, что Сорок седьмой полк где-то недалеко... Пойдем туда.

Мы захватили винтовки, сумки, мешки и направились в свой прежний полк.

Там остался кое-кто из наших друзей. Мы встретили Холодовского, и он сразу нас устроил; меня — помощником капитан-армуса, а Егорова — конюхом. Состав успел перемениться за это время. Полк стоял в деревне уже четыре месяца: за это время он несколько раз уходил на позиции, затем снова возвращался сюда. В те дни, когда полк находился в окопах, мы с Егоровым возили туда ночью хлеб и мясо. Не доезжая с километр до

передовой линии, мы останавливались и передавали солдатам продовольствие. Они набрасывались с жадностью на еду и уносили ее с собой. Эти встречи с солдатами давали нам возможность разъяснить им смысл и цели империалистической бойни. Они слушали нас охотно и внимательно.

1917 ГОД

17 февраля наш полк направился на отдых в деревню Вельвис — километров за пятнадцать от передовой линии. Солдат разместили по амбарам, сараям и клетям. На близлежащей железнодорожной станции соорудили в пустовавшем складе баню. Солдаты ходили туда ежедневно по очереди, полуротами.

Офицеры о нас мало заботились. Они целыми днями дулись в карты. Солдаты, ничем не занятые, бродили с утра до вечера по опустевшей деревне, собирались у ротной кухни, болтали, ловили жадно новости.

До нас порой доходили разговоры о Распутине, о тревожном настроении в Петрограде, о продовольственных затруднениях в крупных городах.

Мы использовали эти сведения для своей агитации. Наши слова падали на благодарную почву, вспаханную тремя годами войны и нечеловеческих страданий.

24 февраля нас неожиданно выстроили и прочли приказ командира полка:

«...С сегодняшнего дня категорически воспрещается нижним чинам полка кипятить чай около кухни, собираться там толпами, а также хождение по деревне и на станцию. С двадцать пятого февраля возобновить регулярные занятия по ротам».

«Что бы это могло значить?»— недоумевали солдаты, теряясь в догадках. Единственное объяснение, к которому склонялись все,— это, что нас собираются на-днях отправить на позиции. 27 февраля этот слух уже распространился по всем ротам. Называли даже точную дату отправки — 28 февраля.

Однако наступило двадцать восьмое, а никаких признаков выступления нет. Странно только, что офицеры снуют весь день как угорелые: они явно чем-то взволно-

ваны и днем заперлись в штабе полка. Что они там обсуждают? Наверное, тревожные вести с фронта...

Вечером ротный командир приказывает нам собраться у кухни и дает команду «вольно».

— Вот что, друзья! — начал наш ротный, как-то неуверенно и откашлялся. — Вы знаете, какую тяжелую войну мы сейчас ведем. Наш долг перед родиной — довести эту войну до победного конца... Государственная дума разуверилась в высшем командовании и поручила...— Тут наш поручик окончательно запутался и неожиданно закончил:— Наш полк остается еще несколько дней на отдыхе.

Солдаты удивленно моргали глазами. Они не поняли речи командира, но им стало ясно, что произошли какие-то важные события. После ухода командира они еще долго обсуждали и толковали на всякие лады его слова и высказывали различные догадки.

Мы решили использовать момент.

— Товарищи! — заговорил Егоров. — Настала пора дать Николаю Кровавому по шапке!..

Многие вздрогнули от слов Егорова.

Только что царя почтительно именовали «его императорское величество», а тут громко, во всеуслышание — «Николай Кровавый».

— ...Командир вам всего не сказал. Питерские рабочие и солдаты прогнали Николая. Мы еще не знаем всех подробностей этих событий, но нам надо быть на-чеку. Двенадцать лет тому назад царское правительство натравило солдат на рабочих и задушило революцию. Теперь мы этого не допустим! Солдаты должны быть заодно с рабочими и направить оружие против общих врагов!..

Речь Егорова, слова командира, слухи последних дней,— все это взбудоражило солдат.

Я слышу обрывки разговоров:

— Потребуем, чтобы офицеры рассказали обо всем.

— Кого, интересно, поставят царем?.. Наследник еще молодой.

— А нам что, лишь бы домой отпустили.

— Пущай теперь господа генералы повоюют, мы свое отвоевали. Будя!

— Нам теперь домой. Да землицы чтоб прирезали. Чай, недаром кровь проливали...

— Раз командиры сами говорят, то значит неладно.

Наша маленькая группа разрывалась на части, бегала по ротам и проводила везде беседы. В полночь мы устроили совещание, чтобы наметить план дальнейшей работы.

Решили, что Холодовский завтра переговорит по телефону со штабом полка, где работал Сайкель, и получит от него инструкции.

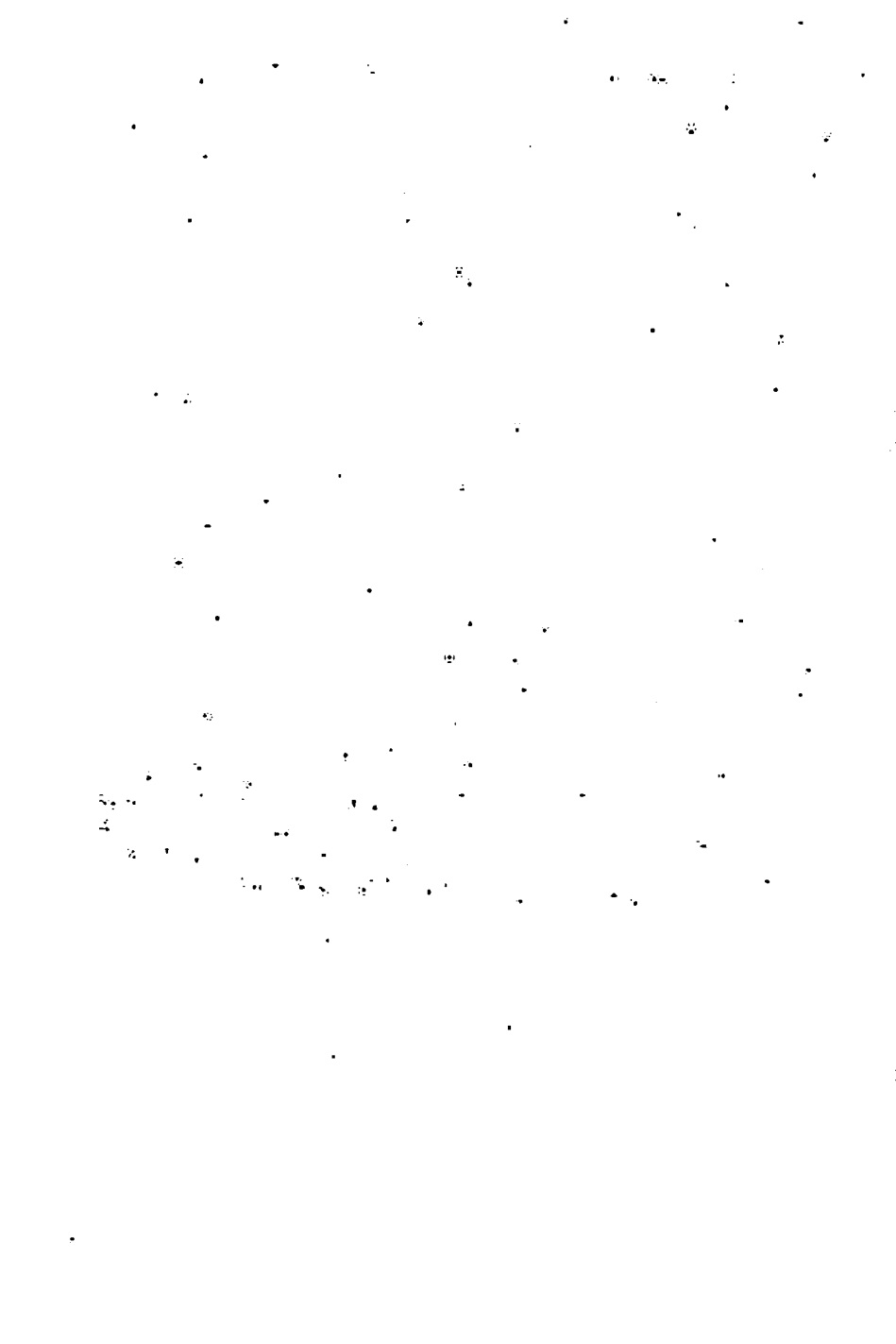
2 марта. Ясный, солнечный день. Солдаты взволнованы, возбуждены, гудят, как пчелиный рой. Все хотят узнать подробности петроградских событий, а главное: когда кончится война? когда можно будет ехать домой?

Вдруг раздалась команда: «Построиться!» В окружении целой свиты штабных офицеров к нам шел командир полка. Он растерян, смущен, но пытается скрыть это под напускной беспечностью и самоуверенностью.

— Вот что, родные!— торжественно начинает командир полка.— По божьему соизволению, государь император отказался от престола и передал его великому князю Михаилу Александровичу... Да здравствует его императорское величество!— рявкнул полковник и закричал «ура».

Солдаты мрачно молчат. Несколько голосов подхватили «ура», но оно звучало так неуверенно, что начальство растерялось и быстро ушло в штаб.

События шли ускоренным темпом. На другой день было получено известие, что Михаил «отрекся» от престола и в Петрограде образован Совет рабочих и солдатских депутатов. Мы тоже организовали полковой комитет, членами которого выбрали меня и Егорова.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЕСНА

Галиция разорена.

Миллионы солдатских ног истоптали ее дороги и улицы городов, местечек, деревень.

Миллионы разорвавшихся снарядов превратили в руины некогда цветущий край, и земля обильно обагрилась кровью стариков, женщин, детей.

Многие бежали. И только беднята, которая не хотела или не могла покинуть измученную родину, влачила жалкое существование, потеряв надежду на лучшие дни.

Люди думали, что мир и спокойствие больше никогда не вернутся.

Февральские дни, вести о свержении царя и отречении Михаила вселили смутные надежды в сердца бедных крестьян. Они прислушивались к разговорам солдат о мире и стали постепенно принимать участие в этих беседах. Русские солдаты не казались им больше врагами и грабителями; пробудилась взаимная симпатия.

В начале марта возникли солдатские комитеты; из Петербурга сообщили, что там при Совете рабочих депутатов организована солдатская секция.

Измученные беспросветной окопной жизнью солдаты вновь почувствовали себя гражданами, а не бесправной серой скотинкой, и стали смело заявлять на митингах о своих чаяниях и нуждах.

Но мысль о том, что Временное правительство возглавляет князь, вызывала тревожное раздумье и беспокойство о будущем.

— Опять князь!

— Да, только что фамилия — не Романов, но толк один.

— А в солдатские комитеты пролезает офицерье.

Солдаты хмурились.

В начале марта дни были по-весеннему теплые, снег чернел и таял.

Ночью случались заморозки, но днем солнце согрело землю, и начали засыхать проталины.

Настроение солдат было приподнятое.

Наш полк, вместе с Сорок шестым Днепровским, вывели из окопов на отдых.

Собрания, митинги, групповая громкая читка газет заполняли наши досуги.

Стоило двум-трем товарищам где-нибудь встретиться, прочесть письмо или выдержку из газеты, как сейчас же подходил четвертый, пятый; солдаты собирались со всех сторон, начинались разговоры, возгласы, вопросы.

— Что нового?

— Не пишут ли о земле?

— Не объявился ли новый царь?

И открывался импровизированный митинг.

Митинги проводились везде: на улицах, в казармах, у походных кухонь, всюду — где были солдаты.

Холодовский — сейчас центральная фигура в нашем кружке.

Мы собираемся ежедневно в сарайчике, где помещается наша ротная кухня. Богомолов, Сагадатгареев, Плахин из шестнадцатой роты приходят с небольшим опозданием.

Изредка стал появляться в нашем кружке ротный фельдфебель Родионов. Но он больше отмалчивался и своего мнения о событиях не высказывал.

Когда у нас однажды зашел разговор о думском комитете и петербургском совете, мы стали расспрашивать Родионова, пытаясь узнать его мнение по этим вопросам. Он медленно, закручивая длинные рыжие усы и облизывая губы, ответил:

— Раз организовано, стало быть, так и надо. Начальство больше нашего понимает,— и стал сосредоточенно сворачивать папироску.

Родионов — вологодский крестьянин, унтер-офицер запаса. Хотя он был мобилизован в самом начале войны,

но на фронт попал только в конце 1916 года. Вначале он храбрился, говорил о том, что давно мечтал получить боевое крещение. Но после февраля он круто изменил курс, начал жаловаться, что офицеры притесняют унтеров не меньше, чем солдат, и что на фронт его послали за какую-то пустяковую провинность.

— Наш фельдфебель, что манная крупа: сваришь на воде — крутая каша, сваришь на молоке — жидкая,— говорит о Родионове Богомолов.

Однажды Холодовский беседовал с солдатами о причинах крушения царизма и о подозрительной политике думского комитета. Родионов внезапно поднялся, закурил и громко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Все про одно и то же. Ежели так долго что-нибудь разжевывать, то оно вкус теряет.

Украинец Гончаренко резко оборвал его:

— Не вертишь — не слухай, а нам не мешай.

Родионов ушел молча, ничего не возразив.

СНОВА В ОКОПАХ

Пока мы были на отдыхе, работа полкового комитета велась довольно оживленно. Мы ежедневно совещались с Холодовским, выбранным в дивизионный комитет.

Но 20 марта нас снова послали в окопы. Штаб полка находился неподалеку, там же и разместился полковой комитет, в который вошли Богомолов, я, еще четыре солдата, один унтер и прапорщики Игнатьев и Матвеев.

В окопах работа комитета пошла значительно на убыль.

Матвеев сначала ласково, а потом с заметным раздражением говорил ежедневно собирающимся членам комитета:

— Чего вы тут зря толкаетесь? Отвели вам квартиры — ну, и лежали бы себе там на боку до обеда. Хватит и того, что здесь все время околачивается ваш председатель — прапорщик Игнатьев. Скоро полк пойдет в наступление, покажет свою доблесть, тогда его опять отведут на отдых, и можете митинговать, сколько угодно.

— Было бы гораздо лучше, если б война кончилась до наступления,— возразил однажды Богомолов.

Но прапорщик, сощурив глаз и высоко подняв правую бровь, перебил его:

— Надо сначала победить врага, а потом...

И, не закончив фразу, он ушел.

Около кухни пятнадцатой роты кашевар и артельщик возились с крупой. К ним подошел солдат этой же роты Севастьянов. Он — из белобилетников, высокий, широкогрудый, левое плечо ниже правого, при разговоре один угол рта раскрывается больше.

Севастьянов достал из шапки письмо, вновь надел шапку, прижал ее правой рукой и, немного помявшись, сказал:

— Вот письмо получил, да глаза что-то плохо видеть стали. Прочитай! — и протянул письмо артельщику.

Севастьянов стеснялся своей неграмотности и поэтому ссылался на плохое зрение.

— От жены, что ли?— спросил кашевар.

— Вот увидим, почитаем,— ответил артельщик и начал читать.

Письмо было от старшего брата Ивана. Первая страница была занята многочисленными поклонами от родных, соседей, знакомых, сообщениями о раненых, вернувшихся с фронта.

На другой странице артельщик прочел: «... и еще сообщаю тебе, братец, что твоя благоверная Клавдия теперь с нами знаться не желает. Люди толкуют: как только она получает из казны пособие, варит кислушку, собирает гостей и веселится. Своими глазами не видал, и кто там у нее был, прописать не могу. Писать же напраслину и этим брать грех на душу не буду. Клавдия также похаживает в соседние деревни...»

Севастьянов вдруг вырвал письмо из рук артельщика.

Он побледнел, руки его дрожали. Он нервно мял письмо и злобно процедил:

— Сволочи!

Неизвестно было, кого он ругал: жену, брата, артельщика или, может быть, всех вместе. Кашевар, добродушно усмехаясь, пытался его утешать:

— Стоит ли из-за пустяков расстраиваться. Вот Австрию победим и заберем себе самых красивых девок.

Севастьянов еще больше рассвирепел и, злобно взглянув на каптенара, плюнул:

— Победишь ты, нестроевая крыса! Только народ зря гибнет, и все побеждают — победители!..— и он закончил фразу сочной и длинной бранью.

Мимо кухни проходил начальник хозяйственной части полка, штабс-капитан Тамарин.

Услышав брань, он сердито посмотрел на Севастьянова и, нахмурив брови, спросил:

— Ты что тут разоряешься, сметанник?

— Да замиренья-то нет, ваш-бродь, зря нас только таскают.

— Ничего, заставим австрияков просить мира.

— Заставите,— неуверенно растягивая слова, сказал Севастьянов.— У нас-то, в деревне, и то порядку не стало! На баб управы не найдешь!

Севастьянов, понурив голову, ушел.

По вечерам мы с Богомоловым ходили в окопы. Иногда к нам присоединялся солдат первой роты, тоже член комитета. Все его участие выражалось в том, что он на вопросы офицеров: «Вы тоже член комитета?» — отвечал, вытягиваясь и отчеканивая слова:

— Так точно, ваш-бродь.

Однажды вечером мы с Богомоловым отправились в окопы. До наступления темноты мы шли по ложбине, медленно, изредка останавливались.

— Ночь сегодня будет хорошая, надо до утра посетить все роты, — сказал я, закуривая.

— Ладно.

— А у нас теперь, наверно, уже пашут,— продолжал Богомолов после непродолжительной паузы, задумчиво глядя на звезды, щедро рассыпанные по темному бархату небосклона.

Потом он стал рассказывать о доме, о жене Ольге, о хозяйстве и работе.

В его словах чувствовалась страстная тоска по дому. Они прерывались частыми и тяжелыми вздохами.

Когда он кончил свой грустный рассказ, нам говорить не хотелось, и мы шли молча.

Ночную тишину изредка нарушал одинокий выстрел или взрыв бомбы.

Глубокая расщелина между гор, покрытых густым лесом, наполнена непроницаемой тьмой. Изредка падающие звезды проносятся по темному небосводу.

Мы подошли к гаснущему костру, вокруг которого сидело несколько солдат.

Один из сидящих, солдат с реденькой бородкой, сразу узнал нас:

— Садитесь, товарищи,— пригласил он, указывая место рядом с собой.

Нас засыпали вопросами:

— Что нового?

— Что пишут в газетах?

— Мир скоро будет?

— Верно ли, что вышел приказ снять погоны с офицеров и солдат?

— Вернемся ли домой к севу?

Мы рассказали о положении дел в комитете, об ироническом отношении к комитетским делам офицеров Игнатьева и Матвеева, о том, что Временное правительство и не думает о заключении мира, что войну нужно кончать самим, без согласия начальства.

Нашу беседу перебил внезапно появившийся фельдфебель. Он приказал солдатам разойтись по своим отделениям.

Узнав, что мы члены полкового комитета, он насмешливо сказал:

— Что же вы, герои, по ночам ходите? Пожаловали бы днем отведать австрийских гостинцев.

— Скоро все солдаты уйдут из окопов, и ты их и ночью и днем не увидишь,— ответил я.

Фельдфебель пробормотал что-то невнятное и ушел.

Мы побывали еще в нескольких отделениях, и всюду нам задавали те же вопросы о мире, всюду мы видели те же напряженно ждущие глаза солдат.

В окопах тихо.

Справа, с гор, доносятся слабые отзвуки артиллерийской канонады. На левом фланге, с небольшими перерывами, тарахтит пулемет.

Вспомнились былые дни четырнадцатого, пятнадца-

того годов, когда круглые сутки грохотали орудия, белые, красные и желтые ракеты молниями прорезывали ночную темень, ослепляя непривычные глаза, когда бесконечные обозы тянулись по дорогам и отовсюду слышалось ржанье лошадей, гомон, крик и стоны раненых.

Теперь все тихо, спокойно.

Нет спокойствия только в душе солдат.

Завтра может последовать приказ о наступлении, и вновь придется крошить, убивать друг друга.

Но солдаты уже не те.

Многие и многие думают о том, что они больше не пойдут убивать таких же рабочих и крестьян, как они сами.

Они думают о том, чтобы повернуть пушки, потрясающие землю и уничтожающие людей, против тех, которые не дают им жить и работать, потрясти старый мир — мир смерти, нищеты, эксплоатации, разрушения.

Эти думы крепко залегли в головы солдат и не дают им покоя в тревожные весенние ночи...

Серые густые облака растаяли, ярче засверкали звезды.

Когда мы вошли в окопы, четыре солдата, видимо, приняв нас за начальство, вскочили и потянулись к винтовкам, лежавшим в бойницах.

— Как дела, товарищи, все еще ночь охраняете?

— Путной перестрелки нет, а охранять заставляют.

— Мы вас за фельдфебелей приняли.

— А обедать нам не привезли?

Услышав нашу беседу, солдаты начали со всех сторон подходить ближе. Мы оказались в расположении девятой роты. Разговор вскоре переходит на излюбленную тему:

— Все еще тянут?

— Что думает начальство? Пора замирение делать!

— Какие законы о земле вышли?

— Ведь ни мы, ни австрийцы не стреляем. Чего же нас зря в окопах держать? Давно пора по домам распустить!

— Временное правительство кукиш вам даст, а не мир. Эти блюдолизы наших доблестных союзников только и думают, как бы продлить войну,— говорил я солдатам.

— Так зачем нам такое правительство? Гнать его надо в три шеи! Как Николая спихнли, так и их по шапке надо.

— Да, если от них ждать, они, пожалуй, отпустят, когда ладони шерстью зарастут!

Настроение солдат было подходящим, и наши слова о том, как надо добиваться мира и земли, находили в них живой отклик.

Мы двинулись дальше.

На левом фланге, в тринадцатой роте, один вольноопределяющийся крикнул нам:

— Слушайте, комитетчики! Почему мы не переходим в наступление? Надо скорей уничтожать австрияков, взять Львов и Вену...

Мы не успели еще ответить, как ефрейтор перебил его:

— Эй, ты, вольнопёр! Тебе хочется, видно, скорее офицером стать, но ты опоздал маленько. Николая нет, некому дать тебе погоны!

— И у офицеров сорвем погоны и кокарды,— добавил я.

— Ты лучше поезжай в Полтавскую губернию распрощаться со своим именьем,— смеясь, крикнул ему из темноты чей-то голос.

— Там наверно яблоки цветут сейчас...

— Барышни в белые платья нарядились...

Солдаты дружно захохотали.

Мы пошли к своей — четырнадцатой — роте.

Здесь — все знакомые.

Рассказывают обо всем, не стесняясь; рассказывают и о стычках с фельдфебелем и ротным командиром.

— Офицеры норовят, как бы нас объегорить,— говорит Дмитрий Пушкарев, рабочий Морозовской мануфактуры, проштрафившийся и отправленный на фронт в 1916 году.— Вчера наш ротный заявляет: «До тех пор, пока мы не победим Австрию и Германию, мира не заключим». Ему-то, конечно, легко хвастаться. А у нас ведь сил не стало. Солдаты остались — или старики, или совсем молодые, почти мальчики. Да, кроме того, насчёт оружия, снарядов, продовольствия тоже жидко стало. Они, черти, голыми руками да нашей кровью воевать хотят. Я, значит, ротному в этом роде сказал, а он мне: «Нет,— говорит,— у нас еще запасов хватит

на десять лет воевать, да и союзники нам помогут».—А у союзников, что же, солдаты, обмундирование и продовольствие с неба сыплются?— спрашиваю я его тогда, а он, сука, поворачивает разговор на другое: «Наш,—говорит,— народ темный, его еще надо учить. Если,— говорит,— сейчас дать темному народу свободу, порядков, — говорит,— не будет». И понёс. А все-таки, видно, офицеры теперь побаиваются нашего брата,— закончил Пушкарев, тряхнув головой.

Я рассказал, что в Девятнадцатой дивизии солдаты подняли на штыки офицера, обругавшего солдата, а в Одиннадцатом стрелковом полку убили полковника, который вырвал хлеб из рук своего денщика и стал им кормить собаку.

Мой взвод оказался в заставе, впереди окопов. Я направился туда, а Богомолов пошел в пятнадцатую роту поговорить с товарищами.

Взвод расположился в небольшом окопе, человек на тридцать, вырытом на склоне горы, в кустарнике.

Взводный сразу меня заметил.

— Что новенького?— обратился он ко мне. Подошли и солдаты. Лица у них были злые, невыспавшиеся.

— Сволочь наш фельдфебель. Взвод только третьего дня был в заставе, вчера всю ночь — в дозоре, а сегодня опять нас послал в заставу,— сказал один из подошедших.

Вскоре я узнал, что фельдфебель мстит нашему взводному за обиду. А дело было вот как: четыре дня тому назад, когда наша рота стояла в резерве и играли в «двадцать одно», фельдфебель проигрался. Банк держал взводный, и денег было порядочно. Фельдфебель заявил, что идет «ва-банк», и попросил карту. Но взводный отказался дать ему карту без ставки наличными. Понятно, что фельдфебель рассвирепел...

— Бывает ли перестрелка?— спросил я товарищей.

— Перестрелки нет, но окоп — все же окоп. Раз с обеих сторон торчат винтовки, значит, раньше или позже, будут стрелять,— ответил взводный.

Присутствующие сочувственно кивнули головами.

Они рассказали нам, что впереди за оврагом, в густом лесу, на склоне горы находится застава австрийцев, а немного дальше — передовая линия неприятельских

окопов. Перед вечером хорошо видно, как сменяются австрийские заставы, но наши по ним не стреляют. Австрийцы тоже не стреляют, когда на поляне между окопами показываются наши солдаты.

Близился рассвет.

Взводный и ефрейтор отправились вместе со мной снять секрет, расположенный впереди заставы. Мы застали их спящими. Взводный отослал их в заставу, и мы пошли к оврагу.

Уже рассвело, когда мы собирались повернуть обратно. Вдруг показались шедшие в нашу сторону три австрийца.

Они тоже заметили нас и остановились. Один из них сделал движение рукой, чтобы снять винтовку, но я поднял правую руку, сделал приглашительный жест, дружески закивал головой и всемерно старался дать им понять, что с нашей стороны им опасность не грозит.

Австрийцы нерешительно пошли к нам навстречу.

«А что, если они подойдут вплотную и проткнут нас штыками»? — мелькнуло в сознании, и по спине пробежала холодная дрожь.

Всходило солнце. При свете его можно было хорошо разглядеть австрийцев.

Один — высокий, здоровяк с длинными, закрученными вверх усами — шагал размеренно и медленно, втянув шею, точно желая казаться ниже ростом.

Второй — плоский, широкогрудый, рыжеусый — и третий — низкого роста, худощавый, с кривыми ногами кавалериста — шли позади.

Когда нас разделяло расстояние не больше двух-трех шагов, я, а за мной взводный и ефрейтор протянули руки австрийцам. Те, взяв винтовки в левую руку, сделали то же.

Мы начали объясняться каждый на своем языке, энергично жестикулируя. Мы старались им втолковать, что царя свергли и наши солдаты больше воевать не хотят.

Я предложил им табаку,— они взяли. Рыжеусый, в свою очередь, набил трубку своим табаком и протянул ее мне.

Другой с удивлением рассматривал кремень и огниво взводного. Я сделал знак взводному, чтобы он подарил

эти вещи австрийцу, и взводный с поклоном передал их ему. Австриец поблагодарил, кивнув головой, и, прижав руку к груди, произнес что-то непонятное, широко улыбаясь. Затем, порывшись в кармане мундира, он достал оттуда гребень с вправленными в него блестящими камешками и преподнес его взводному.

Вдруг послышались вблизи два винтовочных выстрела.

Мы поспешно пожали друг другу руки и двинулись каждый к своим окопам.

Я еще раз обернулся, но видна была только голова высокого австрийца,— я махнул ему рукой и побежал дальше.

Наша встреча с австрийцами в этот день была сенсацией не только в роте, но и во всем полку. Нас осаждали вопросами, и мы неустанно рассказывали подробности встречи, стараясь незаметно всем втолковать, что эти встречи нужно умножить и начать по всему фронту братание с австрийцами.

Слушали нас с напряженным вниманием, перебивая замечаниями, вопросами, восклицаниями:

— Ну, не может быть! Как же они вас не укокошили?

— Почему же не может быть? Австрийцы такие же люди, как мы. Они ведь тоже...

— Конечно, такие же крестьяне.

— А страшно, небось, было?

— А по-нашему они понимают?

— Кто первый подошел: вы или они?

— А вы не слышали: им, говорят, красное вино выдают?

— Интересно с ними покалякать, что они думают...

Некоторые возражали:

— Да, пойдешь к ним,— а они тебя на мушку возьмут.

— Говорят, они каждому, кто убил русского солдата, дают медаль, а если живым взял — крест.

Солдаты всячески издевались над трусами:

— Качай домой и спрячься под юбку своей бабы.

— Ты что, думаешь, у австрийцев души нет, что ли?

— Гляди, они своего Франца тоже сбросят.

Вечером, совершенно неожиданно, наш и Сорок шестой Днепровский полк сменили на позициях Десятый и Одиннадцатый стрелковые полки.

Это показалось нам подозрительным, и мы обратились к офицерам полкового комитета — Игнатьеву и Матвееву:

— Почему нас так быстро сменили?

— Героями себя большими показали. Командование опасалось, как бы вы неприятельскую армию без боя не захватили. А у нас и так пленных девать некуда,— отшучивались они.

— И затеяла это дело четырнадцатая рота, которая всегда позорит весь полк. Эх, поймать бы их, как они австрийцев, точно сватов, встречали — да изрешетить их всех вместе из пулемета,— злобно бросил Игнатьев и сердито выругался. Лицо его искривилось в гримасу, глаза, широко раскрытые, метали молнии.

ГОСТЬ ИЗ ПЕТРОГРАДА

Наш полк, выйдя из окопов, расположился в тылу, в небольшой деревне.

Встреча с австрийцами все еще была злобой дня не только в нашем, но и в соседнем, Сорок восьмом полку. Мысль о братании делалась все более популярной среди солдат.

Угрозы офицеров и фельдфебелей, их разговоры о том, что братающихся будут рассматривать как шпионов и предавать военно-полевому суду, не произвели никакого впечатления. Измученные годами окопной жизни солдаты смотрели на братание, как на способ избавления от ненавистной бойни.

— Нам, солдатам,— и русским, и австрийским, и мадьярским, — самим надо договориться о мире, а начальства ждать нечего — они никогда не заключат мира.

— Пойдем все в австрийские окопы!

— А если офицеры окажут сопротивление, спустим им штаны и будем стрелять в зад соленым горохом.

Дружный, веселый смех раздается по всей роте.

12 апреля день выдался теплый, ясный, солнечный. Солдаты высыпали на улицу, пишут письма, чинят белье

и сапоги, кипятят воду или просто беседуют. Кое-где слышатся звуки гармоники.

Мы решили устроить собрание. Игнатьев возражает.

— Зачем эти собрания? Если б дело говорили, а то снова будут ругать Николая и Распутина. Какой толк в этом?— говорит он, недовольно пожимая плечами.

— Нет,— вмешивается Матвеев,— вы не правы. Надо собраться и потолковать о дисциплине. Она падает среди солдат с каждым днем, и это грозит полным развалом...

Его прервали внезапно вошедшие Максимов и Ракитский — члены комитета Сорок восьмого полка.

— А, вот прекрасно! Все, оказывается, в сборе,— начал всегда громко говоривший Максимов.— Здравствуйте!

Он пожал руку мне и Богомолову и козырнул офицерам.

— К нам прибыл представитель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Он говорит, что надо собрать комитеты обоих полков...

— К чему это нужно?— спросил Игнатьев.— Ваш полк сам по себе, и наш — тоже. Нет надобности вместе собираться.

Мы стали возражать, доказывали, что интересы солдат одинаковы, что оба полка находятся в одной бригаде и, кроме того, всем интересно послушать петроградского депутата.

Решили провести собрание под открытым небом.

Не успел Максимов объявить заседание комитетов открытым, как из всех рот стали группами подходить солдаты. Игнатьев сказал, что присутствие солдат на заседании нежелательно, но Максимов, переглянувшись с нами, обратился к солдатам:

— Товарищи, становитесь вокруг и соблюдайте тишину, чтоб все могли услышать товарища из Петроградского совета.

Из пятнадцатой роты подошел Сагадатгареев. Он успел обойти все остальные роты, известив их о созыве объединенного собрания.

Петроградский гость говорил недолго. Он остановился, главным образом, на вопросе о мире.

— Временное правительство не хочет заключать мира. А нам воевать незачем! Рабочим и крестьянам не нужны земли Австрии и других стран. Нам хватит земель русских помещиков...— закончил он свою речь.

Члены комитета, а затем и солдаты засыпали его вопросами:

— Могут ли вмешиваться в переброски полка комитеты, или это дело только командира?

— Что должен сделать комитет для скорейшего прекращения войны?

— Когда отберут землю помещиков?

— Когда будет мир?

В словах солдат чувствовались нетерпение и боль. Делутату, видимо, передалось их волнение, и он заговорил горячо:

— Полковые комитеты не созданы для того, чтобы помогать кашеварам при раздаче обеда. Комитет, избранный солдатами, должен всегда знать, куда и зачем посылается полк, и высказывать свое мнение по этому поводу. Если офицеры несогласны с мнением комитета, вопрос надо перенести на общее собрание. А что касается прекращения войны, то вам надо знать, что за это борется партия большевиков.

— Говорят, что одуревший министр Милюков распорядился отлить колокола для стамбульских мечетей и заявил, что война не кончится, пока не возьмем Стамбул и Берлин?

— Верно, товарищ. Временное правительство думает не о мире, а о наступлении,— ответил депутат, вытирая выступивший на лице пот.

Пока депутат говорил, Игнатьев часто курил, делал недовольные гримасы, кривил губы.

Подходили и офицеры. Одни внимательно слушали оратора, другие, иронически усмехаясь, уходили.

Из дивизионного комитета пришли Холодовский, Зеленский.

Холодовский отозвал меня в сторону и спросил, кто из солдат братался с австрийцами. Он рассказал мне, что в штабе дивизии все очень встревожены и придают этому событию большое значение. Поэтому и сняли полк с позиций.

После депутата выступали солдаты. Они все говорили о мире, о необходимости немедленного окончания войны.

Затем слово взял Холодовский.

Он начал с того, что офицеры, избранные в полковые комитеты, стремятся свести деятельность комитетов на-нет. Потом перешел к критике Временного правительства.

— Товарищи, правительство состоит из агентов буржуазии, и оно уже начало наступать на рабочий класс — покушается на восьмичасовой рабочий день, на солдатские комитеты. Буржуазия останавливает фабрики и обрекает рабочих на голод и нужду. Она стремится своими действиями заставить рабочих отступиться от революции. Буржуазия старается, чтобы солдаты — члены комитета — торжественно хоронили убитых, писали письма на родину — и больше ничего не делали. Недавно мы получили из Казани большую посылку. В ней были книги. Когда мы с Сагадатгареевым и Мухутдиновым стали ее рассматривать, оказалось, что она, главным образом, состоит из мусульманских религиозных книг. Вот какие подарки буржуазия посылает на фронт! Да, товарищи, надо прямо сказать, что новое правительство не лучше Николая, и, пока оно существует, мы не добьемся мира. Нам нужно требовать немедленного прекращения войны и мира без контрибуций, без насильного присоединения земель других народов. Все это вы, товарищи депутаты, должны обсудить в Петроградском совете, а совет уже выставит свои требования Временному правительству.

Холодовский кончил свою речь. Со всех сторон раздались аплодисменты и крики «ура».

Прапорщик Матвеев перебегал с места на место, заговаривая то со мной, то с Максимовым.

— Что вы делаете? Ведь это уже не заседание комитета, а митинг! Безобразие!

Командир десятой роты, штабс-капитан Малахов, который слушал каждого выступавшего, подходя вплотную и поворачивая к говорившему правое ухо, попросил слова.

От волнения у него дрожали руки, но он старался говорить эффектно и убедительно.

— Братцы!— начал он, сделал небольшую паузу, принял артистическую позу и проникновенным взором окинул окружающих.— Нет, не от богачей зависит то, что фабрики и заводы останавливаются, а от того, что нет порядка в стране! Рабочие и крестьяне перестали доставлять сырье, добывать нефть, уголь, потому и фабрики не работают. Так что виноваты не богачи, а рабочие.

Солдаты его насмешливо перебивали:

— Может быть, солдаты виноваты!

— Ты о мире скажи!

— Ему нужно до полковника дослужиться, как же он может без войны!

Малахова эти выкрики сбивали, тон его речи стал менее вдохновенным, почти просительным, он растерянно оборачивался во все стороны.

— Братцы,— продолжал он,— мы теперь свободные граждане свободной страны. Самое главное для нее — восстановить спокойствие и порядок, а то неприятель воспользуется нашими внутренними неурядицами и захватит нашу землю.

— Только недавно называл солдат собаками, а теперь уже братцами стали.

— С тобой дружить — надо топор за поясом держать.

Малахов почувствовал, что обстановка для него складывается неблагоприятно, и поспешил закончить речь.

— Мы, русские воины, должны жить в дружбе. Наш враг вон там,— указал он на линию фронта.— И до победы над ним ни о мире, ни о чем другом нельзя говорить,— закончил он и отошел в сторону.

Петроградский депутат снова взял слово.

— Товарищи, вам еще не раз придется услышать речи, подобные той, которую только что произнес штабс-капитан. Вас будут называть братцами, друзьями, но вы не верьте им. Вам надо ясно отдавать себе отчет в том, кто ваш друг и кто — враг. Помните, наши друзья только те, кто борется за прекращение войны, кто защищает интересы рабочих и крестьян, кто хочет отнять землю у помещиков.

Когда он окончил свою речь, собрание вынесло постановление: просить Петроградский совет о скорейшем заключении мира без аннексий и контрибуций, возвра-

щении старых солдат с фронта, конфискации помещичьей земли, усилении роли полковых комитетов.

Предложение Игнатьева об усилении дисциплины в армии и расширении прав офицеров, поддержанное только офицерами, было отклонено.

«ПРАВДА» № 35

Апрель близился к концу.

Наш полк все еще стоял в резерве, в тридцати километрах от передовых позиций. Только второй и третий батальоны посылали на работу: рыть запасные окопы, ходы сообщения и устраивать блиндажи.

Настроение солдат приподнятое. Они все чаще отказываются подчиняться распоряжениям офицеров и настойчиво требуют мира.

В десятой роте ночью задушили фельдфебеля, в девятой — пытались поднять на штыки ротного командира.

Письма от родных из деревень еще больше волнуют солдат.

Родители и жены, после многочисленных поклонов от родственников и знакомых, пишут о том, что наступает пора сева, а работать в поле некому, что у баб и детей одежда оборвалась, что у других сыновья и мужья пришли на побывку или совсем вернулись.

Однажды, когда я был у Холодовского в штабе дивизии, он прочел мне статью Ленина, напечатанную в тридцать пятом номере «Правды» от 18 апреля и велел тотчас же по возвращении в полк прочесть и разъяснить ее солдатам.

Мы с Богомоловым еще раз прочли статью, когда вернулись к себе, и отправились в свою роту, которая весь день рыла окопы и только что пообедала.

— Вот, ребята, послушайте правдивую речь,— сказал Богомолов и, раскрыв газету, стал читать:

«...Пока власть в руках капиталистов и помещиков (Гучкова, Львова, Милюкова), война останется на деле под руководством капиталистов...»

— Правильно сказано!

— Кто это написал?

— Скажу потом, кто написал, а пока слушайте,— сказал Богомолов и стал читать дальше.

Солдаты слушали с большим вниманием, изредка обмениваясь замечаниями:

— И германские солдаты не будут сидеть сложа руки.

— Конечно!

— У нас ведь сбросили Николая рабочие и солдаты, пусть они у себя то же сделают!

— Не мешайте читать!

Богомолов продолжал:

«Наш ответ: власть в руках Советов Рабочих и Солдатских Депутатов будет властью большинства народа, а большинство это — рабочие и беднейшие крестьяне. Они действительно не заинтересованы в аннексиях...»

Солдаты непрерывно подходили, окружая чтеца.

— Ну-ка, прочитай снова то место: «наш ответ»,— послышались возгласы.

Богомолов снова читал.

— Хорошо сказано!

— По-нашему!

— Как раз то, что надо!

Солдаты старались продвинуться ближе к чтецу. Грамотные и неграмотные хотели своими глазами увидеть написанное в газете.

По окончании чтения завязалась шумная беседа.

Молодой солдат из Саратовской губернии сказал:

— Крестьяне — тоже все бедняки.

Батрак Яшкин из-под Архангельска возразил ему:

— Неправда! там сказано — не все крестьяне, а только бедняки. А есть и богатеи!

— Факт, бедняки!— поддержали его другие.

— Вот спасибо товарищу, который так написал.

— Кто же, кто?

Богомолов не торопился назвать автора.

Я вспомнил выступление Холодовского в первый половине апреля на ротных собраниях, когда он приводил в своей речи слова Владимира Ильича. Упоминание об

Ильиче, его слова о войне, революции и борьбе за власть производили на солдат огромное впечатление.

Я рассказал о Ленине и его борьбе. Богомолов тоже присоединился ко мне. Солдаты слушали с напряженным вниманием, боясь проронить слово.

— Вот он кто, оказывается, Ленин.

— А наши офицеры болтают, что он германский шпион.

— Офицеры все скажут! Они вот наших товарищей, членов комитета, Богомолова и Бакирова, называют одного рязанским богачом, а другого — турком.

К нам подошли штабс-капитан Малахов и прапорщик Камеров — командир полуроты. Он недавно прибыл к нам и сейчас же по прибытии затребовал из Казани для солдат-мусульман молитвенники и религиозные книги.

Малахов и Камеров приветливо заговорили с солдатами. Камеров даже угостил двух татар папиросами.

Они стали расспрашивать, как дела, что пишут из дому.

Солдат Пензенской губернии, не соблюдая никакой субординации, развязно ответил Малахову:

— Да что говорить! Здесь плохо, а дома еще хуже. Сеять некому. Жена с четырьмя малыми детьми еле управляется. Лошадь в казну взяли, а земли — щепотка. Вот какие наши дела!

— Не тужи,— утешал его Малахов.— Это не к лицу русскому солдату. Вот победим врага, тогда и земля будет, и лошади, заживешь во-всю.

Малахов похлопал солдата по плечу, но тот раздраженно ответил:

— Пока война кончится, все мы погибнем, а кто останется — калекой будет! А что вы нам землю дадите, так в это нам что-то не верится,— и отвернулся, дав Малахову понять, что он больше не желает разговаривать.

Малахов, однако, не отходил от него.

— Почему не дадут земли? Обязательно дадут!— продолжал он.

— Почитайте газеты,— сказал ему другой солдат:— там пишут, что правительство из богачей не лучше Николая — это та же шуба, только надетая наизнанку,

и ждать нам добра от него нечего. Ленин верно сказал. Так-то, ваше благородие,— закончил он с усмешкой, произнеся слова «ваше благородие» подчеркнуто иронически.

Услышав имя Ленина, офицеры насторожились и внимательно взглянули на говорившего.

— Это немецкий шпион,— сказал Малахов.

— Нет, не шпион, а вождь рабочих и крестьян,— сказал я запальчиво.

— Он продался немцам,— возразил Камеров.

— Сам ты продался!— громко сказал Сагадатгареев.

Малахов порывался уйти, но Камеров вошел в раж и, сделав вид, что не слышал слов Сагадатгареева, продолжал убеждать солдат:

— Нет, братцы, это не так. Надо защищать родину от врагов, иначе мы и свободу потеряем, попадем в рабство к немцам.

— Наша родина Россия, а зачем же мы в Галиции?

Солдаты угрожающе бросали Камерову:

— Сам защищай родину!

— Не нужна нам твоя родина!

— Надо с него погоны сорвать!

— Наверное, имение или завод имеет, вот и пришел сюда его защищать! А у нас ничего нет — нам защищать нечего!

— У него в Симбирске три магазина!

— Надо ему зубы вышибить, чтоб не болтал здесь!

Камеров побелел и начал осторожно пятиться назад. Солдаты наступали.

Тогда он резко повернулся и почти бегом стал уходить.

Мы поспешили ознакомить со статьей Ленина и другие роты.

К вечеру стало известно, что первая рота Сорок шестого Днепровского полка братались с австрийцами.

Потом к нам прибежал вестовой командира полка Артемьев и рассказал, что командир собрал офицеров и ругал Матвеева и Игнатьева за то, что те не смогли прибрать к рукам полковой комитет.

ОФИЦЕРЫ

Май.

Теплое солнечное утро дышит свежестью. Буйно поднимаются сочные зеленые травы на лугах и лесных полянах, пестрыми островками в зеленом море расцвели цветы.

Даже на обочинах дорог, которые зимой и летом топтали миллионы солдатских сапог, лошадиных подкованных ног и железные ободья колес, лентой вьются чахлые, бледно-зеленые травы. И на улицах деревень, унавоженных и изрытых, робко пробивается травка, и цветы тянутся к солнечному теплу и ласке, неуверенные в своей короткой жизни.

Медлительно и важно покачиваются деревья от нежного дуновения ветерка.

Они выглядят в своем пышном убранстве, как принарядившиеся невесты.

И от этого торжественного покоя и цветения природы не хочется больше верить в жестокие будни войны. Кажется, что исчезли навсегда бесконечные дороги, окопы и фронты, исчезли вместе с сброшенным царем.

Но тревога вновь овладевает мною, невольно вспоминаешь о сорняках, взошедших уже на весеннем поле революции: Гучковых, Львовых, Керенских.

А офицеры — эти люди с золотыми погонами, крестами и орденами — разве они друзья революции, друзья солдат?

Наши офицеры, видимо, раздосадованные взбучкой, которую они получили от командира полка, решили показать, что жив еще бравый дух российского воинства. Они пришли рано утром в роты, приказали выстроиться и хотели приступить к строевым занятиям.

Прапорщик Камеров пришел, когда солдаты еще пили чай, и приказал одному из ефрейторов четвертого взвода:

— Построй полуроту в полном обмундировании в одну минуту.

— Это не мое дело. Если полурота выстроится, я

стану в четвертом взводе — там мое место,— ответил, усмехаясь, ефрейтор и направился к кухне.

Камеров вскипел:

— Ах ты, собачья морда!

Он догнал и схватил ефрейтора за шиворот. Тот стал отбиваться, задел котелком, который держал в руке, офицера и запачкал сажей его френч. Офицер совсем рассвирепел и ударил ефрейтора по щеке. Ефрейтор ему ответил тем же, и началась драка.

Камеров был значительно выше и сильнее тщедушного солдата и начал его избивать. На место побоища вскоре сбежались солдаты и, не задумываясь, стали бить Камерова, сорвали с него погоны, разорвали платье.

Через час после этого происшествия к солдатам пришел ротный командир Хорошев — высокий, с козлиной бородкой — и, укоризненно качая головой, сказал:

— Эх, ребята, нехорошо вы поступили! И мне неприятно. Ведь он офицер.

На другой день Матвеев, собрав полковой комитет, поставил на обсуждение вопрос об избиении Камерова. Он целый час пространно говорил о «чести офицерского мундира», обращаясь, главным образом, ко мне и Богомолову. Он обвинял нас в том, что так низко пала дисциплина, и внес предложение: подать от имени комитета рапорт о разжаловании в рядовые ефрейтора Васенкова и унтер-офицера Филиппова за избиение Камерова.

Его предложение было отклонено, и после небольших прений было принято мое предложение: передать вопрос на рассмотрение дивизионного солдатского комитета. Для доклада решили командировать Игнатьева и меня.

В ШТАБЕ ДИВИЗИИ

Мы отправились в тот же день в штаб дивизии, расположенный в деревне в пятнадцати километрах от фронта.

На перекрестках дорог нам попадались усиленные казачьи патрули — иногда целые взводы. Они останавливали каждого встречного, проверяли документы, спрашивали, куда идет, откуда, зачем.

Когда мы миновали четвертый по счету патруль, я обратился к Игнатьеву:

— До февральских дней столько патрулей не бывало! Что это значит? Хороша свободная страна, где от патрулей нет проходу, да еще от казачьих!

Прапорщик промолчал.

— Пока до штаба дойдем, еще раза три будут нас проверять!

Игнатьев нехотя ответил:

— Дисциплину нужно подтянуть. Иначе с нашими солдатами не справишься.

— Зачем же мы кричим на всех перекрестках, что у нас свободная страна и свободные граждане-солдаты, если думаем опять ввести режим казачьей нагайки?

В ответ мне Игнатьев прочел пространную лекцию о французской революции. По его словам выходило, что Великая революция и Парижская коммуна были более или менее продолжительными беспорядками, но потом нашлись «умные люди», восстановили порядок, и образовалась хорошая, добропорядочная республика.

— Почему же, в таком случае, во Франции рабочие и крестьяне бедствуют? Рабочие еле сводят концы с концами, а крестьяне часто имеют столько земли, что на ней еле грядка картофеля умещается?— перебил я разглагольствования Игнатьева, но он не успел мне ответить.

Мы подошли к деревне, растянувшейся вдоль узкой, мелководной, каменистой речушки, и нас вновь остановил казачий патруль.

В деревне, где расположился штаб дивизии, каждая избушка была доотказа наполнена солдатами.

Улицы запружены обозами, артиллерийскими парками без снарядов, санитарными отрядами без медикаментов.

По деревне снуют связисты, верховые, болтается персонал лазаретов и санитарных команд, нестроевые, квартирьеры, писаря, примазавшиеся к штабу, офицеры всех рангов и состоящие при них денщики.

Все они суетятся без толку, набивают желудки, воруют, пьянствуют, играют в карты.

Эту толпу дополняют сестры милосердия — молодые и старые, красивые и безобразные. Хотя при штабе, кроме передвижного лазарета, занимающегося эвакуацией больных и раненых, никаких лечебных учреждений

нет, но сестер так много, что их встречаешь на каждом шагу,— одних, а большей частью в паре с офицером или военным чиновником.

Вся эта орава бездельников плотным кольцом окружила штаб. Примазались также и купцы, нагревшие карманы на поставках. У некоторых из них на груди красовались красные банты.

Мы вошли в дивизионный комитет. Там мы застали только прапорщика Марченко — члена комитета и одного писаря.

Марченко давно знал Игнатьева, они были школьными товарищами.

Игнатьев коротко рассказал о цели нашего прихода.

Марченко, сняв пенсне, вытер его платком, прищурил серые глаза, улыбнулся и, снова надев пенсне, спросил:

— Вы что же, испугались?

Он посмотрел на меня и еще раз улыбнулся.

— Хорошо, что этого прапорщика Камерова совсем не изрешетили штыками. В других частях и такие истории были,— прибавил он.

Слова и тон Марченко разозлили Игнатьева. Его рука, державшая папиросу, начала дрожать.

— Если так дело пойдет,— это, значит, узаконятся всякие беспорядки в армии! Этому надо решительно положить конец. Необходимо срочно созвать дивизионный комитет и обсудить создавшееся положение. В противном случае я вынужден буду доложить командующему дивизией! — раздраженно сказал Игнатьев.

— Ну, и доложите, а дальше что? Ничего вы этим не достигнете. Солдаты теперь не прежние. Они ждут прекращения войны, а их вместо этого посылают на фронт, гонят новые маршевые роты, готовят наступление. Естественно, солдаты недовольны, недовольство выражается в эксцессах, и кто знает, что будет дальше, если правительство не изменит курса,— сказал Марченко спокойным, ровным голосом и, взяв карандаш, начал что-то рисовать на столе.

— Позвольте,— горячился Игнатьев,— если хулиганам дать волю, они начнут издеваться над офицерами, и русская армия уподобится рязанской бабе. Тогда офицерам придется рубить дрова, а не командовать!

— И рубить дрова — дело. У нас зима суровая, дров много надо,— сказал я.

— О развале армии говорить еще рано. Ты зря не кипятись...

Марченко не договорил. В комнату поспешно вошел начальник какого-то парка, стремительно приблизился к столу, за которым мы сидели, козырнул и крикнул:

— Когда же кончится это безобразие?

— В чем дело, поручик? Успокойтесь и расскажите толком,— сказал Марченко.

— В чем дело? Всё — комитет! Если вы не отзовете вашего шута, который собрал солдат четырех парков и весь день с ними митингует, я уеду! Вы подумайте только: я еще рано утром приказал первому парку двигаться в Тарнополь, а они себе и в ус не дуют. Это позор! Я офицер гвардии и не потерплю такого надругательства.

Марченко остался совершенно спокойным и, вынув папиросу, не спеша, прикурил от моей.

— Во-первых,— заговорил он неторопливо,— стыдно вам, господин поручик, зря поносить члена комитета Холодовского. Во-вторых, имейте в виду, что солдатские комитеты не прекратят существования, как вы этого хотите, а будут расти и крепнуть.

— А как же приказ мой?— нетерпеливо перебил его поручик.

— Приказ выполнят, когда нужно будет. Впрочем, все равно, парк, если и отправится в Тарнополь, зря потратит время и ни одного снаряда не привезет.

Поручик выругался и стал нервно теребить кобуру револьвера.

— Это не армия, а уличный сброд!— сказал он и, резко повернувшись, не прощаясь, вышел из комнаты.

Поручик, видимо, понравился Игнатьеву.

— Сразу видно, что гвардейский офицер!— сказал он, и в тоне его чувствовалась явная симпатия к ушедшему.

— Гвардия кончилась вместе с Николаем. Сейчас есть армия, которая не хочет больше воевать,— сказал я, искоса взглянув на Игнатьева.

Игнатьев промолчал, а Марченко мне сочувственно кивнул и улыбнулся.

Вскоре пришли Холодовский и Силантьев. После обычных приветствий, Марченко рассказал им о жалобах начальника парка. Они громко расхохотались и в свою очередь рассказали о том, как начальник парка пришел к солдатам и приказал им собираться, а те ответили мяуканьем, лаем и свистом.

Дело о Камерове решили оставить без последствий. Во время нашей беседы вернулись с собрания члены дивизионного комитета — делегаты Сорок пятого и Сорок шестого полков. Они сообщили нам, что солдаты требуют исключения из состава солдатских комитетов офицеров.

Игнатьев ушел. Холодовский дал нам свежие газеты и сказал, что необходимо содействовать начавшемуся братанию с австрийцами и агитировать против офицеров, враждебно относящихся к солдатам.

Он также рассказал, что дивизионный комитет вынес решение предоставить отпуска солдатам, давно находящимся в окопах, и что скоро это решение начнут проводить в жизнь.

Уже вечерело, когда мы отправились к себе.

Игнатьев шел молча, мне тоже не хотелось говорить.

Теплый вечер плыл над зелеными травами лугов и полей.

Крестьяне не сеяли, кони и волы были реквизированы, рабочие руки — на фронте, старики, женщины и дети — эвакуированы в тыл.

Пусто.

Казачьи патрули, попадавшиеся на дороге, нас больше не останавливали.

АЗОВСКИЙ ПОЛК

Весь следующий день пришлось рассказывать отдельным группам солдат о решении по делу Камерова и штабные новости.

Солдаты, как обычно, интересовались,— нет ли вестей о мире.

— О мире в газетах ничего нет,— сказал я.— Там все рассказывают, в каком театре был Керенский, когда лег спать, когда умывался, брился, где обедал и сколько

стаканов кофе выпил. А о том, что солдат в окопах едят вши, никто не думает.

— Вот Азовский полк опять в окопы угонят, скоро и наш черёд,— сказал солдат с приплюснутым носом и толстыми губами.

— А что им до нас?

— Им-то живется хорошо!

— Не пойдем в окопы, и все!..

— Попробуй!.. Снарядов нет, а чтоб стрелять по своим солдатам — найдется...

Мы с Сагадатгареевым отправились в деревню, где находился Азовский полк. Там товарищи из солдатского комитета сообщили, что полк действительно отправляют в окопы.

Комитет, кроме двух офицеров,— против выступления. Решили для начала выставить требование о выдаче сапог всем солдатам, у которых худая обувь, и сахару (его не выдавали уже пятнадцать дней), а кроме того — у офицеров, имеющих двух денщиков, оставить только одного, непременно из старых солдат запаса.

Прапорщик Афанасьев, примкнувший к солдатской части комитета, отправился с двумя товарищами к полковому командиру, а остальные члены комитета разошлись по ротам — сообщить солдатам о решении.

На заре солдаты Азовского полка, как по команде, поспешно встали и вышли на улицу, захватив винтовки.

Солнце осветило заспанные, небритые и помятые лица солдат. Со всех сторон слышался громкий разговор.

Выход солдат с оружием без команды вызвал тревогу среди офицеров. Они тоже поспешно вставали и направлялись к своим ротам.

Среди азовцев попадались и солдаты нашего полка. Когда я подошел к месту сбора двенадцатой роты, я заметил приближающегося ротного командира. Высокий, с топорщившимися усами, бараньими глазами и лопухообразными ушами, он шел, приседая, и угрюмо смотрел на солдат.

Заметив его, подпрапорщик скомандовал:

Двенадцатая рота, смирно! Равнение направо!

Но солдаты не стали строиться и продолжали беседу, как будто команда относилась не к ним.

Капитан поднял правую руку, левой взялся за эфес шашки и смущенно поздоровался с солдатами.

— Здравия желаем, вашскородье...— ответили ему только подпрапорщик и два унтера. Остальные молчали.

Ошеломленный капитан смотрел на солдат ошалелыми глазами.

Фельдфебелю, спешившему к нему с рапортом, он махнул рукой и подошел ближе к солдатам.

Фельдфебель сразу потерял свой бравый вид и, как побитый пес, понурив голову, отошел в сторону.

Капитан несколько мгновений пристально смотрел на солдат широко раскрытыми и выпученными бараньими глазами, потом спросил:

— Куда собрались?

Солдаты молчали. Тогда капитан, резко повернувшись, уже более уверенным и повышенным голосом спросил фельдфебеля:

— Фельдфебель, куда ведешь роту?

Тот, семеня ногами, поспешил к капитану и, подойдя к нему, щелкнул каблуками, поднял руку к козырьку и, широко раскрыв рот, точно у него не хватало воздуха, громко ответил:

— Не могу знать, ваше высокородие.

У капитана вздулись вены на висках и судорога пробежала по лицу.

— Мы собрались, чтоб никуда не итти,— негромко сказал, выступив немного вперед, бледный, низкого роста солдат, в расстегнутой шинели.

Потом послышалось с разных сторон:

— Прежде чем гнать в окопы, сапоги выдайте!..

— Мясо к обеду!..

— Сахар!..

Капитан, видимо, начал терять самообладание. Он побагровел, отступил на два шага и, подняв голову, крикнул:

— Двенадцатая рота, слушай команду. Стройся!

Солдаты встретили команду равнодушно и строиться не стали.

— Что это за демонстрация! Вы позорите армию!— орал между тем капитан.

Заметив, что солдаты других рот окружили своих офицеров и о чем-то с ними оживленно разговаривают, двенадцатая рота также стала окружать капитана. Он поспешно ушел.

В десять часов утра солдаты Азовского полка разошлись по квартирам. Вскоре стало известно, что полковой командир приказал в этот день полк в окопы не посылать.

Неизвестно, откуда появились слухи, что сапоги и сахар в полк давно уже прибыли, но что поступил приказ Керенского пока их не выдавать.

На следующее утро оба полка вывели в поле и на склоне горы, в двух или метрах от деревни, заставили рыть окопы, ходы сообщения, блиндажи.

Окопы рыли явно бессмысленно, выбранное место совершенно не годилось для позиций,— это было ясно даже человеку, мало понимавшему в военном деле.

Я спросил у нашего сапера, к чему нужны такие окопы.

— Ничего не понимаю, — ответил он, разводя руками.— Эти окопы роют по приказу командира бригады — генерал-майора Орлова.

Я обратился с этим вопросом к ротному командиру.

— Не знаю,— ответил он мне нехотя, сделав недовольную гримасу.

— Скоро сенокос. Крестьяне выедут на луг. Так вот, чтоб стрелять по ним, эти окопы как раз и пригодятся,— сказал старый солдат Фролов.

Мы с прапорщиком Матвеевым, как члены полкового комитета, обратились к командиру батальона подполковнику Алексееву.

Он взглянул сначала на Матвеева, потом на меня, презрительно сощурил глаза и медленно, важно, отчеканивая слова, сказал:

— Вмешательство комитета в область стратегии и тактики я считаю совершенно недопустимым. Поэтому я не могу сообщить вам о назначении новой линии окопов.

Между тем бесцельное рытье продолжалось. Ежед-

невно оба полка с утра выводили на работу. Солдатам не давали отдыха. Офицеры с утра до ночи неотлучно находились в своих ротах, понукая и подгоняя солдат.

После четырех дней беспрерывной работы солдаты выбились из сил и стали усиленно поговаривать, что лучше пойти на фронт, чем с утра до вечера работать, как на каторге.

Эти разговоры стали известны офицерам, и те довольно потирали руки.

Мы с Холодовским, посоветовавшись, решили не препятствовать желанию солдат отправиться на фронт.

Прапорщик Игнатьев, узнав о нашем решении, сказал, ехидно улыбаясь:

— Вот видите, русский солдат все же не потерял еще свой воинский дух. Надо только уметь с ним обращаться.

Мы промолчали.

Но Матвеев нам ясно дал понять, что он за прекращение войны и против наступления. Он рассказал нам об апрельской демонстрации в Петрограде, назвал пустозвонством писания кадетской газеты «Речь» и одобрительно отозвался о выступлениях «Правды» против этой газеты.

Перемена, происшедшая в Матвееве, взбесила Игнатьева. Разъяренный, брызжа слюной и картавя сильнее, чем всегда, он кричал:

— Повторять слова немецких шпионов — позор для русского офицера! Это худший вид измены родине. Прапорщик Матвеев, честь офицера должна побудить вас взять свои слова обратно.

Матвеев не смутился и с равнодушным видом, с легкой усмешкой на лице, спокойно ответил:

— Видите ли, я — народный учитель. История моего офицерства — очень непродолжительная: четыре месяца в школе прапорщиков, один — в маршевой роте и около трех — в окопах. Так вот, я народный учитель, и интересы народа,— в данном случае — солдат,— мне ближе и понятнее, чем ваша офицерская честь.

Игнатьев от этих слов оторопел и глухим голосом, взволнованно, как на сцене, спросил:

— Значит, ты большевик?

Матвеев не ответил. Присутствовавший при разговоре

Богомолов начал читать отчет о решении, вынесенном многотысячным собранием рабочих, солдат и матросов, состоявшемся 15 апреля в морском корпусе в Петрограде и направленном против Временного правительства. Игнатьев, обозленный, ушел.

В этот же день наш полк отправили в окопы.

УТРЕННИЕ ВСТРЕЧИ

На следующий день я проснулся рано. Лучи солнца, проникая через отверстие крыши из хвороста, осветили небольшой сарай.

Где-то недалеко кудахтала единственная, чудом уцелевшая курица, но вскоре кудахтанье прекратилось.

Кругом не слышно шума, возни, ругани. После ухода полка в окопы воцарилась тишина.

Худая лошадь, запряженная в двуколку, выехала со двора. Конюх сидел понурившись, не понукал лошадь и, казалось, сидя спал.

— Куда едешь, Максим?

— Да эти чортовы офицеры поспать не дают! Спозаранку послали в штаб дивизии за вещами какого-то новоприбывшего офицера,— проворчал Максим, слезая с двуколки.— Ну-ка, земляк, дай закурить, со вчерашнего дня не курил.

Максим — «крящён» (крещеный татарин). Несмотря на четырехлетнее пребывание в армии, он плохо знал русский язык, и над ним часто смеялись и наказывали за непонятливость.

Однажды, когда Максим был еще в строю, его рота была назначена в гарнизонный караул. До развода караула командир роты, капитан Гутман, назначил хороших служак на посты в гауптвахту, пороховой погреб, продовольственный склад, а неповоротливых — в фуражный склад, пекарню и другие менее ответственные места.

Максиму же и украинцу Файферу он приказал отправиться в офицерское собрание, где они должны были прислуживать в передней в качестве швейцаров. Капитан Гутман сам в офицерском собрании не бывал, так как был известным женоненавистником и избегал встреч с полковыми дамами. Если даже очень важное дело тре-

бовало его встречи с женщиной, он поручал его кому-либо из подчиненных и, говорят, женатых солдат переводил в другую роту. Почему капитан решил послать в офицерское собрание Максима и Файфера, сказать было трудно, но некоторые предполагали, что у капитана была какая-то затаенная мысль.

В этот день большинство офицеров были на балу у одного казачьего полковника, и в офицерском собрании народу было мало. В девять часов вечера капитан Гутман передал по телефону Максиму и Файферу, чтобы они взяли в полковом обозе лошадь и привезли к нему на квартиру акушерку.

Они расспросили буфетчика, где можно найти акушерку, и узнали, что как раз против офицерского собрания, в небольшом домике живет акушерка Осецкая. На дверях есть надпись: «Выезжает на дом по вызову в любое время».

Максим, надеясь получить щедрые чаевые, быстро запряг лошадь и с акушеркой понесся к капитану.

Приехав, он вбежал в кухню и сказал денщику Галаеву:

— Доложи быстрей командиру, что акушерка прибыла.

Галаев посмотрел на него недоумевающе, но пошел доложить.

Капитан оторопел, бросил сердито книгу, которую держал в руках, и побежал на кухню.

— Привез по вашему приказанию акушерку, ваше высокородие,— отчеканил Максим.

Капитан от злости побагровел:

— Дурак, балда! Я не акушерку велел вам пригласить, а старую кушетку из офицерского собрания! Марш, увези свою акушерку скорее, чтоб духу ее не было! Живо!— прокричал капитан и вслед добавил:— Как сменится караул, ты с Файфером прямо отправитесь на гауптвахту на пять суток.

Им пришлось выстоять двенадцать часов под ружьем, ввиду чрезмерного переполнения гауптвахты...

Максим рассказал мне, что получил из дому письмо и там пишут, что отправили на фронт его семнадцатилетнего брата.

— Думаю все, земляк: Николашку свергли, а замирения нет. Фельдфебель говорит — свобода, а сам руки примеряет к солдатским щекам.

— Царя свергли, а генералы и офицеры остались. А они вместе с Керенским и другими министрами для рабочих и крестьян — не лучше царя, такие же защитники богачей.

— Вот-те на! Стало быть, и землю нам не отдадут?

— Земли и мира от них не жди. Видишь, семнадцатилетних ребят в окопы посылают. Значит, долго еще воевать думают.

— Так какой же толк, что царя нету?

— Пока толку мало. Надо уйти с фронта, сговориться солдатам. Понял?

— Мы сговариваемся. Ну, ладно, поеду я. Надо успеть до вечера вернуться.

Максим уехал.

День был теплый, безветренный, солнечный. Ни о чем не хотелось думать.

В саду расцвели яблони. Как они уцелели? Почти все деревья так же, как изгородь, были сломаны или сожжены. И это робкое цветение среди развалин и всеобщего разрушения было особенно трогательно.

За садом залегал небольшой пригорок.

Я смотрел на синее, безоблачное небо, наблюдал за двумя коршунами, которые высоко парили, изредка взмахивая крыльями.

Увлекшись этим зрелищем, я не заметил, как подошел ко мне наш старый полковой фельдшер Дельнов.

— Здорово, комитет! На солнышке греешься?— сказал он, лег рядом со мной и стал набивать свою трубку.

Дельнов — сын волостного писаря. По окончании сельской школы отец отдал его одному мелекесскому купцу, у которого он работал мальчиком. Когда он стал приказчиком, его забрали на военную службу. Не успел он отслужить положенный срок, как началась война с Японией. Дельнова отправили в Манчжурию. Там он стал фельдшером. Когда он вернулся домой, после окончания войны, отца уже не было в живых. Дельнов женился, начал обзаводиться хозяйством. Но потом бросил, уехал в Самарскую губернию, где работал в имении

помещика Дворцова. Вскоре началась война, и его опять призвали на военную службу.

Дельнов задумчиво говорил:

— Размышляю я и не могу никак разобраться толком в этой революции. Во время японской войны царя хоть и не удалось свергнуть, зато землю у помещиков шибко начали забирать. А теперь царя нет, республика, свобода. А насчет земли — ничего не слышно. Вчера мы с главным врачом разговаривали. Я вот и говорю, что землю пора у помещиков отобрать, а главный врач отвечает: «Что вы, что вы! Об этом сейчас думать нельзя! Вот Учредительное собрание будет, оно и решит, как поступить с помещичьей землей. А пока,— говорят,— надо Германию победить». Я ему возражаю, говорю, что надо кончать войну, а он говорит: «Это болтовня» и ушел. Что же, скажи на милость, делать будем?

— Вот видишь, пока власть в руках богачей, о земле забудь!

— И я так думаю. Убили Распутина, вместо него другие вылезут. Была бы мельница, а засыпка всегда найдется.

Дельнова позвали в лазарет, и он ушел.

ПРИЕЗД СУРОВА

В сумерки я собрался навестить своих в окопах и вдруг слышу — кто-то громко назвал мое имя.

Я обернулся.

Ко мне бежал человек в новой летней гимнастерке, с туго набитым вещевым мешком на спине. В руках он держал шинель из японского сукна.

Это был Суров.

От неожиданности и радости мы несколько мгновений не могли вымолвить слова и растерянно смотрели друг на друга.

— Ну, как дела?— первым пришел в себя Суров.— Мишка (Холодовский) мне рассказывал уже кое-что. Медленно вы тут ворочаетесь!

Мы с еще несколькими встретившимися нам солдатами отправились ко мне на квартиру, вскипятили чай и сытно закусили привезенными Суровым булками, колбасой, консервами и печеньем.

За чаем Суров рассказывал о своем житье-бытье за время нашей разлуки.

В октябре 1914 года, когда батальон, в котором служил Суров, был окружен австрийцами, он спрятался в лесу и таким образом избежал плена. В темноте он наткнулся на дерево, сильно расцарапал лицо и, воспользовавшись этим, вместе с ранеными отступил в тыл. Его отправили в Воронеж, в лазарет, а оттуда в слабосильную команду. Там он познакомился с большевиком Жуковым и под его руководством вел агитационную работу среди солдат запасного полка. Затем его командировали в запасный полк в Ахтырку.—«И теперь вот я разыскал тебя,»— закончил он свой рассказ.

— Ну, что слышно о мире?

— Мир, товарищи, на кухне Временного правительства не испечется. Его только вы, солдаты и рабочие, можете испечь, а потом уж пожалуйте кушать.

После чаю решили все вместе отправиться в окопы.

— Знаешь, я теперь нестроевой,— сказал мне по дороге Суров и показал мандат от мусульманского комитета при штабе Одиннадцатой армии.

В мандате говорилось, что мусульманский комитет назначает Сурова инспектором по работе среди солдат-мусульман Двенадцатой армии. Мандат заканчивался следующими словами:

«Наш лозунг: создание народной республики на основе национальной федерации и на основе национальной и культурной автономии, земли и воли, свободы печати, свободы совести».

Дальше следовали подписи председателя Рустамхана Курбангулова, заместителя Исхана Алмашева, Кугушева, Кертенкого.

— Какие же у тебя, собственно говоря, обязанности?— спросил я Сурова.

Он спрятал мандат в карман и ответил:

— Ты не смейся. Этот документ — хорошая штука. Он дает мне возможность на законном основании увильнуть от окопов. А ты сам понимаешь, дорогой товарищ, что в такое время, когда революция, когда работы пропасть, дела есть поважнее, чем кормить вшей.

— Расскажи, как ты его заполучил?

— Тут, брат, замешана женщина... Видишь ли, я раньше изредка встречался с Курбангуловым, но особенной дружбы у меня с ним не было. И вот однажды, когда меня с маршевой ротой отправили на Западный фронт, я заболел и попал в лазарет, расположенный там же, где штаб Одиннадцатой армии. В этом лазарете была одна сестра, огонь-баба, по имени Феклуша... Я с ней подружился. И вот за этой сестрой в то же время волочился и Курбангулов. Короче говоря, мандат мне раздобыла эта самая Феклуша. Конечно, солдатам о нем знать ничего не нужно,— он у меня только для того, чтобы замазывать глаза начальству. А для солдат у меня есть вещи получше,— и он вытащил из карманов решения апрельской конференции и несколько номеров «Правды».

Из решений апрельской конференции для нас особенно нужным и важным было решение о братании с австрийцами. Слова Ленина, напечатанные в № 35 «Правды»:

> «Немедленная, энергичнейшая, всесторонняя, безусловная помощь с нашей стороны братанию солдат обеих воюющих групп на фронте.
>
> Такое братание уже началось. Давайте помогать ему».

— Суров знал наизусть.

Командир полка, к которому явился Суров, принял его снисходительно, внимательно прочел мандат и, похлопывая по плечу, сказал:

— Мусульмане — солдаты боевые, держатся друг за друга. Ты присмотри за наиболее темными, разъясни им все и за комитетчиками также понаблюдай.

О прибытии Сурова сообщили в штаб дивизии, и вскоре оттуда было получено разрешение посещать и устраивать собрания во всех четырех полках дивизии.

Молодец Суров! Он оказал нам большую помощь! Он разъяснил установки большевистской партии по военному вопросу и сообщил, что принятая 16 апреля солдатской секцией Центрального исполнительного комитета резолюция направлена против большевиков.

В трех полках: Сорок пятом, Сорок шестом и Сорок седьмом (Сорок восьмой был в тылу, в резерве) — широко развернулась агитация против войны.

Братание и обмен подарками с австрийцами шли по всему фронту не только ночью, но и среди бела дня.

На третий день после приезда Сурова мы отправились во второй батальон Сорок шестого Днепровского полка, который находился на второй линии окопов.

Когда мы явились туда, там происходило собрание двух рот. Какой-то сухощавый человек с большим лбом и козлиной бородкой с увлечением ораторствовал, усиленно жестикулируя и мотая головой.

Послушав минут пять, я шепнул Сурову, что оратор, видимо, штатский и, вообще, судя по его речам, человек сомнительный.

А тот заливался соловьем:

— Мы свергли царя, получили свободу... Временное правительство ведет нас по правильному пути. Но у нас еще народ темный. И вот германские шпионы в Питере, именующие себя большевиками, мутят народ. В нашей дивизии солдаты братаются с неприятелем. Это — изменники...

— А ты сам кто? — крикнул Суров.

Оратор замер с раскрытым ртом. Суров, воспользовавшись его замешательством, вынул свой мандат, помахал им над головой и громко сказал:

— Товарищи! Вот мой мандат. Пусть этот человек, который морочит вам головы, покажет свой мандат. Тогда мы поверим, что он солдат из Центрального комитета солдатских депутатов.

Солдаты загудели со всех сторон:

— Кто он такой?

— Зачем приехал?

Оратор подвинулся ближе к Сурову.

— Я сам солдат с фронта! — крикнул он.

Мы продолжали настойчиво требовать от него мандат.

Оратор нервно рылся в карманах, вытаскивая оттуда разные бумаги, и при этом уронил на землю университетский значок.

Наконец он достал паспорт розового цвета и опять крикнул:

— Я социал-революционер!

Я взял у него паспорт и передал его Сурову. Суров, не теряя времени, обратился к собранию.

— Вот, товарищи, видите? Он называл себя солдатом, фронтовиком, а это ложь. Во время Николая солдатам паспортов не давали, а Временное правительство еще тоже до этого дела не дошло. Этот человек вас хочет надуть, оклеветать наших товарищей. Не верьте ему. Недавно в Питере один такой же тип, назвав себя солдатом с фронта и одевшись в солдатское обмундирование, среди бела дня стрелял в демонстрацию солдат и рабочих. А этот обманщик тоже агент правительства. Гоните его!

Солдаты плотно окружили оратора и начали угощать пинками и зуботычинами.

Его с трудом извлек во-время явившийся командир батальона.

ПРОЩАНИЕ С ФРОНТОМ

Наша дивизия отошла на пятнадцать километров влево. Сибирские стрелковые полки тоже отвели назад.

Был тихий весенний вечер.

В окопах солдаты вели оживленную беседу.

— Долго еще здесь просидим?

— Надо будет с австрийцами встретиться!

— А кто против нас здесь — немцы или мадьяры?

— Все равно.

— Хоть бы уйти живыми отсюда!

Стемнело.

Мы сидели с четырьмя солдатами двенадцатой роты и тихо разговаривали.

Вдруг начали суетиться командиры взводов и полурот, и через несколько минут последовал приказ одеть вещевые мешки и патронташи.

Я отправился в свой батальон и по дороге встретил командира девятой роты.

— Что, полк дальше в тыл отводят?

— Нет, наоборот, — ответил поручик. — Приказали перейти в наступление.

Я разыскал прапорщика Матвеева, и, обсудив положение, мы решили, что полк должен отказаться наступать, и через встречных знакомых солдат передали это решение по ротам.

Матвеев отправился в Сорок шестой полк.

В полночь скомандовали вынести все пулеметы вперед. Пулеметчик Милютин не двинулся с места и сказал взводному:

— Если у тебя руки чешутся стрелять, возьми и неси сам.

Взводный начал кричать и ругаться, но его окружили остальные пулеметчики и живо успокоили.

То же самое произошло и в других местах.

В окопах не было ничего похожего на обычные сборы перед наступлением, когда затихал шум и люди торопливо шептали прощальные слова. Сейчас отовсюду доносились крик, ругань, топот ног.

Призыв офицеров: «Ребята, не опозорим лица русской армии!» солдаты пропустили мимо ушей. Не испугали и угрозы предания полевому суду.

На угрозы они отвечали:

— Хватит! Пусть лучше лицо армии будет черным, чем залитым кровью. Калечить больше себя не дадим!

— Предавайте суду, вешайте, не пойдем!

— Пусть вешают, веревок не хватит!

Единодушие и решимость солдат были непоколебимы, и офицеры, поняв, что ничего сделать не удастся, отстали.

Мы узнали, что в Азовском и Днепровском полках произошла такая же история.

Все были взбудоражены, шумные беседы не прекращались всю ночь, и только на рассвете некоторые легли спать; а большинство продолжало обсуждать события за утренним чаем.

Начальства не было видно. Только изредка пробегали взводные, но офицеры не показывались из своего блиндажа.

Суров ушел в Азовский полк.

В полдень Матвеев передал мне, что полковой командир приказал всем командирам батальонов и рот подать письменные рапорты об отказе частей итти в наступление.

Все командиры, за исключением пятой и десятой рот, подали рапорты, а командир девятой роты подпоручик Сулимов сказал: «Такую болезнь рапортом не вылечишь. Нужны другие средства».

— Двенадцатая артиллерийская бригада вполне надежна, не знаю только, как сибирские стрелки, — закончил Матвеев.

На третий день поступила телефонограмма.

Матвеева, Сурова и меня вызвали в дивизионный комитет.

Мы полагали, что подробно обсудим положение в нашей дивизии, но в комитете застали только одного человека. Холодовский был в штабе корпуса, остальные — неведомо где. Так мы и вернулись ни с чем.

Между тем за время нашего отсутствия события стремительно развертывались.

Уже в ночь, когда мы отправились в штаб дивизии, Сорок пятый полк увели в тыл, а за ним последовали Азовский, Днепровский и Сорок седьмой. Через каждые полчаса отправляли по батальону, а в тылу каждый батальон окружали Сибирский стрелковый полк и Третий Оренбургский казачий и разоружали.

Одновременно был объявлен приказ правительства о расформировании трех полков двенадцатой дивизии и двух — тринадцатой.

Сагадатгареев рассказал нам подробности разоружения нашего полка:

— Вечером мы собрались вместе с несколькими товарищами из шестнадцатой роты пойти к австрийцам. Взяли хлеба, мяса, махорки и других гостинцев, договорились о том, что в первую очередь расскажем им, что мы отказались итти в наступление и наши офицеры ничего не могли с нами поделать. Мы уже совсем приготовились, как вдруг услышали команду: «Четвертый батальон в резерв!»

Вначале мы подумали, не хотят ли снова повести в наступление, но вскоре убедились, что это не так. Солдаты одевались лениво, никто их не торопил. Двинулись мы в тыл и, отойдя верст пять, в перелеске, заметили, что по обеим сторонам дороги шпалерами стоят сибирские стрелки. В то же время нас начали окружать казаки. Приказали бросить винтовки и патронташи. Делать было нечего. Нас было всего четыреста человек, а их не меньше трех тысяч. Ну, отобрали у нас винтовки и патроны, а самих пригнали вот сюда, — закончил Сагадатгареев.

В тот же день наших солдат распределили по разным запасным полкам и к вечеру небольшими группами по десять-пятнадцать человек начали отправлять в Тарно-

поль. До вокзала они шли под конвоем казаков и сибирских стрелков.

Когда мы выходили из деревни, навстречу нам попался полковник Жеромский. До войны и в самом начале ее он был командиром нашего батальона, но вскоре «заболел» и куда-то исчез и только в февральские дни снова появился уже в чине полковника.

Он остановил конвойных, о чем-то их расспросил, потом начал неожиданно ругаться, обнаружив тонкое знание всего лексикона отборной брани.

Покраснев и разгорячившись, он отрывисто выкрикивал:

— Сорок седьмой Украинский полк во время великой отечественной войны двенадцатого года геройски сражался, бойцы заслужили звание мушкетеров. А вы кто? Изменники! Позорно изменили родине и вере!

Он стал правой рукой утирать слезы.

— Ишь ты, брюхо отрастил и опять здесь объявился.

— Плачет, что не успел генералом сделаться.

Солдаты злословили и смеялись. Полковник ушел, и мы двинулись дальше.

Сурова назначили в Самару, а меня в запасный полк в Ростов-на-Дону.

Конвой нас оставил только на вокзале в Тарнополе, когда мы сели в вагоны.

ДОРОГА

Утром, когда я проснулся, поезд стоял на станции. В вагон явился патруль — два унтера — разыскивать дезертиров. Один из унтеров спросил:

— Что это за команда? Не больные, не раненые, а едут в тыл. Кто тут старший?

— Каждый сам себе старший, — крикнул кто-то. — Откуда такой закон, чтоб только больным и раненым в Россию ехать?

Когда патруль потребовал документы, со всех сторон потянулись руки, все охотно совали унтерам свои документы. Неизвестно, что́ подумали они, но документы нам быстро возвратили и сами поспешно ретировались.

День был солнечный, теплый. Многие спяли гимна-

стерки и сапоги и грелись на солнышке у открытых дверей вагонов. На станцию прибыл эшелон из тыла. Там были почти одни только семнадцатилетние ребята, недавно мобилизованные.

Когда поезд остановился, они побежали за кипятком.

Из штабного вагона вышел совсем молодой офицерик, с ребячливой физиономией. Он внимательно осмотрел носки своих ярко начищенных сапог, поправил на голове фуражку, потрогал кокарду, поправил пояс.

Немного погодя к нему подошла молодая женщина, курносая, с толстыми губами и большим ртом. Офицерское обмундирование плотно обтягивало ее полную фигуру. Сапоги ее сильно скрипели.

— Ишь ты, офицер тяжелый, даже сапоги у нее стонут, — усмехнулся Суров.

— Не мудрено, видишь, как разжирела, — сказал я.

— Ну-ка, давай, подойдем к ним поближе.

Когда мы приблизились, женщина сказала офицеру, указав на Сурова:

— Посмотри, Коля, что за вид у этого солдата! Приличный костюм, но ворот расстегнут, сам не брит да еще без сапог...

— Вы что, белобилетники? — спросил у нас офицерик.

Мы с развязным видом остановились и, усмехаясь, посмотрели на них. Суров широко расставил ноги, подбоченился правой рукой, а левую сунул за пояс.

— Вы что, как бараны, уставились? — багровея, спросил офицерик.

— Вас что, не учили, как с офицерами вести себя? — сердито обратилась к нам женщина.

Суров сощурил один глаз и, усмехаясь, начал насвистывать.

Несколько молодых солдат из прибывшего эшелона остановились неподалеку и стали прислушиваться.

— Это что за хамство? Слышите, что вам говорят? Где ваш командир? Ослы! — кипятился офицерик.

— Мы не намерены разговаривать с сопляками и мясниками, — сказал Суров.

Офицер и женщина побелели.

— Это что за издевательство? — пискливым голосом завизжала женщина.

Мы с Суровым отошли от них, но Суров еще успел сказать:

— Если не понимаете, что такое мясник, — спросите у этих ребят, которых вы везете на бойню. Вас ведь Керенский назначил приказчиками к пушечному мясу.

Офицерик послал какого-то ефрейтора к коменданту, а толстая женщина спешно ушла в вагон.

Молодые солдаты пили чай, закусывали, громко разговаривали. В одном вагоне ехала группа татар. Двое из них — один голубоглазый, с полным румяным лицом и другой худощавый, смуглый, с тонким ястребиным носом — сидели в дверях вагона, свесив ноги, и пели заунывным голосом:

Дом родимый покидая,
Обернулись мы не раз.
В мечети мертвых поминая,
Помяните также нас.

Мы росли в селе родимом
Буйно, весело.
А война глаза нам дымом
Вдруг завесила.

Паренек в могилу свалится,
Не услышит милых речь.
О добре богач печалится,
Нам — головушку б сберечь.

На машину всех нас скопом
Посадили и везут.
Подвезет она к окопам,
Там нам головы снесут.

В день отъезда, в чистом поле,
Стала грусть меня терзать:
Я ведь еду поневоле,
Богатеев защищать.

Плохо будет нам, парнишкам,
Не спасешься все равно.
По решению начальства
Нам погибнуть суждено.

Драться любит, в морду тыкать
Наш «папаша-командир».
Много парню горя мыкать,
Коль напялил он мундир.

Мы ведь люди — не бараны,
Жить бы нам по многу лет.
Только Керенский поганый
Нам войною застит свет.

Тщедушный паренек, больше похожий на школьника, чем на солдата, по-видимому, желая заглушить монотонное и печальное пение, вдруг запел высоким фальцетом:

Круши, громи, лупи германцев,
Пусть в страну свободную не лезут.

Голос у него сорвался, и он, смущенный, отошел в угол вагона.

— Вот ты поешь, что страна — свободная, а нас, как скот, в окопы гонят. Хороша свобода! — послышался чей-то голос.

— Правильно, товарищ! Что же это такое? Свобода, скоро малых ребят крошить начнут. На что же это похоже? Вон у этого, — указал говоривший на низенького худого паренька, — одна мать-старуха осталась.

Паренек вскочил с места и быстро тонким голосом заговорил:

— Отца моего забрали на фронт еще в самом начале войны, теперь он в плену у немцев. Дома осталась только мать да три сестренки мал-мала меньше. И корову в казну взяли.

Две крупных слезы покатились по худым щекам парнишки.

Рассказ этот взволновал солдат, и они начали дружно ругать правительство, зачинщиков и виновников войны. Воспользовавшись этим, я им рассказал о том, что мы отказались итти в наступление и нас отправили в тыл. Мое сообщение переходило из уст в уста. Солдаты из эшелона гурьбой теснились вокруг меня, расспрашивали подробности, глаза у них разгорелись, все новые и новые лица обращались с расспросами.

Комендант станции и с ним какой-то старый унтер еще раз проверили у нас документы. Мы спросили у них, когда нас будут кормить. Они рассеянно ответили, что нас покормят где-то на одной из следующих станций, и немного спустя мы поехали дальше.

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ

Солнце светило особенно радостно; на полях копошились крестьяне; постепенно исчезали следы войны и разрушений, и в стуке колес чудились какие-то веселые и бодрые мотивы.

Реже встречались военные мундиры и шинели, и чаще — женщины в пестрых платьях и детишки. Вид этих людей, живущих обычной, повседневной жизнью, от которой мы так отвыкли, воодушевлял нас и радовал.

Солдаты стали наводить красоту, мыться, бриться, чистить платье и обувь.

На станциях они распевали песни, шутили с принаряженными девушками, гулявшими на перроне.

Эти впечатления постепенно сглаживали тяжелое настроение солдат. Они стали забывать окопы, разоружение, с волнением говорили о неизвестном будущем, которое почему-то заранее казалось интересным и приятным.

— Тра-та-та, тра-та-та, — уверенно выстукивали колеса, как бы подтверждая радостные мысли солдат.

На узловой станции Жмеринка мы расстались. Все разъехались в разные стороны. Суров, Сагадатгареев и я решили побывать в местечке Меджебуж, где когда-то стоял наш полк, и навестить знакомых.

Местечко имело непривлекательный вид.

Корпусный лагерь разрушен, сады и парки вырублены, торчат только кое-где офицерские бараки, в которых выбиты окна и двери.

Мы отправились к портному Мойше на квартиру, где жили в былые времена. Наш старый хозяин умер от чахотки. Бедняга надорвался от непосильной работы.

Сыновей дома не было, и мы застали только трех девушек, которые тоже с утра до вечера шили. Старшие сестры побледнели и потускнели, их былая веселость как в воду канула, и только младшая Голда еще сохранила прежнюю живость.

Мы пришли к ним в сумерки.

Голда бросилась ко мне в объятья, старшая сестра Хава тоже порывисто и радостно с нами поздоровалась, но сразу как-то завяла, ушла в угол и, сжав свои тонкие руки, неожиданно заплакала навзрыд.

Мы с трудом ее успокоили.

Хава вспомнила своего нареченного — грузчика Самуила. Они любили друг друга чуть ли не с детских лет, мечтали жить всю жизнь вместе, но война их разлучила навсегда. Самуила повесили на фронте по приговору военно-полевого суда за агитацию против войны.

Несмотря на то, что был канун субботы, нам приготовили яичницу, поставили самовар, и за столом завязалась долгая задушевная беседа.

Вспоминали родных и близких. У Сурова эта беседа вызвала грустные воспоминания:

— У меня нет семьи, нет родных ,— медленно заговорил он после продолжительной паузы; — нет такого города или деревни, где меня бы ждали, но все же хорошо, что есть друзья, и такие хорошие друзья!

Он улыбнулся, и лицо его оживилось.

— Вот сегодня мы празднуем наш уход с фронта, — подхватил я.

— Да, это, конечно, праздник! — согласился Суров.

Хава и Голда рассказали нам местечковые новости. Они были связаны с партийными организациями. В местечке происходила борьба между различными партийными группировками.

В апреле в Меджебуж приезжал Зеленский и пробыл там три дня. На собрании эсеров он говорил:

— Пока царствовал Николай, война с Германией была для нас бессмысленной. А сейчас, когда мы являемся гражданами свободной страны, мы обязаны все, и мужчины и женщины, бороться с внешними врагами.

Богач Фитерман — поставщик продовольствия для воинских частей — принимал Зеленского у себя в доме и отвез его на станцию на тройке лошадей.

На следующий день мы пошли с Голдой и Хавой на берег полноводной, бурной, извилистой речки, протекавшей на западной стороне местечка. Вокруг раскинулись широкие заливные луга. В низинах блестели лужи, оставшиеся после половодья.

Бабы с подоткнутыми юбками, распевая украинские песни, разбивали грядки и сажали капусту.

В дороге мы наткнулись на большую компанию. Несколько девушек, пожилых женщин и один мужчина

средних лет, с деревяшкой вместо правой ноги, сидели на траве и закусывали.

Инвалид спросил нас, из какого мы полка, откуда возвращаемся, и потом рассказал нам свою историю:

— Я был в Тамбовском полку. Но мне недолго пришлось воевать. Ранили под Перемышлем. Ну и жарко же было! Бой продолжался всю ночь. От нашей дивизии уцелело несколько десятков человек. Убитых — видимо-невидимо, раненых — тоже. Нога моя была прострелена в нескольких местах. Может быть, уцелела бы, если б во-время в лазарет попал, но я два дня в поле провалялся, и вот, как видите... — с грустной усмешкой закончил он.

Когда мы ушли, до нас донеслась заунывная украинская песня. Мы тоже пробовали петь хором, но у нас ничего не получилось. Тогда запел один Суров.

Голос у него был сильный. Мы взволнованно слушали, боясь проронить слово:

Сегодня, с солнечным восходом,
Мы жизнь новую начнем.
Друзья, ведь наша жизнь — работа,
И все невзгоды, все заботы
Мы вместе дружно отметем!

— Это что за песня? — спросил я, когда Суров кончил.

— Эту песню раньше пели моряки тихим голосом, чтобы не слышало начальство, а теперь мы ее громко распевали в Харькове. Меня выучил товарищ Чернышенко,—ответил Суров.

Мы вернулись домой к вечеру.

Прожив еще два дня в гостеприимной семье Мойши, мы попрощались с нашими друзьями и отправились на станцию.

Мы шли по полю, где когда-то был артиллерийский полигон, происходили маневры и парады, и вспомнили, как нас муштровали офицеры и фельдфебеля.

«Хорошо, что это время миновало», — подумал я, оглядывая знакомые места.

Суров, все время молчавший, обратился к нам:

— Вот, товарищи, думаю я о евреях. Плохо они живут в этих местечках. Набиты, как сельди в бочке, трудятся

каторжно, а живут впроголодь. Попадаются, конечно, и купцы-богачи, но все больше бедняки: портные, сапожники, дровосеки, возчики, и ничего-то они не имеют за душой.

— И земли у них нет, — добавил Сагадатгареев.

— Да, надо им как-то по-другому зажить, — сказал задумчиво Суров.

НА СТАНЦИИ ЖМЕРИНКА

На станции Жмеринка мы застали настоящее столпотворение. Тысячи солдат и офицеров толкались, сновали, бегали по залам, перронам, тоннелям, путям. Одни ехали с фронта, другие — на фронт, и все кричали, шумели, курили, а главное — спешили. Всем было некогда в эти бурные дни.

На перроне, окруженная солдатами, стояла коротконогая, неопределенного возраста женщина, с плоским лицом, короткой шеей, маленькими серыми бегающими глазками. На ней была плотно облегающая солдатская гимнастерка, от чего особенно выделялась ее обвисшая грудь. Когда она говорила, видны были ее чрезмерно большие желтые зубы.

Мы прислушивались к ее беседе. С первых же слов мне стало ясно, с кем мы имеем дело.

— ... Сами подумайте, товарищи, что вы толкуете: «покончить с войной, забрать землю у помещиков и разделить ее крестьянам»? Но как вы не понимаете, что все это пустые слова? Если вы бросите фронт, немцы займут всю нашу землю, и вам ничего не достанется. И будем мы все немецкими рабами! — разглагольствовала коротконогая.

— Ну, и пусть придут немцы, порядку больше будет, — возразил ей солдат из толпы.

— Нет, братцы, от этих антихристов хорошего не ждите.

Мы протолкались ближе и вмешались в разговор.

— ... У нас договор с союзниками, мы не можем его нарушить! — горячилась она.

— Договор заключил Николай. А мы его сбросили. И нам его договор выполнять незачем, — крякнул Суров.

— Правильно! — загудели солдаты.

— Эта тетка царское дело поддерживает, — сказал Сагадатгареев.

— Временное правительство — не царское, — пыталась возражать женщина, но Суров не дал ей договорить:

— Брось заливать! Что царь, что Временное правительство — один чорт, им только одно важно — защищать богачей, и таких дураков, как ты, на войну посылать...

— Правильно!

— Долой, проваливай, тетка!

Солдаты явно перешли на сторону Сурова. Женщина двигала губами, что-то пыталась говорить, но ее слов не слышно было, они тонули в общем гомоне.

Она озиралась во все стороны, ища поддержки, но всюду натыкалась на чужие, враждебные лица солдат. Утирая вспотевший лоб, она поспешила уйти. Вслед ей неслись насмешки и злые шутки расходившихся солдат.

Мы отправились разыскивать поезд. Два солдата, шедшие впереди нас, пели татарскую песню:

Средь гор, лесов и полей,
Песнь моя дивная, лейся.
Чтоб цели достигнуть своей,
До вздоха последнего бейся.

Сагадатгареев знал эту песню и повторил ее вполголоса.

— Хорошая песня! — сказал он задумчиво.

В ПЕНЗЕ

Мы продолжали наш путь. Всюду встречали одно и то же: станции, переполненные солдатами, маршевые роты, эшелоны.

Временное правительство, видимо, серьезно решило воевать. Мы везде, поскольку нам позволяло время, разъясняли солдатам истинные намерения Керенского и его сподвижников, принимали участие в летучих митингах, проникали в эшелоны с отправляющимися на фронт. Наши документы были надежной защитой от многочисленных отрядов, ловивших «дезертиров» и «смутьянов».

Наконец мы прибыли в Пензу.

Все пути на станции были забиты составами. В ухо-

дящих и приходящих поездах буфера, площадки, ступеньки, крыши вагонов были увешаны людьми.

Сагадатгареев и Егоров, присоединившиеся к нам, остались на вокзале, а мы с Суровым пошли в город. На улицах заметное оживление, снуют толпы народа, слоняются солдаты.

Мы зашли в какую-то невзрачную столовку и заказали обед.

К нам подсел невысокий молодой солдат с плоским лицом и толстыми губами.

После обычных взаимных расспросов, какой губернии, полка, Суров сказал:

— *Похоже, что ты на фронте не был.*

— Нет еще! Меня только восемь месяцев, как взяли. А тут революция случилась. Меня выбрали сначала в полковой комитет, а потом в мусульманский. Вот мы и орудуем. Навербовали среди солдат-мусульман добровольцев и вчера отправили на фронт. Записываются еще.

— А-а! Значит, мусульманский комитет работает вместо воинского начальника! — сказал я ему по-башкирски.

Лицо у солдата расплылось от удовольствия.

— Вы тоже мусульмане? Ну, будем знакомы. Меня зовут Гайнихан, а по фамилии — Калтачев, — сказал он, протягивая мне руку.

Затем он рассказал нам, что отец его — мулла в Вятской губернии и что он учился два года в медресе.

Солдат предложил нам пойти с ним в мусульманский комитет. Нам интересно было ознакомиться с этим учреждением, — да, пожалуй, и не только ознакомиться, — и мы охотно согласились. Комитет помещался в просторном доме. Когда мы вошли, в большой комнате, за столом, сидели посетители, большей частью штатские, солдат было мало.

Один из штатских, большеголовый, с оттопыренными ушами, одетый в щегольской модный костюм, разговаривал с солдатом. Штатский говорил по-татарски, пересыпая речь русскими словами.

— Ануш, тебе надо пойти в полк и серьезно побеседовать с солдатами. Мусульманский комитет считает, что все без исключения должны поехать на фронт защищать свободу.

Затем мое внимание привлекла другая пара: напомаженный молодой человек и кокетливая сестра милосердия.

— Вы, Мафруха-туташ [1], — вкрадчиво говорил молодой человек, — должны убедить всех уважаемых богатых людей нашего города принять участие в оказании помощи воинам. А организовать это дело мы сумеем.

Сестра поправила косынку, вынула из сумки сильно надушенный носовой платок и, повертев его в руках, спрятала. Затем, сильно картавя, жеманно заговорила:

— Пгиш'а я увидеть ч'енов комитета. Вчега наше общество пгиняло гешение о помощи.

Они продолжали о чем-то тихо ворковать, но внезапно на улице послышался шум и крики женщин.

Все присутствующие вскочили со своих мест и бросились к окнам.

— Это опять солдатки пришли бунтовать! — сказал кто-то встревоженным голосом.

Большеголовый франт, разбиравший на столе журналы, обратился к приведшему нас солдату:

— Выйди, пожалуйста, Калтачев-эфенди, к этим солдаткам и успокой их. Скажи, что они должны радоваться, что их мужья на фронте. Сознательные женщины теперь сами идут на фронт.

— Ладно, — немедленно согласился Калтачев, — пойду, — и сдвинув молодецки фуражку набекрень, вышел из комнаты.

Оставшиеся сгрудились у окон.

Калтачев, выйдя на крыльцо, осмотрел собравшихся и начал непривычным для него громким голосом:

— Тетушки-солдатки, мусульманский комитет поручил мне заверить вас, что Временное правительство полностью удовлетворит все ваши требования. Успокойтесь и расходитесь по домам.

Стоявшие впереди женщины подошли к нему вплотную и, угрожая кулаками, начали кричать:

— Ах, бессовестный, стыд потерял!

— Гад, ты чего здесь врешь, наняли тебя?

---

[1] Туташ — обращение, соответствующее французскому «мадемуазель».

— Комитетчики проклятые, мужей наших на фронт угнали, а сами здесь окопались!

— Скажи, когда наши мужья вернутся?

— Зубы ему надо выбить!

Женщины окружили Калтачева, стянули его на тротуар и начали бить, толкать, щипать, сшибли с головы его фуражку. Толстая баба пригнула Калтачева к земле и начала его дубасить изо всей мочи. Калтачев начал терять силы, его тщедушная фигура едва маячила в толпе разъяренных женщин.

Улучив минуту, он выскользнул из толпы и бросился бежать без оглядки.

Женщины его не преследовали. Они презрительно поглядели ему вслед. Толстая поправила волосы, выбившиеся из-под платка, вытерла пот кулаком и отбросила ногой валявшуюся на земле фуражку Калтачева.

— Больше он над нами смеяться не будет! — сказала она, победоносно оглядывая толпу.

Комитетчики незаметно улизнули. Мы с Суровым вышли на улицу. Женщины тоже группами начали расходиться.

— Пойдем домой, Хадиче! — обратилась к своей соседке высокая полногрудая женщина. — От них толку не добиться!

— Да, ты права. Вчера мы пришли на собрание женщин-мусульманок. И там тоже бестолочь. Собрались жены богачей и от безделья мелют языками.

— От них толку не добьешься. Не с этого конца начинать надо, — вмешался я в разговор.

Женщины пристально посмотрели на меня.

— Самое лучшее — устроить забастовку, как на мыловаренном заводе, — сказала одна.

Мы посоветовали им собраться большой толпой, с детьми на руках, и отправиться к воинскому начальнику. Правда, от него многого не добьешься, разве какого-нибудь незначительного пособия, но и то дело. Кроме того, это будет носить характер демонстрации и образумит других. Затем мы разъяснили им истинную сущность мусульманского комитета.

— Верно! — раздались возгласы женщин. — Эти черти только воевать хотят, а до нас им дела нет!

— Они и женщин на фронт гонят!

— Да, вот мучного торговца Митрофанова дочка записалась добровольцем и уехала.

— Ну и пусть околевает вместе с папашей!

Мы отправились на вокзал.

НА РАЗЪЕЗДЕ

Наш поезд долго стоял на разъезде. Солдаты выскакивали из вагонов, гуляли, лежали на траве, рвали полевые цветы.

Недалеко от железной дороги, на берегу реки, возвышался двухэтажный большой дом с колоннами, балкончиками, окруженный большим парком.

— Эх, выкупаться бы там и в саду побродить! — мечтательно сказал Сагадатгареев.

У меня и у других бродили в голове те же мысли, и мы, не долго раздумывая, взяли свои мешки и отправились.

День был жаркий.

С выгона мелкой трусцой бежало стадо свиней, спасаясь от жары. На лужайках в траве резвились дети, выводок гусят щипал травку.

Мы прошли мимо белого дома. Из кухни доносился запах жареного лука и еще каких-то яств. Внутри играли на органе протяжную мелодию.

Появление четырех солдат, хотя и безоружных, но со скатанными шинелями через плечо и с вещевыми мешками на спине, повидимому, встревожило обитателей белого дома.

Они, перешептываясь, стали в дверях дома и бросали на нас подозрительные взгляды.

Мы прошли через парк до мельничного пруда и расположились на берегу.

Здесь мы выстирали до-нельзя запошенное белье. Затем Егоров нас побрил...

Со стороны мельницы к нам подошел пожилой мужчина с черной с проседью бородой и длинными усами, одетый в длинную поддевку.

— Здорово, земляки! На побывку идете? Из какой деревни будете?

— Наша деревня далеко, — уклончиво ответил Суров: — так что мы вам, пожалуй, земляками не доводимся.

На лице чернобрового отразился испуг:

— Значит вы прибыли к нам с отрядом каким-нибудь? — и, не дождавшись ответа, продолжал: — Белье выстирали? Это хорошо! Я ведь тоже бывший солдат, в турецкой кампании участвовал. Наш генерал Скобелев любил, чтобы солдат чисто одевался и сытно ел.

— Да, поесть не мешало бы, — сказал Егоров.

Старик приветливо улыбнулся и сказал:

— Наш Михаил Дмитриевич всегда говорил, что для защитников отечества ничего жалеть нельзя. Погодите, сейчас вам принесут поесть!

Он поспешно ушел по направлению к дому.

— Заискивает, собака! Это наверное приказчик помещика. Боится, как бы «христолюбивые воины» его не поцинали малость, — усмехаясь, сказал Суров.

Минут через пятнадцать к нам подошла женщина и принесла нам большой каравай белого хлеба, мяса, колбасы и крынку молока.

Мы пытались заговорить с женщиной, но она только испуганно смотрела на нас при каждом вопросе, бормотала что-то невнятное и торопилась уйти.

— Видать, ей строго наказали много с нами не разговаривать, — заметил Суров.

Мы как следует поели, вскипятили воду, напились чаю и потом долго купались в реке.

В саду все время мелькала фигура чернобородого. Он, видимо, наблюдал за нами.

Сагадаттареев, лежа на траве, пел частушки на непривычно-протяжный мотив:

Ты подумай, мы поможем,
Как бы не попасть в окоп.
Коль надумать мы не сможем,
Ты прикинься дураком!..

Когда высохло белье, мы оделись и покинули имение.

На разъезде Суров и Егоров решили поменяться местами назначения. Егоров родился в Поволжьи, и ему хотелось поехать в Симбирск, а Суров отправился со мной в Ростов-на-Дону.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Степи и равнины края густо изрезаны железнодорожными путями. Поезда то-и-дело проносились нам навстречу, битком набитые людьми, преимущественно солдатами.

Солдаты возвращались с фронта, а на Кавказ ехали кубанские и терские казаки в черкесках, донцы в широких шароварах с красными лампасами, с залихватскими чубами, свисающими над лбом, и надетыми набекрень широкими фуражками.

Между солдатами теснились спекулянты — мужчины и женщины — с корзинами и мешками.

Все станции по пути были переполнены этими же людьми.

Мы сошли на станции Нахичевань, в нескольких верстах от Ростова, так как наш полк был расположен на границе между этими городами.

Только что взошло солнце. На вокзале народу было сравнительно немного. Вдали играли утреннюю зорю.

Мы вышли на улицу. Маленькие опрятные домики показались нам уютными и приветливыми. Несколько рабочих в одежде, выпачканной мазутом и сажей, спешили на работу, повидимому, в депо. Полк нам пришлось искать недолго. Он помещался в деревянных бараках, выстроенных недавно на пустыре. В бараках помещались два запасных полка.

Мы направились в восьмую роту.

Два яруса нар были тесно набиты солдатами. Матрацев, одеял и подушек не было.

Солдаты лежали, подложив под голову свои вещевые мешки и закутавшись в шинели.

Некоторые уже встали, умылись, пили чай и закусывали тут же на нарах, потом уходили в город.

Оружия в бараке не было видно.

Мы узнали, что полковой комитет состоит почти исключительно из офицеров и кадровых унтеров учебной команды, и есть там только один мусульманин — Манапов, из Самары.

Вечером рядом со мной лег один щуплый, небольшого роста солдат. Он сильно картавил.

— Как вы тут живете? — обратился я к нему.

Мой собеседник приподнялся, опершись на локоть и, улыбнувшись, сказал:

— Ты спрашиваешь, чего мы тут валяемся без дела? Да мы и сами не знаем, дорогой товарищ, зачем нас здесь держат. Меня недавно взяли на военную службу. Я родом из Курляндии. Сегодня вот был на митинге. Там и солдат и штатских было много. Грызлись эсеры и большевики. Ну, известное дело, острят, друг дружку колют, изощряются.

— А ты на чьей стороне — большевиков или эсеров? — задал я ему вопрос.

— Мне дела нет до всех этих партий. Я — народный учитель и политикой не занимаюсь, — ответил он.

Слушавший наш разговор солдат с противоположных пар сказал ему запальчиво:

— Брось ты эти штуки. Ты был учителем, а теперь ты солдат, и завтра тебя пошлют с маршевой ротой на фронт убивать таких же учителей. И ты должен знать, хочешь ли ты убивать людей или нет, за войну ты, или за прекращение войны?

Наш разговор прервала ввалившаяся в барак ватага пьяных солдат. Они громко распевали песни. Я почувствовал удушливый и тошнотворный запах денатурата. Они шумели так, как будто их было не пять человек, а целая рота.

— Надо будет скорее улепетывать отсюда! — сказал Суров, с головой укрываясь шинелью.

На другой день мы разыскали товарища Василенко, который должен был по поручению партийного комитета провести собрание рабочих.

Он повел нас в предместье, расположенное на холме за вокзалом, — Темерник. Там жили главным образом рабочие железнодорожных мастерских. Домики там — все маленькие, приземистые, и в каждом из этих домишек ютятся две рабочих семьи.

У домиков снуют женщины и дети, лица у них желтые, изможденные, одеты они в грязные отрепья.

Жители Темерника были озлоблены и готовы растерзать всякого, кто вымолвит слово за продолжение войны.

Вечером Василенко повел нас в партийный комитет,

и нам поручили отправиться на станции Хрущевку и Степную, — около Ростова, — и вести там разъяснительную работу среди грузчиков — татар, персов и киргизов.

В Хрущевке работало около четырехсот казахов. Они знали, что царя нет, но что происходит сейчас, что такое Временное правительство, эсеры, большевики,— не имели никакого представления.

На родине они, не желая итти в армию, восстали против царя. Но их усмирил генерал Галкин со своим отрядом. Помощь ему оказали также старшины и баи. Конечно, в армию не попал ни один байский сын, туда нагнали одних бедняков и батраков. Старшины знали свое дело.

Мы побыли с ними три дня, разъясняя им современную обстановку. После этого они собрались, вызвали начальника и категорически потребовали, чтоб им разрешили уехать домой.

Почти все работавшие на станции Степной еще до нашего прибытия самовольно уехали на родину. Мы застали там только человек пятнадцать персов и немного больше татар из Дергача.

Мы с Суровым вступили в их артель и грузили сено. Оплата была сдельная — с каждого погруженного вагона. За долгий летний день — от зари до зари — удавалось заработать рублей двадцать, а купить на эти деньги можно было очень мало.

Однажды начальник станции созвал собрание всех рабочих депо, грузчиков и других. Собралось около двухсот человек.

Начальник привел с собой какого-то полного, хорошо одетого человека и представил его нам. Незнакомец, — его звали Афанасьев, — стал читать из какого-то журнала статью о земельном вопросе.

Потом он обратился к нам:

— Итак, товарищи, мы, оставляя окончательное разрешение вопроса о земле на усмотрение Учредительного собрания, пока требуем установления известных размеров арендной платы, — и стал опять читать что-то из книги.

Мы с Суровым задали несколько вопросов, поговорили с товарищами и направили разговор на тему о войне и Временном правительстве.

— О мире будем говорить, когда победим неприятеля, а о правительстве — когда изберем Учредительное собрание, — сказал Афанасьев недовольным тоном.

Ему больше говорить не дали.

Выступил Суров. Он взял у меня решение апрельской партийной конференции и вышел вперед.

— И я тоже, как предыдущий оратор, начну с чтения, — сказал он и прочел решение конференции о войне.

Одобрительный гул послышался в толпе.

— Все ясно!

— Правильно сказано, так и надо действовать!

— Надо самим за дело взяться, а от министров добра не дождешься!

Повидимому, за мной и Суровым следили. Начальник станции назвал нас дезертирами и смутьянами.

Тут же к нам подошел унтер и потребовал предъявить документы, а затем повел нас в какую-то комнату.

Он нам задавал разные вопросы, но поймать нас ни на чем не мог, документы были в порядке, и, видя, что добиться с нами ему ничего не удастся, он сказал нам:

— Ну, вот что, друзья, уезжайте отсюда по добру-по здорову.

Нам пришлось уехать.

В БАТАЙСКЕ

Мы решили остановиться в Батайске — поработать там немного. Батайск — узловая станция в нескольких верстах от Ростова. Там всегда много пассажирских и товарных поездов и толпы людей.

На перроне снуют детишки, продают ягоды и молоко.

Мы купили в станционной лавке продукты и расположились в привокзальном садике закусить.

Мы обсуждали события на станции Степной и заспорили об Афанасьеве: я утверждал, что он эсер, а Суров не соглашался и говорил, что это просто — проходимец, работающий за деньги. Во время спора Суров несколько раз упоминал мою фамилию.

Когда мы закончили спор, я заметил, что на нас смотрит девушка, сидевшая на корзине. В руках у нее была раскрытая книга.

Девушка поднялась, взяла корзинку и подошла к нам. Она остановилась в перешительности и, улыбнувшись, сказала:

— Вы разрешите мне поставить здесь корзинку?

— Пожалуйста, сад больной, места хватит, — ответил Суров.

Девушка поставила корзинку, но продолжала стоять, рассеянно озираясь. Лицо у нее было взволнованное, и она несколько раз порывалась что-то сказать.

Она порывисто дышала, грудь ее высоко подымалась, синие глаза из-под черных длинных ресниц смотрели на нас тревожно.

Она спросила с дрожью в голосе:

— Простите, вы не из Сорок седьмого Украинского полка?

— Когда-то были, а теперь — нет, — ответил я.

Девушка мне показалась знакомой, но я никак не мог вспомнить, где и когда мы встречались.

— Наш полк не понравился начальству, очень уж боевой, вот нас и расформировали, — добавил Суров и предложил девушке чаю.

— Я сестра прапорщика Алексея Линчевского, расстрелянного в Сорок седьмом полку по приговору военно-полевого суда. Брата моего вы знали ведь?

Мы молча пожали ей руку.

У девушки в глазах показались слезы, но она, стараясь скрыть свое волнение, начала копаться в корзинке, достала оттуда пирожки, и мы снова принялись за чай.

Она уже опять улыбалась и рассказывала нам о своих родителях-стариках, живущих в Таганроге, о своем житье-бытье, о том, что она едет в Новочеркасск к своей сестре-врачу.

Я вспомнил печальную историю Линчевского. Он дружил с солдатами, особенно хорошо относился к евреям и другим «инородцам», над которыми всячески издевались начальство и унтера.

В Галиции, в городе Садовая Вишня, одного солдата-еврея — Абрамовича обвинили в шпионаже. Линчевский выступил в его защиту, горячо поспорил с ротным командиром Глыбой и назвал его хищником. Глыба донес об этом командиру полка. Линчевский и с ним говорил очень

резко, ругал за нечеловеческое отношение к солдатам и в довершение всего заявил: «Вы не командиры, а погонщики, надевшие погоны и ведущие солдат на убой неизвестно за что».

Его судили и расстреляли. И вот сейчас перед нами его сестра — Александра.

Какая она простая и милая! Она пьет с нами чай из одной кружки, сделанной из гильзы снаряда, и держит себя так, как будто мы старые друзья, а не только что познакомились.

— Поедем вместе в Новочеркасск, — приглашает нас Александра. — Я вас познакомлю с сестрой, и вы у нас поживете.

— Спасибо, постараемся на-днях заехать, — сказал Суров.

С вечерним поездом мы доехали вместе до Ростова. Там она дала нам адрес сестры и сердечно с нами попрощалась, сказав, что серьезно обидится, если мы не приедем.

БАРАХОЛЬЩИКИ

В полковом комитете мне поручили отправиться на собрание мусульман.

Из разговоров с товарищами я узнал, что в Ростове имеются две татарские школы; их крепко держат в своих руках муллы.

Около одного муллы сгруппировались наиболее значительные горожане: крупные торговцы, чиновники, студенты и члены благотворительных обществ; вокруг второго — содержатели харчевен, извозчики и главным образом — старьевщики, или барахольщики, как их называли здесь.

Собрание, на которое мне предстояло отправиться, было назначено в школе второго муллы, — на Таганрогском проспекте, широкой, красивой улице.

Когда я пришел туда, в одной из классных комнат толпилось человек двенадцать. Собрание еще не начиналось.

Ко мне подошел сутулый человек маленького роста, с веснушатым лицом и глубоко запавшими глазами и спросил:

— Эфенди, что вам здесь нужно?

Узнав, что я пришел на собрание, он с деланной любезностью предложил мне сесть.

Человек этот все время суетился, перебегал от одного к другому на своих кривых ногах, исчезал и снова появлялся в комнате.

Как я узнал из расспросов, это был учитель школы — Зафаров.

Присутствовавшие лениво переговаривались; им, видимо, было скучно.

Человек с толстой шеей и остроконечной головой рассказывал другому, чернобородому, о своей поездке в Харьков. Говорил, что мануфактура там вздорожала и что он купил ее в Луганске и продал женам шахтеров на Енакиевском руднике, получив большую прибыль. А чернобородый, в свою очередь, хвастался, что по дешевке купил в Тихорецкой подержанные вещи.

Вошли еще два молодых человека: один высокого роста, с выпученными глазами, а другой смуглый, с черными взлохмаченными волосами. Одного из них звали Кулаткий, другого — Ибрагим.

Когда пришли еще пять-шесть человек, Зафаров произнес длинную речь о «свободе» и объявил наконец собрание открытым. После этого он очень долго говорил что-то непонятное, какие-то напыщенные фразы о мусульманстве.

Потом речь зашла о коврах мечети, хотя этот вопрос в повестке дня не стоял. Говорили, что мулла Газеев не имеет права один распоряжаться отправкой этих ковров в мойку, что ковры могут подменить.

Постановили затребовать от муллы объяснение.

Далее Зафаров объявил, за кого из учащихся не внесена полностью плата, и на этом собрание закончилось.

Я узнал, что Кулаткий и Ибрагим ведут среди ростовских татар культурно-просветительную работу. Они пригласили меня принять участие в спектакле, который должен был состояться в скором времени.

Вечером, когда я пришел в комитет, товарищ Василенко познакомил меня с Турло и Хомяковым, только что вернувшимся с каторги, а затем сказал, что на следующий день мне придется пойти еще на одно собрание мусульман уже другой группы, объединяемой муллой Газеевым.

Я рассказал о собрании в школе. Все хохотали, когда я описывал споры о коврах.

Вернувшись в барак, я почувствовал себя нездоровым. Начала кружиться голова, потемнело в глазах. Все тело было точно избитое. Знобило. Суров накрыл меня моей и своей шинелью, а сам ушел в город искать хины. Я впал в полузабытье. Глаза смыкались, появились шеренги солдат и офицеров, слышались выстрелы из орудий и винтовок. Когда же, сделав усилие, я освобождался от бреда, казалось, что руки и ноги у меня неимоверно распухают, а тело растет. Я невольно раскрывал глаза и ощупывал себя. Глаза снова смыкались, и опять начинался бред. Казалось уже, что какой-то полковник с плеткой гоняет солдат. Появляется прапорщик Игнатьев и хохочет... Потом куда-то бегают пензенские солдатки.

Не знаю, много ли прошло времени, но наконец вернулся Суров, принес хину и спирт. Он приподнял меня и усадил. Тело мое пылало, у меня была малярия. Суров дал мне хины и полстакана разбавленного спирта.

На другой день, несмотря на то, что я чувствовал большую слабость, пересохло горло и мучила жажда, мы с Суровым пошли разыскивать собрание.

Член полкового комитета унтер-офицер Манапов почему-то (причину мы поняли позже) повел нас в дом муллы Газеева.

— Солдаты расформированных полков, люди без полкового знамени,— иронически улыбаясь, представил нас Манапов мулле, с почерневшими от табака зубами, и студенту Горной академии Абазову.

— Ну, ничего, — ответил Абазов. — От того, что распустили два-три русских полка, мир не разрушится. Зато они будут верными солдатами мусульманских полков.

Угостив нас чаем, мулла дал нам по пяти рублей, сказав:

— Солдат нуждается в деньгах, пригодится на что-нибудь, — и вышел из комнаты.

Абазов просил нас, чтобы на собрании, при выборах делегатов на мусульманский съезд в Казани, мы поддерживали кандидатуру его и Манапова.

Собрание происходило во дворе мечети и было многолюдно. Кроме буфетчиков, хлебопеков и торговцев, было

довольно много солдат — татар, башкир и мещеряков. Мы потолкались среди собравшихся. Солдатские разговоры сводились к одному: покончить с войной и отобрать землю у помещиков. Мы поддерживали эти настроения.

Начался митинг.

Первым выступил студент. Он печалился о судьбе татар, и, несмотря на то, что из десяти слов — девять говорил по-русски, высказался за то, чтоб назвать все на свете татарскими именами.

Затем он говорил что солдаты-мусульмане должны геройски защищать родину, но в ответ посыпались насмешливые замечания:

— Почему сам не идешь?

— Сам попробуй, потом будешь уговаривать!

— Сватом Керенского стать хочешь?

Абазов вынужден был переменить тему. Он заговорил о предстоящем в Казани мусульманском съезде.

— Передовые представители тридцатимиллионного мусульманского населения должны на съезде решить вопрос о создании мусульманского государства! — закончил он свою речь.

Выступивший учитель предложил послать на съезд студента Абазова и унтер-офицера Манапова.

Выступил и я, сказав, что нужно выдвинуть требования: прекратить войну, отпустить солдат по домам, отобрать землю у помещиков.

Когда начались выборы, солдаты выставили мою кандидатуру.

— Джамагат, он не годится, — его выгнали из полка! Временное правительство всю их дивизию распустило. Он — изменник! — закричал Манапов, вскочив на стул.

Вслед за ним заговорил Суров:

— Да, мы отказались воевать за интересы капиталистов. Правительство Керенского наши полки распустило, но мы сорганизуемся и начнем войну против Временного правительства. Долой правительство капиталистов!

Манапов и его компания надрывались:

— Обманщики!

— Шпионы!

— Немецкие агенты!

Начался галдеж. Я разъяснил солдатам, почему бо-

С ними не было ни одного офицера, а только взводные и унтера. К одному из них мы подошли.

— Видимо, на фронт отправляетесь? Одеть-то вас одели в новое обмундирование, а солдатам винтовок не дали, — заметил я.

Унтер-офицер плюнул и выругался:

— Только три месяца, как я вернулся с фронта контуженным, и вот опять гонят! — сказал он с раздражением.

— Говорят, собираются начать генеральное наступление; сам Керенский отправился на фронт. Пусть наступают, — мы вот отказались, — сказал Суров. — Мы в наступление не пошли. За это наш полк расформировали.

И унтер-офицеры и солдаты стали с любопытством расспрашивать, как это произошло.

Между тем на площади появились две группы нарядно одетых женщин и мужчин, человек по десять-пятнадцать в каждой.

В одной группе несли красное полотнище с надписью: «Война до победного конца». Девушки держали букеты белых и желтых цветов. Вслед за ними подъехали несколько человек в белых воротничках.

На трибуну взошел человек в пенсне, с козлиной бородкой, высморкался, вытер усы и напыщенно заговорил:

— Солдаты, родные! Чувствуете вы, как ласково пригревает солнце свободных людей необъятной страны? И вот эту необъятную, — здесь он широко раскинул руки, — страну хотят захватить ваши враги — немцы и турки! Они хотят поработить нашу страну святого православия. Наш долг — биться с врагами до полной победы, наша задача победить!.. — закричал он пронзительно.

Дальше он стал расхваливать Временное правительство, возвел Керенского в Наполеоны, рассказал, что собственноручно сорвал погоны с солдата, заявившего, что он против войны. Рассказал также о расформировании полков двенадцатой и тринадцатой дивизий, отказавшихся итти в наступление.

— За борьбу до последней капли крови, за спасение родины от немцев, от хищников! Ура! — закончил он свою речь.

Солдаты молчали. Его «ура» подхватили лишь женщины и сгрудившиеся около них провожающие. После него поднялся на трибуну и стал распинаться толстяк с пепочкой поперек живота.

В это время подошел Василенко. От бессонных ночей у него покраснели глаза.

Он настойчиво предлагал мне и Сурову рассказать солдатам, почему Временное правительство расформировало наши полки, почему мы отказались итти в наступление.

Солдаты маршевой роты стояли обескураженные, как люди, не знающие, куда деваться, кому рассказать про свою печаль.

Вид у них был растерянный.

Когда Суров стал подниматься на трибуну, ростовские социалисты-революционеры, собравшиеся провожать солдат, приняли, видимо, его за одного из солдат маршевых рот и зааплодировали. Послышались возгласы:

— Да здравствует русский солдат!

Суров, не снимая фуражки, заговорил.

— Товарищи солдаты! Выступавшие здесь господа называли нас родными. Уж не знаю, с каких это пор мы с ними родня! Они называют нас родными до тех пор, пока не проводят на войну, до тех пор, пока нас не убьют, не оставят безрукими или безногими. Я и несколько товарищей солдат здесь — из полков, расформированных Временным правительством за отказ итти в наступление. Почему мы не хотим воевать? Потому, что война не в интересах рабочих и крестьян. Николая свергли, а прекратить войну не желают, земли передать крестьянам не торопятся. Солдат в окопах голоден и раздет, последнюю кровь его высасывают вши. А семьи солдатские гибнут в деревнях от голода. Наши полки были против войны, и поэтому их распустили. Мы и сейчас против. И остальные полки должны быть против войны. Пусть Временное правительство и их распустит! Рабочие и крестьяне создадут свою армию! И не для того, чтобы воевать с Австрией и Германией, а чтобы итти против Временного правительства, против тех господ, которые, выступая здесь, уговаривали солдат итти на фронт.

Солдаты во время речи Сурова оживились, а когда он кончил, громко и дружно кричали «ура».

Среди белых воротничков слышались возмущенные возгласы:

— Какое безобразие!

— Притянуть его к ответу!

— В штаб надо сообщить!

— Это шпион, агент большевиков!

Подошедший поручик с серебряным и золотым крестами на груди приказал унтер-офицеру построить солдат.

Вечером с вокзала уехала лишь одна маршевая рота, остальные разошлись.

В КАЗАЧЬЕМ ГОРОДЕ

Вагоны пассажирского поезда, в который мы садились на станции Нахичевань, были битком набиты. Большая часть людей спала. Как только поезд тронулся, какая-то женщина, проснувшись, заголосила. У нее из-под головы украли чемодан. Ее крики разбудили остальных. Все проверяли, целы ли их вещи. Послышались голоса:

— Следующая станция Ростов. Там заявишь, попросишь поискать.

— Ростов уже проехали!

— Стало быть, там и стянули!

— Беда, если багаж не привяжешь!

— Конечно, раз почтовые поезда сделались хуже товарных.

— Не выйдет ничего путевого из этих новых порядков.

— Что, или по Николаю скучаешь?

— Конечно, что хорошего ждать, коли солдат допускают в любой вагон, — сказал долговязый поп, с бледным лицом и с большой гривой волос, и замолк, увидев нас.

Поезд шел по берегу Дона. С широко раскинувшихся на другом берегу реки зеленых лугов поднимался туман. Рыбаки сидели, не отрывая глаз от поплавков. Клочья облаков на востоке, освещенные только что появившимся солнцем, окрасились в цвет расплавленной стали.

По дороге ехали старики-казаки с широкими, как лопата, бородами, в брюках с лампасами и широковерхих, с красными околышами, фуражках.

Когда подъезжали к Новочеркасску, человек с взлох-

маченной головой, в лакированных сапогах и жилетке поверх черной рубашки навыпуск, обратился ко мне, протягивая чайник:

— Солдатик, на-ка принеси кипяточку. Ежели есть кружка, и сам выпьешь.

— Хм, делегат, стало быть,— сказал он, видя, что я не собираюсь пить.

В Новочеркасске вокзал кишел казачьими офицерами. И в городе на каждом шагу попадались казаки и офицеры.

На многих воротах и дверях виднелись карточки с надписью: «Полковник такой-то», «войсковой старшина», «есаул», «хорунжий», «подхорунжий»...

Удивляясь многочисленности их, Суров спросил:

— А наши Линчевские, не дочери ли они какого-нибудь есаула или хорунжего?

Я сказал ему, что отец Линчевских — доктор таганрогской городской больницы. Он удовлетворенно ответил:

— Ладно, если так! А то не пришлось бы раскаиваться, что пошли.

Сестры Линчевские — Елизавета и Александра — встретили нас радушно. Обе были радостно возбуждены, часто смеялись. Мы умылись, привели себя в порядок. Чай и яичница были на столе. Сели завтракать.

Когда мы по их просьбе рассказали, как и за что был расформирован наш полк, Елизавета поднялась и, пожав нам руки, сказала:

— Спасибо вам большое за ваше геройство.

То ли от возбуждения, то ли от того, что она вспомнила расстрелянного брата, — на ее темные глаза, обрамленные длинными ресницами, набежали слезы.

Шура рассказала, что один из их родственников по окончании гимназии пошел добровольцем на войну, стал прапорщиком и теперь находится в Питере в Зимнем дворце. Говорила с отвращением о том, как он недавно, приезжая в отпуск, называл себя «героем», «защитником родины», гордился своими погонами.

Мне нездоровилось — начинался приступ малярии, побаливала голова. Меня уложили в теплую, мягкую кровать.

Суров и Елизавета заговорили о войне, о положении

солдат на фронте, о том, что из ста солдат девяносто против войны и все скорее хотят вырваться домой, забрать у помещиков землю и заняться мирным трудом. Елизавета сказала, что она сторонница большевиков и готова с ними работать и помогать всеми силами.

Когда я очнулся от тяжелого сна, в комнате никого не было. Голова болела, тело ныло, вставать не хотелось, хотя мучило сознание, что я лежу в постели днем, в то время когда так много дела.

Со смехом и шумом возвратились Шура и Суров. Позже, когда зажгли огонь, пришла и Елизавета. Она мне и Сурову принесла из лазарета документы об освобождении от военной службы по болезни.

— Я пока что только так могу помочь солдатам, — сказала она.

На другой день мы хотели уехать, но нас не пустили.

— Куда вы пойдете, ведь у вас никого нет! — уговаривала нас Елизавета.

Мы гостили еще два дня.

Возвращаясь в полк, мы не сошли в Нахичевани, а проехали до Ростова. Ростовский вокзал и стоявшие там поезда были переполнены. Кроме обычной публики расхаживали группы матросов. Некоторые из них были пьяны, другие ходили с озабоченным видом.

Когда мы направились к выходу, три матроса попались нам навстречу. Один из них, широкогрудый, подбежал к нам, широко раскрыв объятия. Ленточки его бескозырки развевались.

— Чагадай! — вскрикнул он и, схватив Сурова в объятья, троекратно с ним расцеловался.

Оказалось, что матрос этот — кочегар Федоров, когда-то ударивший ложкой по лбу капитана второго ранга, заставлявшего матросов есть недоброкачественный обед, — сидел с Суровым в одной камере.

Матросы повели нас в свой вагон, где их было десятка два. Среди них выделялся человек с сухощавым лицом, широким лбом, большими глазами, ястребиным носом и взъерошенными волосами, одетый в солдатское обмундирование.

Нас стали угощать. Федоров и Суров заговорили, пересыпая свою речь матросскими словечками. Когда Федоров расспросил о нашем положении, он оперся тяжелыми руками о мое плечо и сказал:

— Тому, что было, — каргала[1]! Теперь поедем с нами в Питер. Там вам будет много дела. Об этом расскажет вам в дороге вон тот дядя, — указал он на человека в солдатском обмундировании.

Тот сидел на верхней полке, расстелив перед собой газету «Новая жизнь», и читал ее, изредка взглядывая на матросов, и загадочно улыбался.

Матросы каким-то комитетом Временного правительства были отправлены на Кавказ в распоряжение одного из видных генералов. Человек в солдатском обмундировании попросился в вагон в Харькове. Когда разговорились, он разъяснил матросам, зачем они едут, и стал уговаривать не отрываться от кронштадтских моряков и ехать обратно. Напомнил о восстании на броненосце «Потемкин», о повешенных и сосланных в Сибирь в 1905 году матросах Балтийского флота.

Он также рассказывал о Временном правительстве, о том, что оно защищает интересы буржуев,что с ними нужно бороться. Матросы решили повернуть обратно.

Когда этот человек услышал наш рассказ о расформировании трех полков, он с живостью юноши спрыгнул с верхней полки и, крепко пожав нам руки, сказал:

— Вы правильно поступили, товарищи!

Я побежал в комитет, поговорил там, показал полученные от Линчевской документы об освобождении от военной службы и, получив разрешение на выезд, вернулся на вокзал.

Ни вагона, ни матросов, ни Сурова, я не застал. Они уехали.

Через два дня я в адрес комитета получил письмо Сурова, написанное из Белгорода. Он писал, что матросы, крупно поскандалив с комендантом станции Ростов, поспешили уехать, прицепив свой вагон к первому отходившему поезду. Меня он приглашал в Петроград и написал несколько адресов, по которым я мог бы его найти.

[1] Каргала — выражение, употребляемое после окончания трудной работы.

«Будь здоров, до встречи после победы! В борьбе будь до конца крепок, как сталь», — заканчивал он свое письмо. Но нам не пришлось свидеться.

В дополнение к ежедневно трясшей меня малярии я заболел тифом и попал в лазарет. Когда выздоровел, принимал участие в различных собраниях и съездах в Самаре и Бугульме и провел в Альметьевской волости выборы в учредилку.

НА ПАРОХОДЕ

Если трудно попасть в поезда, следующие без всякого расписания, то еще труднее, попав в вагон, выйти из него. На каждой станции вагон облепляется мешечниками. Все они в солдатских шинелях и ботинках. На плечах — мешки с мануфактурой, мукой, сахаром.

На больших станциях беспокоят патрули, вылавливающие дезертиров.

Дни стоят жаркие. В разбитые окна вагонов тучами врывается пыль. За кипятком из вагонов вылезают через окна и через них же попадают обратно.

На станции Инза скопилось несколько составов, а паровоз всего один, да и тот не обнаруживал признаков жизни.

Каждый подходил к паровозу и убеждался, что машиниста с кочегаром нет и угля в тендере мало.

Кучка людей окружила начальника станции. Среди них женщины.

— Даешь паровоз!

— Почему не работают?

— Что ж, хочешь народ голодом уморить здесь?

Худое лицо начальника станции, серое, как пепел, покрылось потом.

— Нет машиниста, ребята, граждане! Где ж я его возьму? Вот подойдет поезд — сниму с него машиниста, дам вам!

Долговязый человек в шапке-ушанке снял тужурку и, как бы готовясь к тяжелой работе, засучил рукава, расстегнул ворот и сказал:

— Граждане, садитесь в вагоны. Я его сейчас...

Он с уверенным видом поднялся на паровоз и начал

двигать какие-то рычаги. В помощь себе позвал еще двух. Поднялся на паровоз и я. «Машинист» дал мне лопату и велел подбрасывать уголь в топку. Так мы добрались до Симбирска.

Когда мы вылезли, наш машинист вытер рукавом гимнастерки вспотевшее лицо, высморкался и, глубоко вздохнув, сказал с довольным видом:

— Хоть и пробыл в окопах два года,— оказывается, еще не забыл.

Симбирск — небольшой город с немощеными улицами и деревянными тротуарами. Почти у каждого дома — фруктовый садик.

На вокзале я познакомился с веселым солдатом. Его звали Миргасым. Он говорил, не переставая, и каждое незначительное событие служило для него неисчерпаемым источником разговоров. Он самовольно ушел с фронта и пробирался домой.

Миргасым засыпал меня вопросами:

— Ты, видать, только что вышел из лазарета, на тебе лица нет? Из каких ты краев? Из Самарской губернии? Вот как!.. Лихорадка, говоришь, трясет? Проклятая эта болезнь, лихорадка! Как-то начала она меня трясти с первого дня Сабантуя [1] и трясла до конца сенокоса...

Поезд на Бугульму ушел утром, а следующего нам предстояло ждать до завтра. Решили ехать в Самару на пароходе.

— Давай поедем! Тебя в деревне никто не ждет, да и меня тоже. В Самаре пересядем на чугунку и за милую душу доедем, — сказал Миргасым.

Я согласился, мы взяли билеты третьего класса и сели на пароход, переполненный пассажирами. На корме, около подвешенной шлюпки, сидели трое молодых парней. Один играл на гармонии, другой, большеротый, пел. Около них толпились ребятишки и женщины.

Гармонист играл с увлечением, забыв все окружающее. Он склонил голову и невидящими глазами смотрел в даль. Его пальцы быстро перебирали клавиши. Носком правой ноги он отбивал такт.

---

[1] Сабантуй (свадьба плуга) — народный праздник у башкир и татар, справляемый по окончании весенних полевых работ.

Поющий временами зажмуривал глаза и пел тише, точно устал:

Мне не вырваться, видно, ой не верится,
Что на родину приеду я к весне.
Где же, милая, нам увидеться?
Был бы рад увидеть хоть во сне.

Пропел он это, точно жалуясь на свою судьбу. С минуту молчали. Затем гармонист тихонько растянул гармонию.

Низкорослый курносый парень, не ожидая приглашения, точно спрыгнув откуда-то сверху, выскочил на свободное пространство перед гармонистом.

Подбоченившись левой рукой, он правую поднял над головой, сверкнул глазами, беззвучно засмеявшись, показал белые зубы, щелкнул пальцами и два раза плавно прошелся по кругу.

Затем, приостановившись, стукнул каблуками, замер на миг и вдруг лихо пустился в пляс. Он, быстро перебирая ногами, отбивал чечетку и, согнув одну и вытянув другую ногу, кружился волчком.

Плясуна кольцом окружил народ.

Седобородый старик, увлеченный пляской, не выдержал, сбросил войлочную шляпу и тоже пустился плясать. Но вскоре вышел из круга.

— Хватит! Вот кончится война, вернутся сыновья, попляшу на их свадьбе! Надо силы поберечь, — сказал он, отходя и усаживаясь на канате.

— Скольких же у тебя сыновей забрали, агай [1]? — обратился я к нему.

— Хе, — сказал старик и, плюнув через борт, помолчал, точно подыскивая ответ:

— Да двоих. Я уж рад, что самого еще не тронули! Теперь ведь так: берут всех, даже мальчишек, хоть и говорили, когда царя скинули, что будет замирение, — сказал он, еще раз плюнув и выругался. — Говорят: свобода, свобода! На кой чорт мне эта свобода, раз у меня земли нет, чтоб посеять, и лошади нет?.. Сын нашего муллы на каждой сходке разоряется! Я ему сказал: «Махзум [2], если бы ты дал мне хоть пуда два муки, я бы поверил в твою

[1] А г а й — обращение к старшему по возрасту.
[2] М а х з у м — у татар обращение к сыну муллы.

свободу». А он говорит: «Подожди, старик, не торопись протягивать руку... Вот победим врага!..» А зачем побеждать, когда всех молодых загубят? Тогда хоть побеждай, хоть не побеждай... Я и говорю, что богачи и сыновей своих на войну не посылают и богатство свое умножают, а таким, как мы, — вот что, — закончил он, показывая кукиш.

Человек в тужурке и ичигах [1] с галошами начал говорить о мерах Временного правительства для спасения родины. Старик его перебил:

— Помолчи уж! Не мели. Солдат все на своей шее испытал, он верно говорит. Чего ты, непрошенный, лезешь? Хочешь нам глаза замазать? — закричал он сердито и погрозил кулаком.

— Давай, товарищ солдат, покушай со мной, — обратился он ко мне, выложив из мешка хлеб, яйца и соль. — Ездил было в город, да ничего не вышло. За одного сына пособие дают, а за второго никак получить не могу, все тянут.

Он рассказал, что один из сыновей его работал на пароходе, что два года тому назад была у него и лошадь, но издохла, а земли у него всего десятина с восьмой.

— Сам я смолоду лентяем не был. Шестнадцатилетним отец меня в батраки отдал богачу-башкирину Югамулову в Николаевский уезд. Он и теперь шибко богат: целые стада скота и земли без края. Недавно видел из тех краев батрака Давлета, с которым раньше работал, так говорит, что тот теперь прямо помещиком стал, даже автомобиль завел. Так вот и Муллины в наших краях. Лет тридцать назад были они богачами средней руки, а теперь имеют три суконные фабрики, а в Симбирске, Самаре и Казани магазины большие. В войну еще больше разбогатели. Правильно ты говоришь, война им на-руку!— кончил старик, складывая оставшиеся хлебцы и завязывая мешок.

Солнце спускалось на верхушки деревьев правого берега Волги, освещая деревню, избы и людей.

Расставшись со стариком, я и Миргасым поднялись на верхнюю палубу. Гулявшие здесь не были похожи на

[1] И ч и г и — особого покроя сапоги из тонкой кожи.

людей с кормы, с которыми мы проводили время. Все чисто одеты, женщины напудрены.

К нам подсели четверо хорошо одетых молодых людей, один из них — в унтер-офицерской форме. На скамье все уместились, и унтер-офицер, обращаясь к Мигасыму, сказал:

— Ну-ка, земляк, садись потеснее, как в окопах!

Из разговоров я узнал, что один из них — сын старшины из деревни Маметовой, по имени Нагимзян, двое — унтер-офицеры, Махмудовы, торговцы, а один — брат торговца из деревни Акбаш. Трое ехали в Самару за товаром, а четвертый унтер-офицер — в Пензу. Он разыскивал убийц, ограбивших в одном из домов тещи сына крупного купца — хаджия [1] из деревни Акбаш.

Махмудов, рассказывая анекдот про солдата, забыл что-то, и остановился, спросив:

— Погодите, кто же он был?

— Наверно, сын татарского купца, — вставил я.

Унтер-офицер стал ругаться:

— Вот, строй республику с такими, которые издеваются над своими же мусульманами! Отсталый еще народ наши мусульмане, — сказал он.

— Когда падают ниц, следуя мулле, — все мусульмане. А когда дело касается того, чтобы поесть да пожить как следует, к таким, как вы, аккуратным ребятам с толстыми карманами близко не подходи! — сказал Мигасым.

Все рассмеялись.

— Не торопись делить чужое добро до-темна, — сказал один из них.

Унтер-офицер горячо заговорил о национальной республике, национальной одежде и именах, доказывая их святость.

Потом он стал превозносить какого-то Тляшева, муллу, помещика и члена Государственной думы, называя его профессором, историком и философом. Рассказывал, что Тляшев начал учиться у пленного немца немецкому языку и, благодаря своей старательности, накопив денег, купил хутор с тремястами десятин леса.

— Вот, если выбрать такого в Учредительное собра-

[1] Хаджий — мусульманин, совершивший паломничество в священные города Мекку и Медину.

ние, — он задаст русским, что надо! — закончил он свои излияния.

Вечером стало прохладно.

Мы долго бродили по пароходу, не находя места, чтобы прилечь. Куда бы мы ни пошли, везде сидели люди, играли в карты или выпивали и приставали к окружающим. Наконец зашли в отделение, где было уже человек двадцать. Вдоль стен спали женщины, посредине лежали человек пять мужчин. Около них было еще свободное место. Мы растянулись на полу, положив под головы мешки, и укрылись шинелями.

В БУГУЛЬМЕ

В Бугульме, когда мы проходили через заросшую травой площадь, на меня нахлынули воспоминания. Вспомнил, как братья, взяв меня — еще мальчика — с собой на осеннюю ярмарку, на ночь остановились на этой площади. Купив за три копейки арбуз, мы уплетали его с привезенным из дому хлебом.

Вспомнил я, с каким восхищением я смотрел на накрашенных клоунов, выступавших на подмостках балаганов, как несказанно рад был купленной мне братом за двенадцать копеек красной тюбетейке с кисточкой. Вспоминались годы, проведенные в батраках у богачей, и удовольствие, испытанное, когда, возвращаясь через Бугульму, я купил на заработанные свои деньги мягкий белый калач.

Бугульма — все та же. Все попрежнему: и деревянные больничные здания с низкими, подслеповатыми окнами, и синяя мечеть с минаретом, похожим на гриб, и стоящая рядом тюрьма, окруженная высоким забором, и монастырь с монашками, похожими на ворон, и большое здание винного завода рядом с монастырем, и пятистенные маленькие деревянные домики вдоль прямых и широких улиц.

Зашли к Трофиму Ивановичу, у которого я когда-то жил.

— Айда, айда, знаком! — приветливо встретила нас Марья, жена Трофима Ивановича.

У них сына забрали в армию, длинноносая дочь Мар-

фа вышла замуж, а Трофим Иванович работал сторожем на винном заводе.

Тетка Марья рассказала, что сына отправили на румынский фронт, и всплакнула.

— Мы теперь не можем людей принимать на постой, все от нас бегут, вот до чего дошли! — говорила она, ставя худой самовар и сетуя, что и посуды у них не стало, и навес развалился.

Я пошел разыскивать знакомых. Нашел Такия Исламова. Он уехал из деревни и стал учителем. Мне он очень обрадовался, рассказывал о своей работе, жаловался на притеснения тузов города — Тляшева и Махмудовых, и, не понимая причины притеснений, с горечью спрашивал:

— Что я им сделал?

Его ввалившиеся глаза смотрели страдальчески.

Жена Такия, женщина застенчивая, тоже учительница, принимала участие в разговоре. От полуголодного существования лицо ее потеряло свежесть и осунулось.

Я вспомнил, что лет шесть тому назад на дружеский вопрос Такия — какой ему избрать жизненный путь, я посоветовал ему стать учителем и, видя его теперь в таком состоянии, чувствовал себя виноватым. И все же попытался ободрить их, убеждал, что на будущее нужно смотреть с надеждой.

Такий и его жена разделяли мое мнение о войне, земле и Временном правительстве.

Они сказали, что через два дня соберется уездный учительский съезд, и просили меня принять в нем участие, а до того переселиться к ним.

— Земство скоро соберет представителей всех волостей для обсуждения вопроса о земле. И там побываем.

— Ты знаешь, ведь и Тляшев, и Шакир, и Закир купили у помещика Ялатича земли и леса. Теперь уж они не только купцы, но и помещики,— сказал Такий.

В день открытия съезда Такий разыскал меня у Михаила Кирша.

— Пойдем,— сказал он,— скоро уж откроют! Собрались все учителя уезда, да вдобавок Магадий привел учащихся в его дарульмугалимат [1].

[1] Дарульмугалимат — татарское среднее учебное заведение, подготовлявшее учителей для татарских школ.

Пришли мы в зал земства. Бедно одетые, похудевшие учителя, торговцы с закрученными усами, муллы с лицами развратников, муэдзины [1] с втянутыми от постоянного подкладывания под язык табака нижними губами толпились там, говорили все вместе, и шум стоял невообразимый.

Председательствовал Магадий. По правую руку его сидел в сдвинутой набекрень черной тюбетейке Тляшев с отвисшим жирным подбородком.

Председатель начал читать повестку дня. Затем встал высокий, худой и смуглый мулла и сказал:

— Эфенди, если мы думаем рассматривать вопросы преподавания, нам нужно их разбить на две части. Благодарение богу, теперь время свободно, хлеб есть, гушур [2] собран и нет опасности, как прежде, со стороны урядника. Благодарение, тысячу раз благодарение аллаху, теперь и земство в наших руках. Там, не считаясь со своим положением, достойным более высокой чести, председательствует наш глубокоуважаемый Тляшев — хазрет [3]. Поэтому надо будет отдельно рассмотреть вопросы преподавания корана, имана и хадиса [4], а потом уж остальные.

Поднялся сидевший в стороне низенький, неуклюжего вида муэдзин и, кашлянув громко, поднял руку и попросил слова. Он сначала прочел какой-то оят [5] или хадис, а потом сказал:

— И раз так, я хочу сказать, что намаз [6] и призыв к намазу, иначе говоря, азан [7] и икамат [8] нам нужно совершать на своем языке [9].

---

[1] М у э д з и н — помощник муллы.

[2] Г у ш у р — десятина, часть урожая, выделявшаяся духовенству по предписанию мусульманской религии.

[3] Х а з р е т — общее наименование для всех духовных лиц.

[4] И м а н — мусульманское вероучение. Х а д и с — предания о словах и делах Мухаммеда.

[5] О я т — стих из корана.

[6] Н а м а з — мусульманская пятикратная ежедневная молитва.

[7] А з а н — призыв к намазу, провозглашаемый муэдзином с минарета.

[8] И к а м а т — вступление к молебствию, читаемое муллой.

[9] Богослужение у мусульман совершается на арабском языке непонятном татарам и башкирам.

Мы в это время вышли покурить, и, когда вернулись, докладчик от земства говорил о преподавании.

Едва ли кто-либо слушал его; несколько муэдзинов дремали, учителя усиленно обменивались записками с девушками, а приказчики сидели с рассеянным видом, приглаживая волосы.

После доклада долго и путанно говорили, но никто не указывал какого-либо определенного пути.

Сбитый с толку Магадпй поднялся и стал читать какую-то турецкую книгу о психологии. Взял слово Тляшев и, рассказав несколько анекдотов, ругал крестьян, потом стал хвастаться, что обучается немецкому языку.

Во время речи Тляшева какой-то молодой человек сказал достаточно громко, чтобы его слышали сидевшие поблизости:

— Ты ведь каждый месяц лишаешь невинности все новых и новых девушек и сплавляешь их, выдавая замуж за учителей. Это, видимо, от большой культурности.

— Если б ты стал помещиком, как он, ты бы тоже...— заметил ему Буйко.

На третий день Такий еще раз повел меня на съезд. Съезд уже подходил к концу, всех участников зачислили членами «Берек [1]», и шли выборы правления.

Муллы и муэдзины сидели впереди, за ними женщины. Около президиума вертелся неуклюжий муэдзин. Он переговорил о чем-то с Магадпем и, закинув голову назад, спросил женщин:

— Ханум-эфенди, все ли вы записались в члены «Берека»?

Женщины захихикали.

— Да, муэдзин-эфенди,— ответил за них учитель Атов.

— Давай, товарищ Такий, уйдем отсюда поскорее,— предложил я и пошел в полк.

Полк помещался в здании городской школы, в котором окна были выбиты, двери поломаны. На полу грязь, солома.

---

[1] Берек — кооперативная организация.

Полк мало походил на воинскую часть. Винтовок нет. У многих солдат не было даже шинелей. Большинство самовольно вернулись с фронта и уже из деревни отправлены сюда уездным воинским начальником. Располагались, кто где захочет.

— Раз ушел с фронта, зачем опять сюда пришел?— спросил я одного солдата.

— Староста наш, проклятый, выслуживается. Не успел я и трех дней прожить в деревне, как пришел он и начал твердить: «Нехорошо, Гашим, надо в волость явиться». Нас в деревне солдат было шестеро, мы все и пошли в волость. А там старшине толстобрюхому только того и надо было. «Не хочу,— говорит,— за вас в Сибирь попасть»— и велел писарю писать рапорт.

— А в нашей волости по деревням ходили, разыскивая вернувшихся с фронта.

— Что при Николае, что при Временном правительстве, солдат — как собака!

— Надо будет пойти записаться в первую мусульманскую роту. Там хоть порядок есть и кормят хорошо!— сказал высокий солдат.

Другой, молодой, возразил ему насмешливо:

— Да, конечно, надо пойти. Говорят, Шакир-бай их откармливает мясом, а рябой солдат, называющий себя муллой, водит каждый день в мечеть. Будут вот так откармливать недели две, а потом опять погонят в окопы.

— Хоть и погонят, но как-то оно веселее среди своих, в мусульманской роте. Там есть и офицеры-мусульмане. Вчера я видел, как они шли с мусульманскими песнями, и позавидовал.

На меня никто не обращал внимания,—видимо, приняли за солдата своего же полка.

Вошел Такий. «Что нужно, или земляк тут ваш?» обратился к нему пожилой солдат.

Такий назвал себя и рассказал, что мусульманскую роту скоро отправят в окопы.

Молодой солдат вскочил с места с радостным видом.

— Говорил я вам, что откормят и в окопы фью-ю-ю-ють! — сказал он.— Этих отправят, потом других откормят и тоже отправят.

Вмешался в разговор и я. Рассказал историю рас-

формирования наших полков, сообщил о притеснениях солдат, о том, что Временное правительство ввело смертную казнь.

— Раз уж вернулись в деревню, не следует подчиняться старшинам и итти опять в окопы, под пушки.

— А если силком гнать будут? Сам ведь говоришь, что смертную казнь ввели.

— Солдат в деревне много, и молодых и старых. Старшина не страшен.

— Пожалуй, если сделать так, что-нибудь да выйдет,— сказал молодой солдат, в раздумьи почесывая затылок.

Мы обошли все здание.

В одной комнате на нарах лежали — кто на спине, кто ничком, кто облокотившись на бок — человек десять солдат. Один из них, с красивым лицом и круглой черной бородой, рассказывал:

— И вот думаем мы, раз царя не стало, всем будет праздник. Радовались, что офицеры, называя нас «братцами», обнимались с нами. Пошли собрания. Вначале мы на собраниях каждый раз заставляли читать телеграмму о свержении Николая. Потом выбрали комитеты — втесались туда и офицеры. А тут весна подошла, солнышко стало пригревать, а мы все лежим в окопах. Кормить стали плохо. Прошло еще немного времени, начали готовиться к наступлению. Стали толковать, что сам Керенский приедет на фронт. Офицерам это оказалось на-руку — солдат опять начали прижимать. В нашем полковом комитете только один солдат хаял Временное правительство, да и тому, чтобы скорее от него избавиться, командир дал отпуск и отправил домой. Керенский к нам не приехал, а на правом фланге нашей дивизии — был. Все уговаривал наступать. У солдата, который был против того, чтобы итти в наступление, он своими руками сорвал погоны и лишил его солдатских прав...

— Какие же у солдата права? Только и прав, чтоб вши заедали да офицеры ругали. Потому-то — хоть и нет Николая — нас и держат в казарме; бесправные мы!— говорили слушатели.

— Я вот чего хочу еще сказать,— торопливо продолжал рассказчик: — Не прошло много времени,—начали

наступать. Поставили позади нас женский батальон. Кто-то крикнул: «Товарищи, женский батальон по нас стреляет». Повернул взвод обратно. Повернули и другие роты, дальше — больше, а там и весь полк.

В это время с криком: «Братва!»— в комнату вбежал какой-то солдат.

— Бунт!— крикнул он и выскочил в коридор.

За ним кинулись все, и через минуту в казарме никого не осталось.

Базарная улица была уже запружена народом. Толпа громила магазины. Били окна, через них пробирались несколько человек и выбрасывали товар на улицу. Сейчас же начиналась свалка. На улице валялись ящики из-под конфет, вдребезги разбитые стеклянные банки. Добрались и до винокуренного завода. Женщины, старики и ребятишки тащили водку в бутылках, кринках и банках.

Одна татарка, вприпрыжку бежавшая с медным кувшином в руках, кричала встретившейся ей женщине с ведром в руках:

— Скорей, Гульнур, скорей! Отличное вино! Черпай сколько хочешь! Говорят, бутылка десять рублей стоит.

Один маленький солдат был уже пьян. Он шел без фуражки, шинель нараспашку, по лицу стекала грязь. Подмышкой — четверть со спиртом. В канаве лежал, бормоча что-то заплетавшимся языком, босой длинноволосый человек с опухшими глазами, обнимавший полупустую четверть.

Крестьяне, захватившие «долю» из товаров, спешили запрячь лошадей и удрать.

Мы с Исламовым по Бугурусланской улице пошли в сторону вокзала, к Волкову. Мусульманская рота, под командой прапорщика Вильданова, направлялась к Базарной улице. Не доходя до нас шагов десять, Вильданов остановил роту и обратился к солдатам:

— Ребята,— сказал он и, желая скрыть волнение, стал крутить левой рукой ус:— когда выйдем на Большую улицу, я построю роту и будем залпом стрелять.

— Неужели в людей стрелять будем?—спросил кто-то.

— Нет, винтовки направим в сторону бунтовщиков, но выстрелим вверх. Напугать их надо. В городе по

явились агенты большевиков и начали грабеж,— сказал Вильданов.

Я думал вступить в спор, шагнул вперед, но сзади подошел ко мне Кирш, схватил за руку и, отведя в сторону, сказал:

— В казарме мусульманской роты никого не осталось, там тридцать винтовок, склад патронов открыт, караула нет. Пошли скорее.

Мы побежали. Подоспели за винтовками и патронами и Волков с железнодорожным рабочим Игнатьевым.

Вечером погром прекратился.

У домов ставни закрыты, по улицам ходят патрули из учебной команды. Лишь на окраинах орут пьяные песни. Мы с Такием пошли в казарму мусульманской роты. Солдаты, разогнав погромщиков, вернулись не с пустыми руками. Ели орехи, конфеты, булки. Некоторые рассматривали мануфактуру.

— Не зря ходили! Хватит на пару белья, семь аршин ведь.

— Домой приеду — сошью бешмет из такого сукна, какого ни отцы, ни деды не носили.

— Вот не стал бы я носить бешмет из краденого товара,—говорил его сосед.— Солдат из нашей деревни — Карим — в пятом году на пустяке попался, а шесть лет просидел на каторге, в Сибири. Было так: бастовали на заводе рабочие. Арестовали там двух и велели ему отвести в участок. Повел он и думает: «Ведь рабочие эти мне никакого вреда не сделали, одеты они плохо, жены с детишками, наверно, их ждут». Подумал так да и говорю: «Идите,— говорит,— я вас не знаю, скатертью вам дорога». Те ушли, а он шесть лет за это дело сидел.

В другой комнате желтоусый солдат рассказывал о погроме:

— ...Бедовые, говорят, эти большевики. Чего им на глаза ни попадется, все грабят! Ведь видели, как они утром слезали с поезда и пошли в город. Говорят, оба евреи. Они и начали.

— Ты, Гали, коли не знаешь, языком лапти не плети. Ты у меня спроси, как грабеж начался. Я как раз там был.

— Ну-ка, ну!

— Остановились у аптеки две подводы со спиртом

с винного завода, помещика Балашова. Подводчики были навеселе. Как раз, когда готовились они разгружать, подходят два солдата из конвойной команды, оба пьяные. Один стал приставать к подводчикам, чтобы они дали ему четверть. Подводчики и говорят: «Ты, земляк, на эти посудины не зарься. Мы вчера сюда чистый спирт сдали, ты пойди поразнюхай». Сказал, а сам смеется.

Солдаты в аптеку, глядь — один уж идет с четвертной посудой. За него уцепились аптекари, орут, а на самих лица нет. Повозились, стеклянную дверь разбили. На шум собрались солдаты и вольная публика. Тут и начали аптеку грабить, а потом взялись и за магазины. Вот так дело было.

— Вот тебе и на, а говорят — большевики...

— Зачем большевикам грабить? Они за то, чтоб народ землю у помещика отобрал да войну прекратил!

— Разогнать, говорят, надо Временное правительство.

— Прапорщик Вильданов нам сказал, что начали большевики.

— Прапор Вильданов сам грабитель. У отца его суконная фабрика в Симбирской губернии.

— Поэтому-то они и распинаются перед нами.

Мы с Такием осторожно начали беседовать с солдатами. Все они уже побывали на фронте. Большинство, за исключением немногих сыновей мулл и кулаков, не знало, зачем их зачислили в мусульманскую роту. Мы рассказали об этом.

— То-то приезжавшие на-днях в город Хайретдин-мулла и Шарип-бай из нашей деревни, увидев меня на улице, еще издали закивали головами, пошли навстречу и поздоровались, подав руки. «Хорошо,— говорят,— сделал, что поступил в мусульманскую роту, почетным джигитом будешь»— и дают один целковый, а другой — полтинник. «Бери,— говорят,— пригодится на что-нибудь». Я взял и тогда же подумал, не хитрят ли они. В деревне и на поклон не отвечали, а тут сами подошли,— сказал один из солдат.

Мы агитировали за то, чтобы они разошлись по деревням и там не слушали ни старосты, ни старшины.

Недели через две Такий сообщил мне в письме, что половина мусульманской роты самовольно разошлась.

В ДЕРЕВНЕ

К осени приехавших с фронта в деревне со дня на день становилось все больше.

При волостном правлении образовался крестьянский комитет, в который вошли Ахмет Исмагилов — крупный торговец из Маметовой и еще два кулака из ближайших деревень.

Безземельных бедняков, приезжавших из окрестных деревень и требовавших немедленной конфискации земель у помещика Дурасова, эти торговцы, муллы и кулаки отправляли назад, уговаривая подождать.

Осень стояла погожая, солнечная. Полевые работы окончены. На улицах ребятишки гоняют шары. Крестьяне возят из лесу хворост, некоторые обкладывают навозом завалинки двух-трехоконных изб, сложенных из тонких бревен.

Не имеющие лошадей и коров, промочив горло чаем без сахара и молока и накинув затасканную в окопах шинель, выходят на улицу и идут к таким же, как сами, фронтовикам. Вместе закуривают.

Глядят на большие, длинные скирды ржи и пшеницы богатеев, собравших большой урожай с арендованной за бесценок у бедняков земли, и злобно говорят:

— Когда же у нас такие копны хлеба будут? Или так и будем всегда святым духом питаться?

— Говорят: свобода, свобода, но никакого толку не вижу я, товарищи, от этой свободы! Хоть и вернулись мы с войны, а знать, придется снова итти куда-нибудь искать работу.

«ШУРО»[1]

Ильяс вернулся с фронта вместе с другими солдатами. Поутру он вышел на двор. Плетень в двух-трех местах сломан. Крыша сарая с одного бока обвалилась, ворота перекосились.

Ильяс закрыл ворота и посмотрел на осеннее солнце. По небу полосками тянулись жиденькие серые облака. Они напоминали ему тот день, когда он в японском плену

[1] Ш у р о — совет (арабское слово).

в первый раз вышел из лазарета. В японскую войну их крейсер был захвачен неприятелем, и Ильяса вместе с другими увезли в плен. Вспомнив это, он вытер левой рукой рябое лицо и ленивой походкой зашагал к воротам. Если соседи будут расспрашивать, почему он вернулся, он ответит: «Надумал и вернулся, никого не спрашивал. Не я один, вся армия возвращается».

После мобилизации его не послали во флот, и всю кампанию он провел в обозах и запасных частях, а на фронт попал лишь при Керенском. Под Тарнополем, когда их погнали в наступление, он с несколькими запасными уговаривал молодых солдат уходить из окопов. Его крепко выругал долговязый надушенный офицер, с белым лицом. Ильяс ударил его по лицу, убежал и на другой день с партией солдат, человек в двадцать, тронулся домой.

На улице людей не было. Растянувшись и положив голову между лапами, лежала собака, два щенка возились около нее.

В это время человек, ехавший посередине улицы в тарантасе, повернул в сторону Ильяса. Не доехав до него шагов десять, он поманил Ильяса пальцем:

— Как дела, агай-эне? [1] Где ваше шуро?

Ильяс взглянул на мутные глаза, бороду и острый нос проезжего.

— Не знаю, мулла-абзы [2]. До того, как я уехал, была у мельника дочка Шура, да, говорят, умерла. А есть ли другая — не знаю.

— Постой, постой ты, надан [3]. Про какую там дочку ты болтаешь?— сказал седок.— Шуро — это не девка и не парень, а совет, избранный мусульманами.

— Нет, не знаю я такого совета. Те дни, когда мы будем выбирать, еще впереди,— сказал Ильяс и, отвернувшись, пошел домой.

***

[1] А г а й - э н э — буквально — «братья старшие и младшие». Употребляется как обращение и к одному лицу.

[2] А б з ы — *татарское обращение к старшему по возрасту.*

[3] Н а д а н — неграмотный, темный (слово персидское).

ОКТЯБРЬ

В серый октябрьский полдень снег повалил хлопьями.

Ребятишки в больших солдатских ботинках и папахах играют в снежки, строят крепости. Другие лепят человеческие фигуры, приделывая им бороды из соломы и усы из сена, и радостно смеются.

Девушки и молодухи, надев тонкие, сшитые в талию камзолы, с серебряными монетами у пояса, и покрыв головы цветистыми платками, идут к роднику за водой. При встрече с пожилыми стариками они закрывают нижнюю часть лица углом платка и опускают глаза. Встречая молодых, поднимают головы и улыбаются.

Если парень говорит им: «Мир и совет вам, добрый вам путь», они вскидывают брови, кокетничают и отвечают: «Будь в середине, мед в твои уста», и звонко смеются.

Ганий, сын Гафара, везет с дальнего гумна сено. Гнедая лошадь впряжена в сани, некрашеная вязовая дуга наклонена вперед, и повод почему-то не продернут через кольцо на дуге, а подвязан к гужу. Поэтому свободно болтающееся кольцо звякает при каждом шаге лошади. Сена наложено немного, столько, чтобы скотине хватило на ночь. Шапка у Гания набекрень, сам он стоит на задке саней.

Фариха и Хадича идут с коромыслами на плечах, осторожно шагая, чтобы не расплескать воду.

Ганий, поровнявшись с ними, громко свистнул:

— Эй, красавицы, сторонись, как бы вас не задавить!

Девушки остановились по сторонам дороги, и Ганий придержал лошадь.

— Ох, какой ты, Ганий, безжалостный!

— Видишь, торопится! Кто-нибудь пригласил притти вечером,— девушки засмеялись.

— Если позовете, приду!— ответил Ганий.

— Теперь снег лег. Как бы по твоему следу злодеи не пришли,— сказала Хадича и переложила коромысло на другое плечо.

— Я уже взрослый, и силенки хватит, чтобы на злодеев поднять дубину,— похвастался Ганий.

С другого конца деревни шагает с посохом в руках пастух Джаббар — низенький, с приветливым лицом.

На нем заплатанный чапан, который он не снимает летом и зимой. Широкое загоревшее до черноты лицо его на фоне свежего снега кажется еще чернее.

— Ну, как дело, Джаббар-агай?— обращаюсь я к нему.

— Вот хожу, пробую собрать деньги за пастьбу. Да все никак не получу. «Завтра,— говорят,— да послезавтра». У кого одна коровенка, те все уплатили, а у кого по три, по четыре — оттягивают.

— Может, к весне заплатят?

— Кто их знает — нет у них совести! Вон Хайрий говорил третьего дня, чтоб я пришел сегодня, а сегодня говорит: «Не бойся, я из-за твоего рубля не сбегу. Получишь еще, не мешай, когда у меня гости», а сам вытирает жирные губы. Ладно, есть у него запасы, чтобы утром и вечером жирные оладьи кушать, а мне ведь покупать все надо.

— Ты ничего не сеял?

— Вот тебе на! — сказал Джаббар, с удивленным видом.— Где же мне сеять? Лошади у меня нет, земля извечно сдана мулле Шарифу. Мало того, весной, дойдя до крайности, я и сенокос свой продал ему, а он денег до сих пор так и не выплатил. Имел бы сено, я б сейчас козу купил. Детишки молока давно не видали.

— А не думаешь получить землю обратно?

— Получишь от них! Боже упаси, и думать нечего об этом, в Сибирь еще угодишь! Порадовались было, когда царя не стало, да видно зря радовались,— ничего не выйдет.

— Теперь ведь николаевских законов нет.

— Вот и другие толкуют так, а никаких перемен нет.

К нам подошли Тарджуман и Харис, а за ними еще несколько человек.

— Сегодня приехал Ахметзян. Во многих местах, говорит, солдаты, вернувшиеся с фронта, вместе с деревенскими беднякамн, отбирают у помещиков леса и землю. И нам бы пошевелиться пора,— сказал Тарджуман, глядя на меня.

Стемнело. Зажглись огни в очагах, а потом и лампы. При мутном свете их можно было рассмотреть, что люди ужинали.

***

Товарищ Сабитов проездом из Самары остановился в Бугульме.

— Ну вот, что должны будут делать мусульманское шуро и земство, когда будет образован совет рабочих, крестьян и солдат? Вот, скажи-ка ты мне, товарищ? Как тебя звать? Тарджуман? Ты ведь вернулся с фронта, скажи-ка?— спрашивал он.

— А что я могу сказать?— говорит Тарджуман, скребя затылок.— Когда я был на действительной службе, в Самаре, в 1905 году, так же вот образовали было советы... да...

— В центре сейчас вся власть перешла в руки рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,— перебил его Сабитов.

Услышав это, Гатов вскочил с места; Харис, точно решившись на что-то, сдвинул шапку на затылок.

— Стало быть, Керенского по шапке?

— А что же будет с учредилкой?

— Здорово!

— Только б опять богачи не пролезли.

— А как с войной?

— Ты про землю скажи, про землю!

Сабитов рассказал о решениях съезда советов.

Как было условлено, я прочел декрет о земле и обращение к правительствам и народам всех стран о мире.

— Вот это по-нашему!

— Пусть теперь Хафиз-бай и Шакир-мулла попробуют не отдать землю!

— Раз министров арестовали, надо нам своих богачей к рукам прибрать.

— Завтра же скирды Шакир-муллы раздать беднякам!

— Землю у помещика Никулина забрать!

Решили в тот же день собрать сходку, образовать совет и выбрать делегатов на крестьянский съезд в Бугульме. Беднота принялась за дело, но и богатеи не дремали.

Шариф-мулла, во время войны нажившийся большое богатство, собрав к себе всех богачей деревни, среди белого дня на морозе совершил гусуль[1]. После этого

[1] Г у с у л ь — ритуальный обряд полного омовения всего тела.

надел новое белье, халат и чалму, взял зеленый флаг с надписью «Ля иляха иль алла» [1], и вся компания, захватив багры и вилы, вышла на улицу, распевая молитвы.

Между молитвами кричали:

— Светопреставление! Мусульмане, если хотите остаться правоверными,— в наши ряды!

Но когда они стали приближаться к мощной демонстрации фронтовиков и деревенских бедняков, шедших с красными флагами, около муллы остались только три богатея...

Когда я вернулся из Бугульмы со съезда, мне передали письмо от сестры милосердия Барсуковой, которая писала из Питера от имени Чагадая Сурова.

В дни Октября на улице Петрограда Суров был ранен юнкерами. Письмо было продиктовано им перед смертью. Он писал:

«...жаль, что мы не свиделись с тобой. Когда будете поднимать победное знамя пролетариата, не забывай обо мне. Прощай, товарищ!»

---

[1] По-арабски: «Нет божества, кроме аллаха».

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Вступительная статья от редакции 3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Прием 7
Рождество 32
Смотр 35
Зеленский 37
Лазарет 39
Ближний лагерь 42
Полковой праздник 47
Утром 49
Корпусный лагерь 56
Первый караул 60
Второй караул 66
Командировка 71
В годовом карауле 73

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Три дня в деревне 81
Вольноопределяющиеся 85
Фронт приближается 87
Первое сражение 91
Львов 99
По следам войны 102
Фронт 106
Первая рана 114
Лазарет 122
В новом Самборе 125
В окопах 143
В Россию 156
Снова в лазарете 157
В Чугуеве 159
Москва 161

В маршевой роте 164
Опять в Москве 167
Эшелон 169
В Проскурове 172
Прапорщик Бахтияров 173
Розги 176
В мае 180
В пути 188
На пути к курсам 193
На курсах 194
На фронте 195
1917 год 201

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Весна 205
Снова в окопах 207
Гость из Петрограда 216
«Правда» № 35 221
Офицеры 225
В штабе дивизии 226
Азовский полк 230
Утренние встречи 235
Приезд Сурова 238
Прощание с фронтом 242
Дорога 245
Встреча с друзьями 249
На станции Жмеринка 252
В Пензе 253
На разъезде 257
Ростов-на-Дону 259
В Батайске 262
Барахольщики 264
«Неприятный» митинг в погожий день 268
В казачьем городе 271
На пароходе 275
В Бугульме 280
В деревне 289
«Шуро» 289
Октябрь 291

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.